

Анатолий Сендер

ЮЖНЕЕ УЛИЦЫ
ЮШКОВА

Роман

Минск
Издатель А.Н. Вараксин
2008

УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Бел=Рус)-44
С 31

Сендер, А.Н.

С 31 Южнее улицы Юшкова : роман /Анатолий Сендер. —
Минск : А.Н. Вараксин, 2008. — 302 с.

ISBN 978-985-6822-58-5.

Роман «Южнее улицы Юшкова» приоткрывает потаенные страницы человеческой личности с ее бесконечными внутренними противоречиями. Это – широкое эпическое полотно исповедальности, основанное исключительно на прожитой и пережитой реальности, в которой и медленные будни, и драматические случаи, и потрясающие перемены...

УДК 821.161.1(476)-32
ББК 84(4Бел=Рус)-44

ISBN 978-985-6822-58-5

© Сендер А. Н., 2008
© Оформление.
Издатель А.Н. Вараксин, 2008.

Часть первая

Предуведомление

Это не сочинение, а документально зафиксированный опыт пережитого, сохраненный в чувствах, погребенный в подсознании и воскресенный благодаря духовному развитию. Пришествие на стезю самопознания само по себе значительное событие в жизни любого человека. Желание очистить себя от налета греховности — от явного и очевидного до тайного и глубоко скрытого — ведет к прекращению самообмана, что в свою очередь способствует возвращению здравого смысла и, следовательно, душевного здоровья.

Это произведение волнующей чувственности и психологической учености, обретенной не в книгах, но в горниле практического признания и решения своих проблем, приведшей к пониманию, действию, к правильным поступкам — в царство правильных принципов и отношений, на путь счастливой и целенаправленной жизни.

Это творение — не совсем художественное, хотя и живописное. В него призвана моя “живописная ученость” — преодолеть, говоря стихом Максимилиана Волошина, “двойной соблазн любви и любопытства”.

Возможно, кто-нибудь из читателей, захваченный метафорой идеи, возлюбит мои откровения многолетней давности, как живые и свои, или возлюбопытствует, что же там за боль — за неприхотливым иносказанием — неужели и вправду прямой и здравый смысл, таящийся в чувствах, то, значит, дело сделалось, образ заговорил, а боль воплотилась в слово.

От автора

Это не длинный роман в версификаторско-примитивном смысле, на создание которого имеет внутренне право всякий обыватель.

Это не «толстый» роман, несмотря на большое количество страниц, несмотря на то, что учитель причитал: “Длинные вещи сейчас никто не читает...”

Это не пустой роман, преследующий недостойные цели, проповедующий низменные идеи.

Это не утомительное чтение с неумелыми метафорическими обхождениями, пейзажными длиннотами и скучным сюжетом.

Здесь вы не найдете многокилометровых умствований героев, бесконечных философских рассуждений, дерзких попыток прослыть мессией.

Здесь вы не увидите диковинных эквивоков, оригинальных высказываний, логической завершенности.

Здесь нет согласий или разногласий, из каких складывалась данная книга, из каких возросла и плодоносит.

Здесь нет фона и нет контекста, фрагментарности или случайности, обыденности или запредельности.

В сочинении нет ни одного вымышленного героя, ни одной придуманной ситуации, ни единого слова неправды.

В творении все истина, за исключением тех моментов, где по этическим соображениям изменены имена любимых женщин.

В произведении чувства и страсти, искренности и откровенности, исповеди и крика души одна лишь боль самопознания, известная своей пронзительностью в позднем возрасте.

В долгом мотиве перемежающихся луговых и небесных мелодий слышатся естественные птичьи речитативы, настоящий шум ветра, пронзительное тепло прямого солнечного света.

Перед вами то, что стало историческим временем, пережитым и прочувствованным, оставшимся в глубинах подсознания невысказанным удивлением, обидой и восторгом.

Вам предлагается то, что не истончилось по истечении судьбы, что оказалось вовсе не прямолинейным маршем, но затаенным магическим словом.

Личный опыт предвосхищает чудо, претворяет это диво в нечто, могущее предстать перед небытием с чистой совестью.

Личный опыт — нет его бесценнее — в данном замысле пригоден для всех. Потому что вот такой это опыт, такой свет, идущий все же из чувств, от них рожденный.

А значит, опыт смиренный, стоящий впереди интеллекта, утверждающий, дающий ощущение опоры.

И, стало быть, видение предвосхищает песнь, и она вызванивается из опыта, творящего одну судьбу, коей все исчерпано.

А сам опыт неиссякаем, как неизбывны Чувства, Любовь, Слово.

Перед вами роман, отозвавшийся дивным словом честности и чести, раз и навсегда.

Вам книга, над которой не властно время, огонь, злокозны критиков. Она несет тихое добро и светло противостоит злу.

Она одинока и растеряна и потому всемогуща, храня неизреченные тайны, оные произнесены.

Перед вами я в обнаженном виде, и то, что, кажется, должно приземлить, окрыляет меня, будто страх божий, будто беспрекословное смирение...

Слиловые страдания

Сестра выбежала из гушины крыжовника, быстро сунула мне в руку сломанный ею саженец сливы редкой породы...

Я радостно и бездумно взмахнул тростинкой, словно саблей, и поскакал на воображаемом коне навстречу мчащемуся мне винограднику...

Из садовой тени, точно призрак, появился отец. Родитель выхватил у меня из рук злополучную хворостину, принялся меня сечь по чем попадая...

Через пятьдесят лет мы с сестрой проговорили далекие сливовые страсти. Валентина повинулась, созналась в том, что саженец сломала она, попросила у меня прощения.

Сливовая история обрела законные очертания. Истина восторжествовала. Таковы пути развития духовности — справедливости и любви...

Странно...

Странно, что в один из дней лукавых в наш дом ввалилась соседка и обвинила меня в нападении на ее сына, но я ничего не помнил...

Странно бродя по комнатам в лунотическом оцепенении, я иногда просыпался от маминого голоса: “Толя, Сынок...”

Странно, что я очнулся на берегу озера от звука смеющихся голосов. Ведь я ложился спать со всеми в палатке...

Странно, что в школе не запоминалось имя первой учительницы.

Слышишь, — теребил я рукав первого соседа по парте Витьку Трофимцева, — ты не забыл, как зовут нашу классную...

Странно, но после свадьбы моего друга мне шепнули: “Ты приставал к невесте, тебя могли убить...”

Странно, но с тех пор я перестал быть лунатиком...

Террикон

Решительным у нас считался поступок — взобраться на скопище дышащей породы, чадающей сероводородом, непрерывно дымящей, а главное, полной неизвестности. При добыче угля породу убирали несколькими способами. Один из них — складирование, последовательный вывоз сравнительно

небольшими вагончиками — вагонетками. На шахте их пруд пруди. На днях мы со Славиком, одноклассником и другом забрели на лесной склад (время воскресное, социалистическое, бесхозяйственное) и давай раскатывать вагонетки под гору, и давай валить их на стрелках узкоколейки. Мы не тронули только тяжеленные вогончики, груженные лесом для отправки в забой.

По пологой стороне террикона простирается коллея, система тросов, лебедка, опрокидывающие устройства — вот и вся недолга. Вагонеточка переворачивается, и покатались вниз кругляши каменистые, уродины бесформенные, крепыши зазубренные, понеслись, не стой на пути — убьют, и случилось...

Таким образом возвышенность росла, расширялась, двигалась в разные стороны. Чтобы она не сбилась с пути, ее регулировали за счет насыпи, переставляя рельсы, заставляя породную массу двигаться под контролем. Поэтому насыпь становилась многоголовой, холмистой, образуя впадины, выемки, углубления, хороня тайны и не только их. Какие-то звуки, какие-то энергетические потоки таились в породных глубинах. Давным-давно для меня устроили экскурсию по лабиринтам шахты Лидиевка. В одной из проходок мы услышали зыбкий смутный голос, и мой провожатый рассказал мне, что это дух погибшего шахтера, тело его не смогли разыскать после трагедии. Возможно, таинственный дух иногда бродит по террикону, возможно, по такой причине здесь мальчишки редко устраивают гульбище.

Со средней высоты гиганта — сказочное обозрение, жаль только, что Славик отказался путешествовать со мной. Как на ладони просматривается лесной склад, неухоженное кладбище (первейший показатель уровня культуры любой нации). Здесь иногда погребают усопших — могила над могилой, что не позволительно. В беспорядочных могильных рядах не различить холмик дяди Сени, жертвы лидиевской шахты, эмоциональной незрелости, инфантильности, прожившего свой короткий век под управлением инстинктов. Если верить свидетелям, дядя погиб, выполняя не свою работу в смертоносном бардаке социализма. А когда отцу в этой же шахте закрутило буром рукавицу и руку на производстве не было защитных щитков, но они появились мгновенно, как только случилась трагедия.

В знойный день террикон хорошо обдувается ветром, здесь острее пахнет полынью. Может быть, и хорошо, что Славика нет со мной. Мне нравится мечтать и с высоты различать на отчих переулках, например, Ваську Клименко. Понесла его жизнь через тюрьму, наркотики, алкоголизм. Умный, тонкий, сильный Вася паханом поселковой шпаны себя держал. Сильно страдал он от обостренного чувства несправедливости. Одного мужика застал на воровстве, привязал к столбу, повесил на грудь табличку “Вор!” Агрессивного соседа Васька загнал в погреб и целый день перевоспитывал. Он тоньше меня чувствовал грань жизни и смерти. Потом он набрел на толпу обиженных им поселчан, они жестоко избили Васю. Я приехал в отпуск после всех поминальных дел. И похоронили его на этом же кладбище.

И Валика Артюха, соратника по футбольной академии, тренера шахтной команды, мужа моей соседки Тамары закопали в местный кладбищенский чернозем. Чуть раньше моего друга легла в землю его супруга Тамара. У меня была возможность еще при жизни Валентина и его жены попытаться донести до них идеи Анонимных Алкоголиков, но я не выполнил свою главную миссию трезвости, страх преградил мне путь к действию. Маму Тамары всю жизнь любил мой отец. Их роман тянулся много лет через звонкие скандалы, через ревнивые сцены моей магушки.

Несмотря на жару, я решаю провести терриконную тренировку. Валяющуюся шину от грузовика я водружаю на плечи, ношусь вверх-вниз, задыхаясь от марева. Потом поднимаюсь к лебедке, выпрашиваю у мотористки кусок веревки, привязываю к шине и, точно бурлак, тащу колесо в гору, отрабатывая рывок. Вот бы Славик видел! Жарища, пылища, а я, как паровоз, волоку эту нескладуху на подъем.

И что происходит со мной дальше, я не могу объяснить. Скорее всего выходит отроческая агрессивность, вложенная родительской жестокостью.

Согласно мировой психологии, агрессия не может быть направлена на более сильных предков и впоследствии и непременно извергается вовне неожиданно и непредсказуемо и не конструктивным образом. Короче говоря, принимаю решение колесо вниз катнуть, причем, хорошо понимая, насколько

опасна такая безумная “шутка”. А горка-то — метров триста высотой, уклон-то — градусов пятьдесят. Вроде внизу никто не проглядывается. Летит, скачет мое прыгающее чудище, неся силу дьявольскую на забор склада лесного, к террикону прилегающего. Откуда ни возьмись, через проем выныривает существо в робе. Мужик долго возится, вытаскивая широкую доску, подождал бы немного. Колесо протаранивает забор не-подалеку, легким движением выметнув двухметровый пролет. Да так молниеносно, что мужчина только слегка поворачивает голову на странный шум и медленно тащит по тропинке тяжеленную и широкую сороковку...

Шахта «Лидиевка»

Дядя Сеня погиб в 50 г. прошлого столетия в Донбассе на шахте 2-7 Лидиевка.

— Задавили, суки, — глубоко под землей прозвучали его трагические последние слова и навечно затерялись в неисчислимых проходках угольного края...

Нелегкий шахтерский рубль оказался для нашей семьи несчастливым. Вскоре в той же шахте мой отец получил тяжелое увечье. Руковицу-спецовку и руку ему закрутило буром. Нетрудно представить потрясение человека, потерявшего трудоспособность в расцвете сил. Тем не менее Никифор Сендер, обученный плотничеству во время трудовой повинности в гитлеровской Германии, переучился на левую руку, переориентировался в плотницком ремесле, двинулся завоевывать поселок. Следует заметить, родные палестины получили крепкого мастера, не стремящегося зашибить копейку. Буквально, нет в городе Донецке на улице Юшкова ни одного дома, где не стучал бы его умелый молоток, не вжикала его блестяще отточенная ножовка, не блистали его нескончаемые анекдоты...

Дядю Федора мы, естественно, не видели. В одном из боев с немецко-фашистскими войсками, по свидетельствам очевидцев, бомба разорвалась буквально у него под ногами. Осталась похоронка и светлая память о тебе, Федор Никифорович Сендер...

Четвертый брат по линии отца дядя Миша женился на вдове дяди Семена. Он немного поработал в шахте, купил “Волгу”

и вскоре укатил в менее травмоопасный Мелитополь. Отец его за что-то недолюбливал...

Дед Степан оказался долгожителем. Участник Первой мировой войны, штабс-капитан царской армии, он имел сказочно красивый почерк. Помнится, мама всегда ставила в пример каллиграфические строчки его письменных посланий.

Дед похоронил трех сыновей. Возможно, он пережил и четвертого сына, но связь с ним оборвалась, и дальнейшая судьба деда и дяди Миши мне неизвестна...

Отец перед смертью виделся с дедом и, по словам мамы, все ему высказал: и надрывно тяжелые бревна в юности при строительстве дома, и личные обиды, и отношение к матери, и прочее, и прочее...

Я иду по Лидиевке, невдали от могилы дяди Семена, за которой по каким-то причинам никто из наших не наблюдает. По тем же обстоятельствам я, каждый год приезжая в гости, почти не посещаю прах отца, отчего мне и стыдно, и печально. И липкое чувство вины, перемешанное с угольной пылью, с растоптанными абрикосами и шелковицей, мне долгим укором...

Женская баня

Вход в женское моечное отделение, возможно с умыслом, спрятали в многочисленных лабиринтах комбината шахты — подальше от любопытных мальчишеских глаз. Чтобы пацаны, бродя по среднеосвещенным коридорам, блуждая тайком от родителей в недрах притягательного и бескрайнего помещения, случайно не натыкались на заветное видео.

В поисках приключений, гонимый жаждой познания мира, я добросовестно, эдакий развеселый дошколяр, накручивал шахтные километры, начиная с железнодорожного тупика, отгрузки угля и породного бункера. Я, преисполненный ощущением нехватки чего-то, искал неизвестно что, поглощая реальность, совершенно не фильтруя бытие. Суть которого, оказывается, коренится в идее, объемлющей всю жизнь, целиком ее всю, как бы сказали византийцы — “всеохватывающее воспитание”, в каждом деятельном шаге — практическое, здравомыслящее. Но идеи как таковой не предвиделось, и я создавал истину из мусорных “гандонов”, найденных на свалке, шлангов от противогозов и прочая, и прочая.

В поисках самого себя, я кружил по золотистой угольной пыли, честно и открыто слоняясь от сборника опилок (купаясь в них, потом не отряхнуться) до медпункта, привлекающего отличительной чистотой в царстве неиссякаемой грязи и духоты. Я просачивался на лесной склад, не находя там ничего привлекательного, я перебирался к точильне, подолгу стоял у гулко крутящегося точила, наблюдая, как мужики “доводят” топоры и ножи.

Меня не интересовала только столярка. Там можно было столкнуться с отцом или попасть на глаза его приятелям, что завершалось одинаковым наказанием, допросами и трепкой. Но если признаться честно, меня вообще-то привлекало другое, вовсе не эта пыль, густо намазанная на чернозем. Таким хитроумным образом я прятал свой главный замысел — разочек подсмотреть в открытые двери женской бани. Мои сверстники кричали об этом на каждом перекрестке, не таясь, я почему-то молчал о своих чувствах, живя в ореоле тайны.

Аки зверь, кружил я, приближаясь к добыче. Попробуй сторонний соглядатай проследить за мной, ему бы пришлось туго, он бы замешкался от недоумения, не понимая моих действий, сиюсь объяснит логику моего движения, в бессилье опуская руки. Никто не подозревал наличия строгости и целеустремленности в хаосе детских движений. Как невозможно представить обратный образ осетра, уходящего из морских глубин в невероятно трудное и смертельно опасное путешествие, как бы раскручивая жизнь до истоков.

Может быть, психическая травма, психологический шок случился, когда мама взяла меня, умеющего чувствовать, в женскую баню. Невероятное, чудовищное преступление, под видом невинного омовения. Я очень хорошо помню ощущение стыда, брезгливости, насилия над личностью (меня уговаривали голые взрослые бабы всем миром не стесняться).

Меня пытались раздевать силой, ласками, обманом, но я, шестилетний, полностью сформированный малыш (в личностном плане) скорее бы умер, чем принял нелепое предложение женской половины человечества. Никто так не унижал мое “я”, никогда меня так не растаптывали принаордно. Ни разу в жизни я не чувствовал себя столь сильным и решительным в желании противостоять натиску глупости,

беспардонности и нетактичности. Сжав зубы до ломоты, скрипа, я сидел в раздевалке, низко опустив голову, видя лишь женские колени, ненавидя голую мать вместе с обнаженными тетками.

Может быть, чувство мстительности направляло мои стопы к заветному входу (я хорошо помнил то место), узнаваемому по запаху мыла, мочалок, по виду выходящих, хохочущих, чистых женщин. Распахнув двери (можно кое-что подглядеть), они шумно вытекали в пыльный день, не замечая мальчика, пристального всматривающегося в предбанник...

Забытая поездка

В нашем доме многолюдно и накурено, в нашем доме гости, громкие разговоры, смех, игра в подкидного дурака. Мама и папа заполняют медленно и заунывно текущие будни.

Никто, кроме мамы, не обращает на меня внимание, на семилетнего малыша, греющего ноги в теплой духовке. Никто, кроме осеннего ветра, не знает о моих злоключениях. Ни одна душа не догадывается о моем неожиданном путешествии, случившемся сегодня.

Я восседаю на крепкой, незыблимой, как социализм тех времен, скамейке, мастерски сработанной дядей Женей. Мои ноги пока еще терпят в ненагретой духовке, держат не слишком сильный жар, ерзая по подстеленным поленицам, которые и сушатся, и ногам подмога. Сейчас, когда мне бестревожно и хорошо, я с трудом верю, что еще совсем недавно меня в открытой машине вместе со всей командой, пронизывал неумолимый холод.

В одно время с известным в нашем районе коллективом футболистов я оказался на месте их традиционного сбора. Страстно и пылко наблюдал я за любимцами наших улиц, за кумирами футбольных полей. Я преисполнился готовностью совершить любой поступок, пойти на любую жертву, лишь бы находиться рядом в кудесниках мяча. Я даже страдал оттого, что они уезжают, а я остаюсь на окраине один-одинешенек. За мгновение до отъезда я спросил у Вовки Денисенко, сына маминой подруги, нельзя ли мне поехать вместе со всеми. “Давай, быстрее забирайся...” — легко и просто разрешились мои сомнения, после чего я пружиной

взлетел на колесо, перекинул тело через борт, и газик тронулся.

День тянулся теплый. Туда ехали долго, потом я понял, что направлялись мы лишь в другой конец нашего города. Мы вкатили на настоящий, с огромной оградой, с рядами разноцветных скамеек, со спортивным комплексом площадок, с раздевалками и душем, стадион. Ничего подобного мы не видели на своей забытой богом станции Весовая. Обычное поле, кое-как размеченное, втиснутое в частный сектор за спиной магазина, куда при разминке и во время игры непрерывно залетал мяч, отчего, к нашему стыду, перед гостями возникали конфликты с директором торговой точки. Но здесь развернулась настоящая спортивная красота, по которой можно бродить, забираться на всякие металлические приспособления, висеть на шведской стенке. Что я не без успеха и делал много часов подряд.

Мы приехали за много часов до игры, как и полагалось накануне матча. Я, конечно, измаялся от громадного времени, свалившегося на меня.

Я очень проголодался, тогда как футболисты получили свои талоны и спокойно пообедали. Сама игра мне запомнилась очень крупным поражением наших и моим напрасным желанием победы нашим. Моя заветная мечта не осуществилась, но подсластилась одним голом, забитым моим кумиром Вовкой Денисенко. Счет оказался таким крупным не в нашу пользу, что я, как футболист, не стану его называть.

Мы позвращались домой, верно, через Москву. Мы добились как-то долго и мучительно. Я иззяб до такой степени, что, казалось, никакая печка уже не согреет меня.

Вовка Денисенко всю дорогу советовал мне надеть на ноги гетры, но я рос гордым и ни за что не мог показать свою слабость, затаив обиду на старших товарищей, которые, как мне казалось, обязаны обо мне позаботиться. Первое мое футбольное путешествие завершилось недалеко от дома. Я спрыгнул с машины, изображая взрослого, едва не отбив окоченевшие ноги. Больше всего на свете я боялся, что родители меня разыскивали и били тревогу. Я никак не мог взять в толк, как же мне выкрутиться, если начнется дознание. Пока рядом со мной шел Вовка, я чувствовал себя спокойно. Потом сосед

свернул направо, и я ввалился в ярко освещенный вечерний, шумный, полный гостей дом прямо за полный угощений стол. Я ел, не останавливаясь, а мама нудила, что я ничем не помогаю по дому...

“Кому мороженое...”

Я слышал сладкий клич, летящий по поселку звонко и пронзительно, и мое сердце замирало от предчувствия праздника. Сам клич доносился за тридевять земель и, где бы мы ни играли, голос каким-то необъяснимым образом находил нас, доставал, понимал и зазывал безоговорочно. На голос-крик мы слетались, как куры на призыв кормящей хозяйки. Мне не доводилось видеть ничего подобного. Сущее согласие, переходящее в соголосие. Течение подагличного материала в одно русло. Опоздание исключалось, потому что те, кто не успевали, чаемого лакомства не получали. Те, кто не слышали, оставались с носом, с чувством неудовлетворенности, обиды и детской злости.

Я вбегал во двор коротким путем, минуя выемки ибильные чертополохи. Я задыхался от счастья, что заветное словосочетание “кому мороженое”, вспыхнув, полыхает на перекрестьи нашего проулка и улицы Юшкова. Я на одном только выдохе кричал, орал, громыхал маме, разыскивая ее взглядом в густом малиннике огорода, скользя взором дальше под шелковицу поверх картофеля. “Ма, — кричал я, — там мороженое” — и мама, моя сказочно добрая мамочка, летела в дом за вожденной мелочью, за одиннадцатую копейками, за стоимостью белого молочного дива.

Совершенно счастливый, с праздничным лицом, я взирал на всегда опаздывающего Славика и втайне радовался его горю. Поселок на мгновение, всего лишь на несколько минут наполнялся шумным весельем шумящей детворы, праздничной суетой, беспричинным смехом и восклицаниями. С каким-то чувством, похожим на сострадание, наблюдали мы за плачущими детьми из многодетной семьи, приунывшими, опоздавшими на зов заветного голоса. Я глядел на Валю Яхно (вечная ей память, безвременно ушедшей в мир иной), Валя мне нравилась, но выразить детское чувство я не мог и всегда обижал ее. А потом получал нагоняй от дяди Вани (ныне покойного).

Сегодня я с удовольствием заглядываю в гостеприимный дом тети Нади Яхно, подолгу беседую с умной, интеллигентной Верой, которая, в принципе, могла стать моей женой. Сегодня я не злюсь на своего отца, яркого противника мороженоых, пирожных и всякого рода конфет, и вообще сладостей. “Ешь яблоки...”, — жестко изрекал папка в ответ на мои просьбы о шоколадах-мармеладах. И, окатив тревогой, исчезал в сторону своего лесного склада. Я же много лет не мог взять в толк, как можно любить яблоки, если Сашка Алехин ест на улице мандарины, а в магазине на витрине расплываются от жары огромные коричневые заварные пирожные. Как можно жевать рыбу с коротким названием хек, которой из-за дешевизны закармливала нас мама. Как можно смотреть на маринованные огурцы и помидоры, день и ночь, летом и зимой не исчезающие с нашего стола.

А сколько радости я испытывал в дни приезда сестры Люды из Таганрога. Мне выпадала на долю огромная (ею не надо делиться) шоколадка. Люда вручала мне желанную плитку, общалась с мамой, играла со мной. Я от радости, жадности и всего вместе добивал в одночасье сладкое угощенье, боясь, что придется делиться со старшей сестрой. (Младшая сестра Галя еще не родилась). Я выбирался из-за дома, ощущая страшную жажду, умиротворенный на целый год, чумазый и коричневый от шоколада. Я складывал блестящую фольгу (мы назвали ее золото), прятал в свой тайник, и сказка завершалась.

И снова приходилось есть полезную, хорошо приготовленную пищу. Вновь начинались будни, полные солений, мочений, пшенной и перловой каши, жареной картошки и чая с большим количеством сахара. Ничего не лезло в горло в эту жаркую летнюю погоду с ее тридцатиградусной жарой, с ее чистым безветренным небом и безоблачным горизонтом.

По-прежнему шахтный гудок звал шахтеров на смену, гудок еще не отменили. Как обычно, мы неслись за выемку на бугор и катились с него вниз, к ногам выпивающих после смены шахтеров. Как всегда, сквозь мириады звуков, несмотря на грохот проходящего поезда, мы опять предчувствовали заветный и далекий зов “Кому мороженое...”

Забывтые уроки

Незадолго до глубокой осени, томясь безвременной непогодой, я изнывал под снегозаградительными щитами, стоящими в вечном наклоне. Масса их, прижатых друг к другу крепко сбитых сосновых пролетов, накрываясь, никогда не падала. Давя один другого, каждый такой ж-образный сбитень, окрашенный темной водоотталкивающей смесью, составлял силу и плоть типичных для моего детства диковинных сооружений. Мы забирались по шершавым, неоструганным боковинам, подолгу сидели на неудобных остро обрезанных и неопрятно складированных сосновых наверху.

Моим учителем был Бог и случай. Я играл роль своей маленькой пьески, воцарившись на гряде щитов. Я находился в том возрасте, когда ответов пока еще нет, а вопросы сыпятся как из рога изобилия. Они падали на жирный чернозем, возлежащий площадью у моих ног, тянувшийся во все стороны одинаково и далеко. Свежевспаханная земля упиралась в местное кладбище, расположенное между терриконом, дорогой и частными домами. Буквально в двух шагах по железной колее тащился железнодорожный состава, как всегда перегруженный углем и лишними вагонами. Я располагался на одном уровне с машинистом и чувствовал себя равным с грозным, испачканным углем мужиком. Я всегда боялся машиниста, потому что без конца швырял камни в звонкие боковины вагонов. Но теперь я не испытывал чувства вины, спокойно глядя дядьке в глаза. А сцепщик дядя Саша Кривуля, папа моего друга детства Славика, совсем не показался мне страшным. Он по обыкновению стоял на площадке последнего вагона, замыкая угольное шествие, махнул мне рукой. Прежде чем “черное золото” отправится на станцию Весовая и затем на бескрайние просторы державы.

Я, конечно, срейфил от мысли, что дядя Саша передаст отцу мое местонахождение, но виду не подал. Безвольность сменилась зачатками чувства собственного достоинства и значимости. Я едва не задохнулся от осознания своего земного значения, что мне ничего не нужно бояться. Поистине лунатичность владела мной в минуты парения над пашней. Свобода парила в отдалении, как бы приглашая причаститься к ее тайнам. Безмятежность и беззаботная легкость влекли мой

неустойчивый дух куда-то в неизведанность. Я поднимался до уровня молодых акаций, вверяя свои детские муки и горести, свои душевные и телесные силы воображаемому полету.

Слова еще не сказались, жизнь только-только началась. Жизнь, как чудо взглянула на меня дружелюбно, промолвив: “Хватит...” И мягко толкнула на землю. Я рухнул в насыщенную сыростью пахоту. Земля заговорила со мной живо и реально, возвращая в текущие страхи и проблемы. Пинок судьбы прервал беспмятство, любовь небесная благодатно отворила створ дум. В мои провинциальные задворки вомчались уроки! Как же я мог о них позабыть? Я вдруг очутился в их власти, перепорхнув из страны эльфов в царство грифов. Иллюзия исчезла, щиты стали ненавистны. Невысокие домики на далеких околошахтных участках показались вовсе не такими просторными. Непогода, не предвещающая ничего, кроме дождя и слякоти, теперь производила тягостное впечатление.

Я бежал, покрасневшийся и потный мальчик, по улице Толстого, расстегивая курточку. Я спешил исполнить задуманное — забраться на крышу ржавой кабины, брошенной у дома одноклассника Сашки Захарова. Сноровка подвела, я рухнул со скользкой крыши вниз. Ссадина на ноге оказалась глубокой, кровь просочилась через штанину и не затиралась. Я плакал от боли, обиды и одиночества. Я рыдал от жалости к самому себе, от страха перед невыученными уроками. Как будто и не было недавнего легкого, бессмысленно-воздушного веселья. Я утер слезы, не обращая внимания на Сашку Захарова, плящегося на меня из ворот своего дома, смирившись с разбитой ногой, решительно бросился к отчему дому, проскальзывая и путаясь в густых и трудно отмываемых грязях...

Этикетки

Я услышал от соседа Кольки, поселкового коллекционера: “Монеты старые имеешь?” Я бы рад угодить Коляну, я бы разбил в доску, окажись в нашем доме шедевры нумизматики. Ценные монетки перекечевали бы куда угодно, лишь бы засвидетельствовать свое присутствие в мире, лишь бы ощутить чувство значимости, не доданное родителями. Но в отчем доме не хватало даже современных монет на хлеб. Мама не могла сходить в магазин. Возможно, в нашем огороде и таился захо-

роненный клад, только место, где он расположен, ведали одни шумящие абрикосы и вишни.

Колька глубоко подцепил мой растрепанный образ. Колька затронул мою душу, жаждущую причастности, ищущую цель, изнывающую без пути. Желание возникло, благодать прянула, путь постелился. Само собой определилось: “Начну собирать этикетки...” Гришка Тамуров просто накапливал перышки, но перья нужно покупать, а денег родители не выделяли. Предки в основном возводили здание взаимоотношений без любви, доверительности, интимности, заботы, чувства исключительности. Стены рушились мне на голову, предки безуспешно начинали все сначала. Работа отнимала силы и средства. Не надеясь на их помощь, я отказался от соблазна приобретать перышки. И вообще перестал думать о деньгах. И все же не давали покоя спичечные этикетки.

Я встретил Кольку, бредущего по разжиженному чернозему от путей к дому. Колька относился ко мне, как старший к младшему – снисходительно и немного свысока. Колька нес в кармане невиданное сокровище – новенький набор спичечных этикеток (оказывается, они свободно продавались по сто штук в наборе). Колька показал мне свое богатство, не выпуская диво из рук, не разрывая упаковку.

Порыв, овладевший мною, только и смог поддержать меня. Страсть ударила и в бровь, и в кровь, и в кривь. Я шел по грязи, направляясь домой, разрываемый обидой и саможалостью. Агрессия хоронилась внутрь, невысказанная, зачинала мне славное алкогольное будущее.

Я привел в порядок очень грязные сапоги, намучившись у “чистилки”, с пламенем в душе поспешил на кухню, начал нервно срывать этикетки с папиных спичечных коробков. Я не ведаю, по каким ориентирам я двигался, я не думал, что творил, но, видимо, юродство вложено в меня небесами.

Отныне всякий мужчина, тянувшийся непроходимыми грязями по улице Юшкова от шахты на станцию Весовую и наоборот, встречался с безвестным мальчиком, просящим разрешения сорвать наклейку с коробка. Всякий, стоящий на нашей остановке, сталкивался с моей безобидной просьбой. “Берегите лес” написано на картинке. Она отклеивается с уголка ноготочком, с каждым изгибом двигается наискось.

Три-четыре завитка, и коробок сиротеет, становится безликим. А диво аккуратно складывается в карман.

“Дяденька, можно мне...” — звучало смиренно и убедительно. А на цветном изображении, что ни день, то новинка: “Тот, кто кофе утром пьет, целый день не устает.” И такие сюжеты печатались на спичках.

Я топтался у шоссе, ожидая жертву. На обочине в грязи я заметил помятую трехрублевку. Я примчался домой, застучал в дверь. Отворив дверь, мама шумнула: “Мы моемся...”. Она взяла трешку, дверь прохрипела, как перволед. Я не огорчился, уходя в осенний день, слепой от слез, считать свои этикетки.

Тревога

Спички я загодя взял дома, когда отец нырнул в погреб за синенькими и задержался там надолго, волнуя звонкостью своего винно-водочного схорона, о котором я знал давным давно. Я спрятал тарахтящий коробок в карман, испытывая при этом великое чувство вины. Мне думалось, тарахтенье разносилось по дому, сотрясая соления и ветхозаветную тьму погребного подземелья, неприветливо чернеющую под ногами.

В глубоких карманах вельветовых штанов спички шебуршали и на улице, и звук их распространялся до самых путей, затихая в реве ползущего на станцию длинного состава с углем. Зыбкость моего благополучия заставляла воображение додумывать за мимоидущих прохожих и вообще — я предполагал, поселок только тем и занимается, что вслушивается в таинственные звуки, исходящие от неказистого мальчугана.

Вообще-то чувство вины (сегодня я плотно занимаюсь этой проблемой) неосознанное, невыраженное, непонимаемое властно, слепо, искусно управляет человеком, соответственно разрастаясь до мировой вины с непонятными и необъяснимыми истоками и последствиями. Отклонение психологической нормы поведения вело меня к соседям, здесь и там работающим на огороде или стоящим просто так у калитки на “дозоре”. Всех поприветствовав, я держал руку в кармане, сжимая громкие, звучные спички до опотевания ладони.

Впрочем, спички выполняли роль отвлекающего маневра. Если что, я преисполнился готовностью сдать спички, по-

виниться, покаяться. Я изготовился предать спичечную идею, если что-то не заладится. Я придумал версию о найденном коробке, на случай проверки карманов отцом. Спички я нашел в месте, куда нормальный Макар телят не гонял.

Я тянул время, вытапывая дорожку к выемке. За бурьяном я резко свернул вправо и пошел, невидимый, на всех парах вдоль бугра с той стороны, наполненный большим количеством новых ощущений, вдыхая запах пережженного и свежего каменного угля. Там, у меченого столба, на стыке двух пролетов еще вчера я закопал пустую коробочку с тремя недокурками, подобранными на остановке автобуса. В расщелине штакетника виднелись громадные и трогательные кисти винограда, и чувствовалось присутствие беспокойного пса. Зверюга-таки учуял мои суетливые движения, мое копанье в черноземе, но припрыгал в мой регион явно с опозданием.

“Гав...” — не страшно громыхнуло за спиной, добавив еще одно блеклое впечатление в нескончаемое изобилие текущего дня. К великому сожалению для пса, я уже перескочил дорогу, растворился в разнотравье, занятый исполнением мрачной миссии — уничтожением своего драгоценного здоровья, служу тьме и силам реакции. Нетерпеливо, как наркоман, дрожащими руками я вытащил из коробочка вонючий, со следами укуса “бычок”, зажал его зубами, присел пониже, чиркнул спичкой, неглубоко и неумело затянулся.

“Стой!”, — напоминающее тоже собачье “гав” твякнуло прямо над моим ухом. Я почуял усиливающуюся тошноту, увидев соседских парней старшего поколения Петьку Ляшенко и Кольку Иващенко. “Еще раз увидим у тебя сигареты и спички, расскажем матери и отцу...” И убрели по своим юношеским тропам, поселив в душе моей тревогу.

Домой я возвращался совершенно разбитый из-за непрекращающейся тревоги. Спички ребята у меня забрали, недокурки я выронил от неожиданности и напрочь забыл о них.

Мельгешащие соседи больше не волновали меня. Мать стояла у калитки и разговаривала с Иващенко и Лященко, едва заметив сына. Я вглядывался в матернино лицо и гадал? “Знает или нет?”. А из проулка в направлении нашего дома сворачивали с неба свалившиеся Петька и Колька. “Здравствуйте, тетя Вера...” — крикнули они в один голос и

не заметив меня, поспешили по своим делам. “Иди, поешь...” – ласково шепнула мать, и я понял, ей ничего не известно. В душе стало бестревожно, я с удовольствием бросился в дом – хлебать нелюбимое блюдо – борщ.

На поляне

Какое футбольное пространство, томящееся в забытых Богом шахтерских поселках, угробили эти долбанные строители! Водопроводную артерию они повели прямо по середине нашей игровой площадки между Фролкиными и улицей Ваинша. Окрестности превратились в то, что обычно получалось после начала строительства – экологическое беспамятство, природная некорректность саморазрушения.

Надо сказать, на известном пространстве царствовали представители дикого футбола с явным лидером Валиком Фролкиным. В его отсутствие футбольные мощности активнее всех набирал я. Фролкин, приходя, елозил всех и вся, в хвост и в гриву трепал защитников любых рангов и переулков. Его обводка, отточенная в диких страстях отечественного уличного футбола, казалась на тот час феноменальной и непостижимой нормальному человеку.

На обратной стороне нашего поселкового игрища, словно притаились крыши (вровень с землей) сараев, начинающих или завершающих поселок Ваинша. Улица со странным названием (верно, по фамилии какого-нибудь подпольщика) отличалась в нашем регионе нефутбольной почвой и обстановкой и дала миру наименьшее количество играющей молодежи.

Мяч, залетающий в неспортивное направление, падая в нефутбольные дворы, застревал у страшного дяди Степы Перуна. Несговорчивый взрослый ни за что не желал с нами общаться. Ребята, обескураженные таким поворотом событий, осиротевшие без футбольного снаряда, гурьбой спешили к моему отцу (председателю поселкового совета) за помощью.

На спортивную площадку тянулись исподволь, намеренно, охотно с интересом, от безделья и по зову души. От перезвона душ тишина делалась колокольной, зовущей. Взрослые зова не слышали, по дремучести своей бесчувственной спрашивали одинаково: “У вас там что, медом намазано, что вы и утром,

и днем, и вечером летите на поляну...” Медом не медом, но духовное развитие и личностный рост наблюдался основательный.

Однажды революционное настроение коснулось наших сердец, заискрило наш скромный интеллект. Мы взялись за лопаты, грабли, носилки и сделали настоящее негабаритное футбольное поле, со вкопанными бревнами-штангами, настоящей футбольной разметкой, угловыми полукружьями. Мы играли, трудно приспособляясь к правильным ограничениям великого вида спорта. Хаос и анархия дикого становления обрели законные очертания гармонии и законные границы порядка.

И тут затарахтели тракторы, загудел экскаватор, замельтешили рабочие, сгружая трубы большого диаметра, задымили смолокурни. Площадка превратилась в поле битвы. Внизу склона образовалось озеро-болотце с обилием лягушек. Вовка Поярков, местный естествоиспытатель ловко препарировал их лезвием, восторгая прозаиков и ужасая поэтов.

В своих неловких валенках я топтался поодаль, сожалея о не надетых сапогах. Погода не заладилась, ненастье свирепело. Неловко ступив на край болотца, я провалился по колено в воду и потерял калошу. Мои смятенные мысли рисовали сцены наказания. Бедные мои руки тщетно рыскали в непроглядьи мелководья, пытаюсь спасти положение. Рукава пальто безнадежно намокли. Греясь у смолокурни, я, не думая, прислонялся к грязной емкости. Затем, надеясь на чудо, я брал палку и вновь искал калошу. Ноги промокли, пальцы замерзли, душа кричала. Лицо и одежда от частых прикасаний к смолокурне приняли откровенно темный оттенок. А порванные штаны, как только я не заметил торчащий гвоздь на доске для сиденья, превратили меня в самого несчастного мальчика в мире. Как ни прятался я от мамки, она рассмотрела все и увидела во мне мое горе. Мама усадила меня возле духовки, подложив под ноги деревяшку, чтобы я грел ноги...

Поляну застроили. Валик спился, дяди Степы нет в живых. Его племянник Шура Перун — мне приятель и единственный нормальный футболист с того поселка...

Воспитание

Имя и отчество первой учительницы не запоминалось. Диковинное словосочетание не касалось моего негибкого мышления. Первые детские образы создаются чтением, играми, следованием изначальным контурам.

“За мольбой идет назидательное чтение, за чтением — молитва, кратким покажется отроку время при столь разнообразных занятиях”. Так звучит выдержка из письма блаженного Иеронима — из 4 века “О воспитании отроков”. Лишенный внимания, письмоводительства, я вырос отроком диким, невоспитанным, падким на цветистые вещички и штучки. И конечно же, имя наставницы не укладывалось у меня в голове со слабо развитой памятью.

Иногда отец проявлял учебное рвение. Он совал мне в руки книгу, указывал отрывок: “Читай и перескажешь...” И засыпал в перманентной нетрезвости. Я мучился, пытаюсь запомнить прочитанное, со страхом глядя на храпящего отца.

Видя папку, ночами напролет читающего популярные издания, я подражал ему. Отец брался за “детектив” “Преступление и наказание”, но вскоре отбрасывал сложные для его образования тексты. Прикасался к Достоевскому и я. Доходя до третьей страницы, я мучился от непонимания и так же, как и отец, запускал книгу вдаль.

Иногда к нам в гости приезжал дед, привозя маленькую банку меда (дед держал пасеку). Мне указывали читать дедушке. После декламации меня не похвалили, а я так нуждался в чувстве причастности.

Мама, видя, как я маюсь от пустоты безигрушечной, научила меня делать из струганных палочек нечто вроде буквы “ж”. И еще из двух книг творить одну и потом разымать их. Какое ни есть воспитание. Игра, а не пустота темная.

Мама, шутя, наступила на мои длинные, уродливые лыжи (как вообще можно было купить малышу такое чудище, да еще на фоне гоночных лыж друга Вовы Козела), я раздраженно сделал рывок, и мама неуклюже рухнула навзничь, больно ударившись головой об оснеженную землю. У нас не было понимания, эмоциональной связи. Ничего, кроме чувства отчуждения.

Вечером я слушал проигрыватель, мама пыталась разучивать со мною фокстрот. Я передвигал ноги и ощущал гадкую безразличность.

Купив велосипед, отец наблюдал за моими колеистыми падениями. Вскоре, перепахав колею, с разбитыми локтями и коленками я несся по высыхающему чернозему. И ветер свистел у меня в ушах.

Отец привез мне из Ленинграда первую и единственную игрушку, которую в детстве я держал в руках. Детских книг мне не приобретали. Я мгновенно сделал заводной, легко скачущей лошадке “ремонт”. Так и предстал перед папкой, терпеливо и смиренно, ожидая наказания. Но милость небесная коснулась сознания главы семейства. Он только махнул рукой, занятый своим.

Приближалась школьная пора. Мимо дымного террикона отец вел меня в первый раз в первый класс. Учительницу я видел молодой и красивой, но попалась пожилая и полная. “Не балуйся...” — шепнул отец. И нас, неуклюжих первоклассников, повели нестройным отрядом в будущую неизвестность. Я сидел на первой парте с Трофимцевым и часто спрашивал незапоминающееся имя учительницы: “Ты не забыл, как ее зовут?” И вновь терпеливый и полноватый Витька отвечал мне — “Анна Тимофеевна...”

Погоня

Дети, жившие за автомагистралью “Центр — шахта им. Абакумова”, добирались домой из школы 94 по двум направлениям. Послушные следовали наставлениям мам и пап, смиренно тащили тяжеленные портфели вдоль асфальтного ответвления, ведущего к школе и дальше к дому культуры, стратегически объединявшего микрорайоны.

Как и велел отец, я в числе многих плелся со Славиком Кривулей, мучаясь в новом неудобном костюмчике, озирая кроны запыленных акаций. Деревья, изобилующие колючками, неприхотливо уживались даже на безжизненных терриконах. Дорога пролегла ровно, один раз изгибаясь, обнимая дымящееся породное чудовище. Терриконы, подобно вулканам, спали или животворили самое себя горением, дымами, взрывами. В местах задымленных лучше не появляться. Это я сразу понял, наступив на пепелище. Назавтра обожженная кожа вздулась и мучительно заживала.

У дороги высился магазин. Я заглядывал внутрь и долго рассматривал витрины с блестящими обертками конфет, халвой

в банках, вазами, полными пирожных. Потом мы останавливались у длинного троса, исходящего откуда-то сверху, закрепленного внизу у забетонированного рельса, длинно и необычно, словно гигантская струна, соединяющегося с вершиной. Мы помнили историю о некоем спорщике, заключившем пари на автомобиль “Москвич —401” о том, что он в перчатках на одних руках спустится по тросу, смазанному солидолом. Горемыка не рассчитал качество или количество перчаток. Кожу и мышцы на руках стер — ужас! Прямо кости увиделись.

Дальше мы со Славиком перебегали самую оживленную автомагистраль, опасную замысловатым изгибом, скрывающим мчащиеся машины. Я по природе своей рожден более ловким, чем тягучий Славик, поэтому очень злился на его медленность. Миновав “шоссейку”, мы перескакивали второстепенные подъездные пути, соединяющие шахты и станцию Весовую. Как чудно дымили паровозы, задыхающиеся на подъемах от избытка груженных вагонов. Как хотелось дышать клубами черного дыма. Чуть позже мелькали вагоны, возвращаясь порожняком обратно на шахты за углем. Звонко отлетали от металлических боковин брошенные нами камни-окатыши, не попадая в междвагонье.

Но существовал еще один путь из школы к отчему дому. Через бараки, с правой стороны окульгуренного террикона, разрезанного на средней высоте тропинкой, протекающей по красному глею через действующую вагонеточную трассу, мимо бункера отгрузки породы, через нижние железнодорожные колеи, сквозь комбинат, вдоль крана с газировкой.

Я поднимался на горку (Славик пошел старым путем, он вечно делал не по-моему). Мне не глянулся гуляющий во дворе барака рыжий ровесник. Мы начали препираться, слово за слово, я бросил в него породину и попал в голову. Рыжий заорал. Его мать, словно ожидая, тут же выскочила с криками, причитаниями. Шагом-бегом и я на холме. Оглянувшись, я с ужасом отметил, что они идут за мной следом. И не находилось от них спасения, будто мать рыжего знала тропу лучше меня.

Путая прилипчивых преследователей, я юркнул в первую дверь комбината. Пропетляв по бесконечным коридорам, снуя за спецовками темноликих шахтеров, я появился в многолюдстве основного корпуса с обратной стороны. Перед соседкой

тетей Верой с ненавистным Сашкой, у которого имелись лучшие игрушки, ящик мандарин и большая машина, недоступная мне. Сашку мы не любили всей улицей, потому что он жил в царстве изобилия и по статусу считался чужим. Тетя Вера занимала должность начальника отдела кадров. Сосед дядя Вова нехорошо пошутил в адрес кумы и соседки: “Она в обед и сто грамм выпивала, и начальнику давала...”. Я бросился к ней. Но тут погоня настигла меня. Пришлось вытерпеть немалые унижения и подзатыльник. Домой я возвращался с тетей Верой и Сашкой, лебезя перед ними, угождая и подлизываясь. Не дай бог, отцу и мамке расскажут.

Черешни

Колхозный сад раскинулся на тысячи гектаров. На его плантациях работали, подрабатывали, собирали на дармовщину залежавшиеся огурцы и помидоры, трясли оставшиеся яблоки и груши, сезонно собирали малину (неблагодарное занятие). В лесопосадках, выполняющих роль оград и разделительных полос, мы “бастовали” (прятались от учителей), пропуская занятия в школе. На окраине аграрного комплекса и находился наш поселок. Но можно сказать и наоборот (так мы и считали), заветные гектары принадлежали нам, пацанам, отправляющимся познавать мир...

Я трудился с сестрой на плантациях крыжовника и малины. Я не любил нудную однообразную операцию по сбору ягоды. Я не переносил на дух вкусные и полезные фрукты еще и потому, что отчий огород изобиловал подобными полезными культурами. Моя нетерпеливость не соглашалась с жарой, с установленными объемами сбора, а спешка только усугубляла колючую ненависть кустов крыжовника ко мне. Исколотость пальцев достигала критической отметки нетрудоспособности. Моя любимая старшая сестра Валентина будто и не замечала крыжовниковых колючек, гнала и давала норму, несмотря на маленькие расценки, несмотря на тридцатиградусное пекло.

Когда нас перевели на малину, я узнал почему фунт лиха. Тот, кто знаком с технологией сбора целебной ягоды (живой аспирин), почувствует и поймет мой гнев и негодование.

Малинка в отличие от других культур тут же усушивается, сейчас же утрушивается и прямо на глазах уменьшается в

объеме. Выработать установленную норму могла только моя легендарная сестра со своей гениальной целеустремленностью. Одна радость — домой несли вдоволь, никого не ограничивали, все считалось общим и, стало быть, ничьим.

На противоположном конце сада, довольно далеко от наших посадок, росли сказочно вкусные, тающие во рту груши. В ту сторону по малолетству я не забредал. Однажды отец завел разговор о грушах. Порассуждав о сочных плодах, он сложил мешок, позвал в дорогу меня. Пройдя много садовых кварталов, мы оказались в грушевом раю. Я объелся медовой мякоти, набил грушами пазуху, отец наполнил мешок. Объездчик (на лошади обслуживающий территорию), кажется, вел себя как папкин давний знакомый. Они распили бутылочку вина, и мы тронулись в обратный путь. На краю лесополосы отец спрятал мешок с грушами в кустарник, указав: “Выгляни, кто там идет...” И не напрасно, напрямиком в нашу сторону пылил милицейский “воронок”. Машина остановилась. “Груши есть, — спросил старшина. — “Пожалуйста”, — ответил отец и вытащил из кармана желтый плод...

Я старался угодить родителю, боясь встречи с тем объездчиком, который недавно “взял” нас на черешне. Тогда приключение обошлось без вызова милиции, но увидев, что у отца есть знакомые сторожа в саду, я струхнул. Тогда мы, Валеркой Лакомым (царство небесное) ящерицами проползли открытое пространство (ни пылинки не подняв), полежали в редком курслепе под сенью дерева, передохнули и принялись набивать пазухи еще совсем незрелыми ягодами. Жадность требовала еще и еще, хотя рубашка уже трещала по швам, не выдерживая тяжести обвислой фрукты, и мы забыли об осторожности. “Черешню рвете”, — раздался голос из-под земли, пригвоздив нас страхом к ветвям. Размахивая плеткой, под нами маячил грозный объездчик. О том, как бьются колхозные охранники, в народе ходили легенды. “Ребята, — произнес грозный дядька, — вы должны съесть все, что наворовали, или я сдаю вас в милицию...” И мы начали глотать черешню, по вкусу напоминающую кислую траву. Я слопал несколько килограммов зеленой массы и почувствовал тошноту и наполненность. Я понял, любовь к черешне покинула меня. Объездчик разговаривал с лошадей. Лучше так, чем угодить в милицию, а потом под ремень отца...

Гвозди

И зачем только маме вздумалось вырывать за хатой грязно-пыльный бурьян? Стоял бы себе и стоял в полуметре от штакетника, никому не мешая, между угольным сараем и новым туалетом. Сорная трава создавала обстановку загадочности. За ней находился мой тайник с выигранными перышками (шариковых ручек мы еще не знали, пользовались исключительно перьями), с мелкой разменной монетой, выуженной в карманах родителей.

В гущине сорняка прятался придуманный наблюдательный пункт. Сквозь заборные щели я следил за передвижением соседей, чтобы в их отсутствие забраться на угловое абрикосовое дерево, привлекающее не только меня обилием крупных золотистых плодов. Фруктины высоко и опасно свисали над острым штакетником, но кого это может испугать?

Опрометью, змеей вдоль забора, шелестя бьющим по ногам полынным, я добежал до угла, в два движения воцарился на вершине — над проулком. И раз-два-три — посыпались золотые дары природы в глубокий карман шортиков матросского костюмчика. Непослушная бескозырка скользнула вниз на ботву вражеской территории. Спускаясь, я почуял на поясице цепкие руки тетки. Стоя между мамой и соседкой, я все отрицал. Тетка попыталась достать из узкого карманчика вещественные доказательства. Да куда там с колхозно-крестьянской лопатообразной ладонью, с коротышками-пальцами...

Пережив потрясение, я притулился к теплой, нагретой солнцем стене угольного сарая, слегка страшась нависающего паука-крестовика, и принялся поглощать абрикосы. Я спрятался так хорошо, что старшая сестра, пробежав к туалету по наклонной дорожке, проложенной у фундамента дома, меня не увидела. Я подумал, она что-то знает о моем тайнике.

Злости на тетку Глазко я не ощущал. Ведь ее муж, добрый дядька, всегда возвращал мне мяч, обычно зафутболенный выше “ворот” на ровные грядки. Их дочь Наташка не дразнилась, не ябедничала, даже нравилась мне.

Жара между тем усиливалась, отодвигая меня вглубь травы, больно уколов через подошвы сандалий острым предметом. Основание бурьянника, густо усеянное ржавыми кривулями, представляло определенную опасность. Я не знаю, где мой

папик собирал такое количество кривых гвоздей, которые мне велел выравнивать, но трудовой повинностью он замучил меня основательно. К тому же трудовые навыки не воспитывались во мне последовательно. Я всегда спешил завершить любую работу, чтобы куда-то мчаться, делать главное дело. Как будто то, что происходит сейчас, вовсе не жизнь, а самая судьба начнется чуть позже, за горизонтом, за холмом, за взгорочком. Но когда поднимаешься на вершину, понимаешь, напрасно спешил, зря суетился, попусту тратил силы.

Короче, ровняя гвозди, я потихоньку выбрасывал третью часть в гушину — напротив.

Отец носил и носил изделия, бывшие в употреблении, складировал хлам в ненавистном мне ящике, а я с каждым разом все более добросовестнее сеял металлический хлам. Скошенное пространство, густо покрытое ржавчиной, смотрелось замечательно. И надо же было маме (хвала небесам, не папе) наводить порядок за домом. У меня бескозырка на волосах поднялась. Меня спасла напряженная обстановка в отношениях предков. Они пребывали в ревнивых разборках. Мать высказывалась у калитки тетке Глазко. Отец шумно исповедовался дяде Володе, ища поддержки. На гравейке маячила Наташа, наблюдая, как я метался между сараем и туалетом, убирая следы, швыряя гвозди в смежный огород...

Большие деньги

Дядя Женя, брат моей мамы, после демобилизации из армии жил в нашем доме и занимал спальню, где ранее спали мы с сестрой. Дядя работал в шахте, хорошо зарабатывал, жениться не спешил. Он, как холостой и видный мужчина, в свободное время дома находился весьма редко. Посему я и моя старшая сестра Валентина мстительно шарили по углам. Среди вещей выделялся приоткрытый чемоданчик, в котором виднелась внушительная пачка купюр. Сестра быстрохватила сторублевку, и мы вылетели на улицу. Мы медленно протопали мимо мамы, занятой огородом, проскользнули за калитку, стремглав помчались в сторону лотка с мороженым — за дорогу — к шахте.

В то мгновение я переживал двойной страх. Не так давно, находясь в необъяснимом забытьи, я побрел за какой-то

придуманной получкой, в буквальном смысле слова, на край света. Меня перехватила соседская девушка Полина, шедшая на танцы. Она привела меня в разволнованный дом к великой радости отчаявшейся мамы. Поэтому несколько дней я находился в опале — ремень витал надо мной. А тут еще новое приключение...

— Идем за мороженым, — приказала Валюха, да и кто бы устоял бы перед сладким искушением в те несладкие годы.

Лотошница уныло маячила под гастрономическим зонтиком, сонно лизала эскимо. Ее сонливость точно волшебной палочкой смело с лица, когда десятилетняя девчонка протянула денежку. Господи, как долго, как тщательно и дотошно спрашивала она сестрицу о происхождении купюры. Как только не изворачивалась моя любимая старшая сестра. Как уверенно ссылалась она на щедрого дядю. Слушая диалог сестры с продавщицей, я и сам вскоре уверовал в законное происхождение денег. Наконец, переговорив с какой-то женщиной (мне показалось, будто там произнесли нашу фамилию), утомившая нас тетя в белом фартуке, светлая, как пломбир, выдала нам брикеты, впихнув в сестрицын карман пригоршню сдачи.

Мы слопали по четыре порции. Мы выпачкались до неимоверности, нас развезло от сытости, сладости и довольства. Мы медленно тянулись домой. Валя хохотала, глядя на мои мурзатые щеки, тыкала пальцем в мой шоколадный нос. На подходе к поселку сестра остановилась, прыгнула в выемку, раскопала ямку и схоронила наш золотой запас.

Тс-с, — приложила она палец к моим губам и я понял, что скорее умру, чем выдам военную тайну.

Семейный совет во главе с дядей Женей встретил нас ласково. Нас спрашивали, вкусное ли мороженое, откуда у нас денежки. На счастье, отца дома не было, не то — быть беде...

Мы все отрицали до тех пор, пока мне не пообещали каждый день давать деньги на мороженое при условии, что я скажу всю правду. И мое сладколюбивое сердце дрогнуло. “ Мы закопали сдачу возле путей — в выемке...”, — предал я сестру, наше захоронение и наши большие деньги...

Кочерыжки

Мы тащимся по шахтной территории, с любопытством разглядываем гору новых вагонеток, сваленных у железнодорожной колеи и начинаем их исследовать. Одна из громадин падает на пальцы ноги Вовки Пояркова. Истошный крик мгновенно дисциплинирует нас. Страшие товарищи подхватывают раненого, поочередно на плечах несут его к медпункту шахты Лидиевка. Подавленные, мы растекаемся по прилегающим к шахте улицам, спешим сообщить Поярковым о случившемся. Через минуту проулки оглашаются заполошным криком. Мимо моей калитки летит простоволосая женщина, Вовкина мать...

А в нашем доме тишь да благодать. Мама и старшая сестра Валя крошат для закваски капусту. Мама вырезает качанные кочерыжки и складывает ослепительно белые сердцевинки в глубокую тарелку — для меня. После купания и гуляния я очень голоден и мгновенно набрасываюсь на любимое лакомство. От алчности чревоугоды (есть в мировой психологии такое выражение) я веду себя неадекватно. Обычно я набираю полные карманы чего-нибудь вкусенького, как, например, вчера я появился за калиткой с пакетом ароматного горячего печенья. Возможность угощения дает чувство причастности, приобщая к великому уличному братству. Горбушка, поделенная с кем-нибудь из своих, доказывает, ты не жмот! Ты свой! И так, жуя еще очень горячее (только что из духовки) печенье, я испытываю раздвоенность и смятение. Кулинарное изделие вкусно тает во рту, мне не хочется делиться. С другой стороны, мне страсть как охота встретить бойцов уличного фронта (помните местные битвы улица на улице), ибо я пока еще туда не вхож, а значит, мое место в драчливой когорте, в поселковой иерархии находится на вторых ролях.

На “вергуны” (так именуется в нашем доме выпечка) и приятель бежит, скажу, перефразировав известную поговорку. Валик Фролкин (откуда только взялся возле калитки) тут как тут: “Ломани печенье...”. Угощаю и жалею, сам не знаю, почему. Валик больше по футбольной части, он не гроза улиц. Валик поразил нас всех, выйдя в календарном матче на первенство города в составе юношей команды “Станция Весовая”. Я подавал мячи и тосковал о славе, плача внутри.

Я протянул полвергуна звезде станционного футбола, соврав: “Мамка позавчера спекла, немного осталось...”. Валентин Фролкин быстро поставил меня на место: “Так они ж горячие, трынди до рубля, а то сдачи нету...”. Фролкин не дорастет до звезды советского футбола, угодив в алкоголизм, в общую бездуховность личностной потерянности большинства талантливых людей.

Из-за жадности я ем и ем капустные палочки. Овощ сладок, тарелка пустеет, животный инстинкт неостановим. Клетчатка забивает желудок, я слабею, бледнею, задыхаюсь, опускаюсь на кровать и умираю. Мама прошла войну медсестрой в госпитале, но совершенно не готова к такой ситуации. Если бы не Валя, спохватившись, она взялась делать искусственное дыхане, никто не прочел бы эти строки. Я очнулся уже другим человеком, я сделался щедрым и, как полагается, через боль, более смиренным и немножечко духовным. Я набил карманы кочерыжками, поспешил на привычное место нашего собрания производить впечатление. Но кроме Фролкина, пинающего мяч невдалеке, и Вовки Пояркова, сидящего на траве, на поляне никого нет...

Белая лестница

Мы собирались в Таганрог к маминой сестре тете Наде всем семейством. Мужественная женщина, пройдя фашистский концлагерь, потерю любимого, трагическую травму глаза на ткацком станке, наконец-то обрела свое счастье — вышла замуж за начальника по ремонту доменных печей Ивана Дмитриевича. По такому поводу нас пригласили в гости. Они жили в роскошной квартире у самого Азовского моря, воспитывая двух детей. Роскошные апартаменты удивляли своими размерами, а наличие домохозяйки поражало наше провинциальное воображение. О недавнем ремонте напоминали ослепительно белые стены, пахнущие побелкой, и небольшая емкость с торчащей из нее неопрятной щеткой, задвинутая за угол свежeweымытой лестницы.

Перед отъездом мы волновались за отца. Год назад тетя Надя гостила в нашем доме. Неделю она наблюдала за мытарствами матери, за происками нетрезвого отца, пока в ее крепко сбитой плоти, в ее непокорной душе развивающегося алкоголика, с гневом своеволия не созрело решительное же-

вание сказать правду. Отец выглядел жалким и беспомощным, униженно глотая гнев, боясь революционно настроенной родственницы. Тетка выразилась прямо: «Ты, козявка, если ты еще раз тронешь мою сестру, я отрублю тебе голову топором...» — и выругалась так убедительно, что вся семья поверила ей. Такова главная причина нежелания отца тащиться в «какой-то Таган-рог», как он выразился.

Тем не менее поездка состоялась. Нас встретили хорошо. Водили по огромным комнатам с высоченными потолками. Показывали террасу. Прислуга накрывала на стол. Отец часто курил, вероятно, боялся властной хозяйки. Ожидали с работы важного и таинственного Ивана Дмитриевича, начальника с личной машиной и шофером. Для меня наполнили ванну, огромную, как море. После домашних купаний в оцинкованном корыте я впервые в жизни плескался в удивительном царстве ослепительного кафеля, пахнущих шампуней и мыла. После ванны мама меня передела, причесала, повела показывать за столом. Иван Дмитриевич оказался не страшным. Он делился впечатлениями о недавнем ремонте, мол, слава богу, закончилась побелка. Задав мне два-три вопроса, он перестал обращать на меня внимание. Я под шумок вылез из-за стола, отправился дышать летним вечерним воздухом.

Внизу, едва колеблемое дымкой, виднелось нескончаемое море. Насмотревшись на бездну, я начал слоняться вдоль перил, пачкаясь о побеленные колонны. Внимание привлек ползущий муравей. Я преградил путь насекомому щепкой, но маленькое чудо природы юркнуло под емкость с белой массой. Я силой толкнул ведро. Светло-голубая жидкость устремилась вниз по ступеням. Щетка с длинной ручкой зычно шлепнулась рядом с моими ногами, обрызгав с ног до головы. Я забыл о муравье. Отойдя от страха, принялся убирать следы преступления. Послушной размокшей щеткой я добросовестно размазал влагу по каждой ступеньке, а наступившие сумерки скрыли их темнотой. Оглядев проделанную работу, я убежал в дом смотреть мультфильм.

Вечером всем было не до меня, а утром я проснулся от переполоха. Я выглянул на террасу и замер от удивления. Вся семья с недоумением смотрела на сияющую, словно из сказки явившуюся, абсолютно белую лестницу...

Рубильник

Впервые на нашем поселке, прилегающем к шахте 2-7 Лидиевка, на облезлых угольно-серых столбах заблестал новенький, зовущий к себе тайной неизвестности — рубильник.

Я увидел его, гуляя по утреннему проулку, шелестя подошвами по перегоревшему углю, стуча палкой по скучному штакетнику, по серому набрызгу ограды. Я забежал на бугор, возникший после строительства водопровода, и замер, глядя на сияющую, не покрытое пылью, не облапанное и удивительное чудо.

И тут меня объял жаркий пот любопытства и холод страха. И тут чувство, двоясь, повлекло мою суть к запрещенному электричеству, отчего стало тревожно. Отчего-то глазомер зашкаливал, прикидывая доступность объекта. Отче наш, как преодолеть главное препятствие, как обойти всевидящего дядю Колю Лакогого, великана и папиного приятеля, грозу моих ровесников. Как скрыть правду, когда он вопросительно смотрит на тебя, а ты прячешь глаза и со страхом думаешь о том, что ему известно о твоём подглядывании за моющейся тетей Дусей, его женой...

Едва ли он забыл и простил тебе сломанную раму на новом велосипеде среднего сына (блаженной памяти) Сергея, через много лет угодившего под колесницу алкоголизма. Тогда мы — вчетвером, умятаясь между сиденьем и рулем, съезжали с горки, хохоча и балуясь, пока терпеливый ухаб не встряхнул нас, и — пока, велосипед, пока-пока, согнутая рама. Плакал Сергей, мы бросились по домам. Чуть позже ты, лежал за крыжовником, слышал голос ругающегося дяди Коли и адвокатский бас отца.

Но сейчас рубильниковое чудо властно звало мою душу. Чувство подсказывало тревогу, интуиция давилась избытком эмоций. Тотчас же чудесным образом я скатился с бугра. Теряя голову, по проволочным скруткам забрался на рельсы опор, стал во весь рост, не чувствуя острой занозы в ладони, ничего не видя вокруг. Я потянулся к черной ручке...

Электрический ток и голос соседа обрушились с небес одновременно. Могучая сила швырнула меня вниз на свежескопанную глину, крепкая рука взяла за ухо. От страха у меня случилась малая физиологическая потребность, от ужаса про-

пала речь. И только ослепительный рубильник с укором взирал на меня со звездной высоты, на меня, испуганного, дерзкого, но не поверженного. И только мудрый дядя Коля, понимая мое состояние не сказал мне ни слова — молча растаял в густеющем сумраке...

Хождение в пионеры

Слух о предстоящем приеме в общественную организацию, объединяющую младшие классы, будоражил и волновал. Ночью душа невольно замирала, пытаясь объять будущую церемонию, стараясь вообразить и прожить трепетные мгновения досрочно, чтобы хоть как-то унять страх ожидания. И таким образом, приближался час заветный, пионерский, традициями воспетый — заветный миг, увенчанный звуками горна и барабанными дробями, чинными лицами ветеранов пионерского движения, проникновенным кличем, рокочущим и зовущим вперед и только вперед, не оставляющим ни тени сомнения в выбранном пути,зывающим к ответственности и действию, вселяя определенное мужество и героизм.

“Пионеры, в борьбе за дело коммунистической партии, будьте готовы, — громко призывал старший. — “Всегда готовы”, - отвечали все. Вот такие идеи впитывал я в благословенное пионерское время процветания коммунистических идей. Во многих местах, особенно в школах, видел я молодежные отряды, ровно стоящие перед лицом школьной дружины. Я запомнил вдохновенные лица моих сверстников. Я мысленно находился рядом с ними и великий восторг ощущался в томительном безмолвии накануне повязывания галстуков. Я вживался в ритуал, и слезы счастья стекали внутрь моего романтического сердца.

И вот приближалось начало новой пионерской жизни. Вы не представляете, какое значение, какое влияние имело место быть. Я не могу назвать то состояние души иначе, как боговдохновенным. В таком отрешенном измерении мы со Славиком тащились из школы домой мимо необозримого испражнения сероводородных нечистот, имевших совершенно пристойный вид и благозвучное название. Самое печальное заключалось в другом, мы гордились непроходимыми грязями, чумазой родины и тем, чем были мы сами. Мы трепетали перед при-

ближающимся мероприятием, мы имели на то полное право, дети великих степей, пасынки непутовой отчизны.

У бугра мы с другом разбегались по своим сторонам. Я скоро делал уроки, затем доставал пламенный галстук и подолгу примерял червоную святыню у зеркала, буквально грезя идеей. Переживая предстоящие события, как и полагается коммунистическому ребенку, самозабвенно и преданно.

Первый удар мне нанесли в школе, шатнув мою веру крепко и основательно. Всем не очень дисциплинированным учащимся (это касалось меня в первую очередь) довели до сведения, что прием в пионеры будет осуществляться в два этапа. И что первыми пойдут отличники и хорошисты. Чувства, испытанные от негативной информации, сегодня в словесном эквиваленте означают следующее: уважаемая коммунистическая партия, за время существования вы совершили две ошибки, вы поколебали мою веру в пионерском возрасте, вы не приняли меня в партию, ваша психология недальновидна и безграмотна, на таких, как я (на эмоционально незрелых), зиждется и процветает вся ортодоксия, такие, как я, не позволили бы одному человеку одурачить всю партию.

Отроческая неустойчивая психика не смогла дожидаться первого пионерского часа. Я убежал сразу после уроков. Меня душили слезы обиды и разочарования. Слова учительницы, призывающие учеников класса поддержать лучших из лучших, я возненавидел.

Дома я в крайнем раздражении швырнул тяжелый портфель под стол, переоделся, взял велик, решив покататься. На самом же деле я выполнял ложный маневр, выделявая выкрутасы как можно ближе к дому Славика, напряженно ожидая его возвращения.

Мой друг показался мне врагом, с галстуком, важный, недоступный. “Привет пионерам” — крикнул я, притворяясь равнодушным, едва не зарулив в угол забора Лакомых. Славик многозначительно промолчал, подняв голову чуть выше обычного, как-то не так посмотрев на меня, порулил по переулку своими мелкими шагами...

Странный случай

Так назвал отец маленькое происшествие, случившееся в нашем доме. Разбитое окно зияло неровностью и создавало ощущение разора. Порывы осеннего ветра норовили повернуть реденькие капли сентябрьского дождя в комнату, но ослабевали. Я маячил рядом с отцом, подставляя лицо освежающей прохладе, находя в сквозняке игривое расположение. “Да, непонятная история, — отец раздумчиво озвучивал мысли вслух и повернулся в мою сторону, — ты не видел, кто расколотил”, — как-то отвлеченно обратился ко мне мой грозный папка...

В его тоне я почувствовал уловку и подвох. В такие минуты он всегда требовал, чтобы я смотрел прямо в глаза, если что-то случилось по моей вине. На сей раз события разворачивались по непонятному мне сценарию. Хотя бы потому, что глава нашего семейства оставался довольно добродушным. Хотя мне подумалось, он играет со мной в игру. Мама как всегда защищала меня от своенравного и жестокого мужа. “Что пристал к ребенку, пусть идет себе гулять”. — произнесла и ласково обняла мои беспомощные плечики, погладила непослушные вихры. Папа редко спорил с мамой в трезвом виде, но сейчас он остановил мамин сентиментальный монолог. “Тут кто-то странно расшиб”, — не договорил и обратился ко мне. Голова моя опустилась вниз, взор заскользил по некрашенному полу и споткнулся на ползущем тараканчике. “Один пацан шел мимо и камнем запустил”, — едва слышно мямлил я, не отрывая взгляда от игривого жучка. “Вот видишь, — поддержала меня мама, — сын ни в чем не виноват”, — и сильнее прижала меня к себе.

Сердце мое прыгало и радовалось, все складывалось прекрасно, через минуту-другую я увильну за выемку к бугру, на футбольную делянку. “Хорошо, — не сдавался домашний следователь и, ни к кому не обращаясь, произнес убийственную для меня фразу, — мне бы найти того пацана, разбившего окно — оно и так треснуло, я давно собирался его поменять. А пацану я куплю самых вкусных конфет”. Такого поворота событий я не ожидал, моя конфетололюбивая душа смягчилась потерялась и покаялась. “Па, не надо ему конфеты покупать, я разбил” — признался я, не имея сил противостоять мармеладовому соблазну.

И воцарилась глухонемота, утопающая в стыдобе. И в смятении, махнув рукой, мама отправилась на кухню. И я не знал, куда себя деть, огорошенный неожиданным поворотом сюжета весьма странного случая...

Хенде хох

1

Своим пьянством и знанием немецкого языка отец доводил всю нашу семью до крайности. Лежа на скрипучей панцирной кровати, глава семьи засыпал под воздействием винных паров, лепеча на каждого “хенде хох”. “Фашист, бендера, западник”, — вполголоса шептала мама.

Отец родился в западной Украине. Во время оккупации гитлеровской Германией в хату Степана Сендера зашли немцы, отбирая на принудительные работы молодых парней и девушек. “Хенде хох” — весело пошутил гитлеровец, осмотрелся и указал на Никифора. Юноша простился с братьями-сестрами, поцеловался с матерью, обнялся с отцом, и парня повели на сборный пункт.

Через полтора года он сбежал из концлагеря, добрался домой. Весил он сорок килограммов. Мать сына выходила, спрятала в лесу у тетки Евдохи. Когда пришли наши, от них скрыли информацию о концлагере, помня о неизменной “десятке”, которую клеили всем, побывавшим в концлагере. Мать плакала, мол, тифом переболел, слабый, едва выжил.

Всю оставшуюся жизнь Никифор Степанович жил под жесточайшим игом страха. Сегодня, глядя на каждое его фото, я вижу тревогу в родительских глазах. Лишь в нетрезвом виде отец расслаблялся, без умолку болтал на немецком, доставая домочадцев словосочетанием “хенде хох”, получая от мамы неизменное “фашист, бендера, западник...”.

2

Когда я подрос, отец повез меня на Волынщину, “к своим западникам”, — исподтишка уколола его мама. В первый же день среди несжатых нив и лиственных лесов после душевного Донбасса я всю ночь бредил,пил капли валерианки. Отец пристраивал меня у многочисленной родни, сам исчезал на

сутки. В памяти осталась ночевка с клопами у тетки Евдохи и многое другое.

Ежедневно я получал от отца откупные на сто граммов мармелада, шлялся с ровесниками у клуба, переживая вчерашнюю гибель девочки-ровесницы, которую на наших глазах выносила мать из покойницкой местной больницы.

Чуть дальше, за клубом, в пристройке с распахнутой дверью, хранился реквизит местного театра художественной самодеятельности. Перебирая предметы бутафории, я нашел фашистскую каску, напялил ее на голову, накинул на плечо настоящий немецкий автомат и с диким восторгом выкатился на улицу навстречу идущей старушке.

— Хенде хох, — пропищало из-под каски едва заметное существо. Незнакомый мужчина, появившийся, вероятно, с небес, так отодрал меня за ухо, что я тотчас же подписал безоговорочную капитуляцию и написал в шортики...

В погреб

Мы с отцом работаем в ошлакованной яме — для будущего погреба — вбиваем в отметины сорокамиллиметровые уголки для полок. Я мечтаю об одном — поскорее бы все завершилось. В отчаянии я размахиваюсь кувалдой что есть силы, но слесарный инструмент неловко ускользает в сторону. Из пораненного пальца брызгает кровь, кожа на нем взбухает, синеет. У меня болевой шок.

Отец в растерянности. Он предлагает мне побрызгать ссадину мочой. Я отрицательно качаю головой, я стесняюсь отца — в нашем доме не развиты эмоциональные связи, доверительные отношения и откровенность. У нас в доме не говорят о чувствах. Отец, ни слова ни говоря, совершает малую физиологическую потребность мне на палец. Я смотрю на изуродованный перст, обоняю инородный отвратительный запах. Меня едва не выташнивает. “Иди отсюда”, — недовольно, скорее всего от досады произносит мой родитель. Теперь ему придется звать на помощь не очень-то желанного соседа. С дядей Володей отец в ссоре после одного случая.

Лет двадцать назад, когда у старшей сестры не сложилась первая семья, она, никого не упреждая, возвратилась в отчий дом с ворохом вещей. Бедняга очень боялась главы семейства,

так как вышла замуж, как сказали бы в старину, без родительского благословения. К большому нашему удивлению, отец выбежал на улицу, браня агрессивного зятя: “Не хватало еще, чтобы мою дочь била какая-то падла...”. Невдали на перекрестке маячил тот самый Глазко. “Что уже нажилась”, — сострил он. “Не твое дело”, — резанул его отец и послал к разгуляющей матери так, что с деревьев посыпались незрелые груши.

Их помирила вечность. Они давно погребены на одном кладбище...

Обида

Началось с того, что на импровизированном семейном совете мать и отец неожиданно решили начать строительство проходной комнаты для объединения нашего пятикомнатного дома и кухни. Сказано — сделано! Отец, скорый на руку, привез песок, цемент, доски, кирпич и, не откладывая дела в долгий ящик, принялся мастерить щиты для заливки фундамента. Он набросился на земляные работы, советовался с матерью, чертил на земле будущее детище, в меру нагружая меня, вечно снующего у него под ногами, вечно попадающего на глаза строгому главному строителю.

Маленькая (отец был невысоким), сбитая, необыкновенно живая и подвижная мама буквально цербером маячила между сыном и мужем, ограждая хрупкого мальчика от пролетарских привычек грубоватого главы семейства. “Пусть мальчик отдохнет...” — вмешивалась мама в планы капитана, и наш семейный корабль крепко штормило от папиных эмоциональных всплесков и назидательных волн. И наш капитан оставался без юнги, без мальчика на побегушках, без возможности воспитать ученика. Но возражать супружнице Вере Никитичне считалось очень дорогим удовольствием, имея за спиной похотливые предрешения, и не было им числа.

Недавно мать вычитывала отцу за местное донжуанство, потом делилась с соседкой, повествуя о том, как ее дражайший супруг (“кобель старый” прозвучало самым невинным определением) ходил на свидание, кепочку новую надел, рубашку выходную из шифаньера достал, туфли полдня щеткой ваксил. Мать его выследила и взяла, как говорится, тепленьким и с поличным, неожиданно возникнув у него за спиной, окликнув

его, ожидающего под сенью дерева с букетом цветов, за версту пахнущего одеколоном. Папка, конечно, смутился несмотря на военную и концлагерную, и шахтерскую закалку. Папка (как я его понимаю) с тех пор стал другим, и мне близка причина его внутренней перемены. Есть ли более глупая ситуация, чем встреча с женой во время свидания с любовницей?

Позднее мать узнала о длительном романе отца с женщиной, живущей по соседству (с гундосой). Отец надолго попал в немилость, отчего родителево пестование, вынянчивание меня как образцового сына, как ровнятеля ненавистных гвоздей, в особенности, принимало удобные для меня формы, даже благой вести, превращаясь в нечаянную радость бездействия и вялотекущей маяты. Впрочем, на вверенном мне объекте я с удовольствием надзирал за строительным процессом, двигающимся под руководством маман. Меня устраивало кроткое и покорное краткословие отца и его бессловесность в присутствии жены, что давало мне существенное преимущество — быть неприкасаемым при полной немоте отца.

Я гладил красно-рыжий шифер, подолгу держал в горстях гранулированный шлак, предпочитая самовыявление предмета, не чуя рассудочной активности, скорее ощущая ее угасание. Я устремлял свой взор к горнему, еще не ведая о том. Я жил телом без лика и образа, не пребывая в пространстве, незрим и неосязаем. Отец, бесконечно далекий от поэзии, видя занятость матери, все же нарушил табу (поэтам нельзя работать) и привлек меня к подсобным действиям по установке дверного проема. Он выставил коробку, порекомендовал ее мне, громадную и незакрепленную, присел перекуривать. Мать, идя из огорода, издали запричитала: “Не трогай ребенка...”. Я раздвоился, готовый податься к защитной стене, я живущий в ирреальности, запомнил о своем задании. Коробка медленно подалась вперед, ведя за собой мою невесомую плоть. Мои робкие попытки встрепенуться и остановить кончину мира не увенчались успехом. Прямоугольник, крепко сбитый из тридцатки, угловой частью врезался в расслабленную ногу курящего плотника. В полном отчаянии я подбежал к взвывшему отцу, который среагировал по взрослому, полуударив, полутолкнув меня в сердцах на бетонный фундамент. На глазах у матери произошла трагедия, не предвещающая отцу ничего хорошего. Я жутко

разбил голову, только через много лет поняв — отец садист и шизофреник. Мать обзывала мужа всякими оскорбительными. Я же глотал горькую обиду, понимая, что не смогу простить отца очень и очень долго...

Скиталец

Между тем, после экзекуции, проведенной отцом над моим мятущимся образом, иссеченный сломанной веткой сливы, опозоренный в глазах любимой старшей сестры, униженный грубой физической силой, доведенный до отчаянья, я бессознательно взбунтовался и ушел из дому. Я намеренно опускаю пленительные особенности подсознания, вытворяющие с человеком истинные чудеса, что, в сущности, всего лишь второй разум, неустанно и безостановочно, во сне и в нетрезвости, словно автомобильный тахограф, выдающий точное и правильное решение, ведя человека на автопилоте. Я и сейчас с великим трудом могу представить вселенское отчаянье, овладевшее мной после избияния, если я, глупый пятилеток и беспечный самнамбула решился на подобную крайность.

Я продвигался в неизвестную сторону, не имея ни прошлого, ни будущего, топя по окраине колхозного сада получать получку. Так я ответил соседской девушке, спросившей у меня о цели моего шествия. Деревья трепетали, листья струились. Меня возвратили исстрадавшейся маме, я что-то рассказывал ей слабым дремотным лепетом. Я не испытывал никаких чувств, никаких эмоций, ничего, кроме смутного желания лечь и уснуть, обессиленный неосознанным потрясением, изуродованный подсознательным страхом.

Вскоре последовали важные события в моей жизни. Дело в том, что произошло осознание всего происходящего, понимание опасности, исходящей от грубого отца, страшящего сына, ученика младших классов геенной огненной за неудовлетворительные отметки. Другой опыт прозорливости уже укрывал меня защитным покрывалом. И когда слух о моей слабой успеваемости начал тревожить душевный покой редко трезвого отца, я, не ожидая ничего хорошо, используя некогда обретенный опыт бродяжничества, вполне сознательно сбежал в предвесенний день, склоняющийся к вечеру.

Грустный ли, тяжелый ли образ мыслей двигал тогда мной, я уже не могу сказать точно, но одно я помню очень хорошо: мое чувство решительности что-то предпринять явно преобладало над чувством отчаянья. Да и возрасточком я вышел постарше, и осторожничал вполне по взрослому, поворачивая в сторону уходящего солнца подальше от дома, от его далеко видной головастой трубы.

Но еще ярче засияли белые дымы с наступлением вечера, еще острее давало о себе знать чувство безысходности. Хвостатые разноцветные струи возбуждали чувство саможалости, желание возвратиться домой, претерпев любое наказание. Блаженное подсознание не соглашалось, и сознание оказывалось бессильным. К тому же маленькие окошечки, блестявшие вечерними огнями, напоминали об отчем уюте и тут же блекли при мысли об отце, от мысли, что же ждет меня в будущем.

Я стер зарисовки в воображении и решительно зашагал к одним из гостеприимно раскрытых ворот, к хозяйке, спящей с веником. Опустив голову, я повествовал ей историю своего бытия, трагически завершившегося в Днепропетровске смертью родителей. Рассматривая тщательно выметенное подворье, не поднимая глаз, я рисовал изломы своего печального существования, мягко напрашиваясь на ночлег.

Сердобольная теть (дай Бог ей здоровья и многие лета) вняла и прониклась моей участью, накормила, спать уложила. Присев на краешек постели, она допозна дослушивала байку о моем нечеловеческом перемещении на товарняке в такие-то прохладные ночи.

Утром, простившись с хозяйкой, я отправился искать свою родную “тетку”. На трамвае я укатил в центр города, где, блуждая, столкнулся с ищущим меня отцом. Я не успел испугаться, даже не думая о том, чтобы увильнуть в соблазнительную подворотню. Отец купил две котлеты в тесте, которые не лезли мне в горло от избытка личностной горечи.

Позднее я узнал, информацию о моем исчезновении готовились передать по телевидению. Отец обил все пороги средств массовой информации, ища сына-скитальца...

«Сладкие» папиросы

Глядя на отца, стучащего стаканом с самогоном о стакан дяди Саши, я отметил: мне хочется попробовать мутную жидкость. Я крутился рядом, мешал их скучному разговору. Мужики то и дело удалялись на перекур. Я исподволь допивал капли, волнуясь, как от приключения. К вечеру мужи подобрили, занялись просветительством. Подвижники зеленого змия набулькали мне граммов тридцать влаги. — “Пей”, — сказал отец, и я глотнул со всеми вытекающими для пацана реакциями.

“Ты думаешь, мы здесь мед пьем”, — развеселились мужики, тем запомнились. Вскоре после крещения алкоголем Вова Козел предложил мне выпить брагу. В памяти остался подвал и рука друга с очередной кружкой коричневой чумы, раз за разом появляющаяся из бездны. Утром я проснулся не на своей постели. Как выяснилось, я изрыгнул выпитое на ковровую дорожку. Отец поддел: “Голова не болит?”

С тех пор алкоголь меня не привлекал, а внутри появился новый — никоновый зуд. Наблюдая за курящим отцом, я сделал вывод, дым имеет сладкий вкус. Я начал угождать отцу, то воды подам, то отличную отметку покажу в дневнике. Но родитель ни на минуту не оставлял без присмотра курительное зелье. А пока дымил, бело-синее искушение сушилось на углу плиты. Остальные пачки томились в сквозной нише над печкой. Я вспомнил о батином табачном запасе, и у меня в голове родился план. Главное, чтобы отец ушел сегодня на свой лесной склад. Главное, чтобы мать поскорее завершила стирку-уборку и отправилась бы на огород. С грядок она точно не сойдет до темноты.

Я обошел дом раз двадцать, несколько раз подразнил соседскую собаку, потарахтел палкой по забору, сломал крупную ветку вишни, пока мама наконец-то не появилась на крыльце с тазиком свежестиранного белья. Уж я-то знал — теперь она надолго застрянет во дворе.

На всякий случай я прошарил пустую полку, побродил по дому, примерялся к высоченной под потолок — нише и трудно взобрался на боковину железной панцирной кровати. Моя макушка маячила вровень с углублением. На краю рассыпью валялись — дышали за ветные коробочки “Прибоя”. Я достал папироску, сунул ее в рот, полез за спичками, стоя над пропа-

стью между жизнью и смертью. И тут в окно постучали. Дитяти неразумное, я обернулся с папиросиной в зубах и хорошо рассмотрел в темноте за стеклом лицо мамы. Чувство ужаса отныне стало мне известным. Через минуту я молил мать ничего не говорить отцу, призывая силы небесные и земные.

Поздно вечером папка пыхтел у печки, мамка выясняла с ним отношения, Я же, послушный и смиренный, ловил каждое слово матери, равнодушно вдыхал горестную сладость вероломных папирос...

Бревна, доски и бруски

Мне шел десятый год. Мне страсть как хотелось куда-нибудь направить досексуальную энергию. Жажда хоть как-то самоутвердиться призывала меня к действию, осмыслению самого себя в историческом контексте собственного становления и развития. Я подражал папе. Он проводил время подальше от нелюбимой жены. После потери правой руки в шахте, после реабилитации ему не сиделось дома. Лесной склад, безхозный и огромный, приютил его. Отец классически спивался с бригадой шахтных плотников, добросовестно выполняя роль гонца. Заодно день коротал, стройматериалы в хозяйство приносил.

Покатилось яблоко недалеко от яблони. Школа, уроки, пустота. Я сказал себе: “Надо что-то делать...” И тем, что сказал, привел себя в движение. Человек двадцатого столетия, гражданин СССР. Тем более, что воровать в государстве в пору социализма не считалось зазорным. Так подумал я, ища себя в круге воровского безграничья.

Листьев львиный листопад я тащил. Ливней лиры голубые я нес. То бревнышко метровое, то вдвое больше, то несколько кругляшей кряду. По прямому пути, по неудобному шпалоинтервалу. Слева из окон соседи смотрели, справа насквозь знакомцы пронзали взорами любопытными. Никто замечание не делал. Я смиренно влачил свой добровольный крест.

“Несунство” у меня выходило замечательно в смысле преодоления пространства и времени. Странно, не возникало никаких помех. Иногда, двигаясь с грузом я встречал друга Славика. Мне казалось, он смотрел на мои потуги с издевкой. Не то, что Сашка Захаров! Завидев меня, сгибающегося под тяжестью трех досок, он кричал: “Привет трудящимся!” В

его тоне чувствовалась искренность. Славик, как и его батя (царство небесное), всегда склонялся к иронии. Помню, на моих глазах отец Славика допекал некорректными шутками ревнивого соседа — деда Шкаева. Витек Шкаев тогда жестко отрезал дядьку. Я думал, драка случится. И Славка такой же. И я из того же теста. Потому-то и дружба у меня с ним тягостна. Потому не получалось у нас долго, трепеща единогласно, коллективно вереща, идти в ногу.

Над Сашкой Захаровым в раннем школьном возрасте мы изголялись сообща. Мы отпирали калитку, пес выскальзывал, лая на нас, а пружина захлопывала мышеловку. Пес на улице, мать на работе, Сашка в доме. Мы хозяйничали в винограднике, Сашка от бессилия ругался за двойными стеклами. Отец Сашки умер рано (от алкоголизма). Мы его боялись, мрачного (когда трезвый). Отец Славика бросил семью в зрелом возрасте, но умирать возвратился в очаг после смерти первой и второй жены. Славик жил далеко, женившись на кореянке. Вся тяжесть перемен легла на плечи его сестры Натальи. Славик, находясь на побывке, плакался: “Женился на красавице, а сейчас такая страшная...»

Мы с Сашкой говорили по душам, прячась под абрикосой от палящего солнца. Мы терпеливо выслушали нескончаемый монолог его мамы. Мы рассуждали о том, что не стоило разводиться в женами. Мы смотрели на старую колею, где я волочил бруски, упдающие в курослеп. Я вспоминал, как вдруг решил полукриком сказать отцу: “Больше на лесной склад не пойду”. Сидя на домашнем складике с одеревенелыми руками, я выводил музыку своей судьбы. Нашлись силы, хватило ума и сердца сохранить человеческое лицо. Отец исподтишка менял на водку мои бревна, доски и бруски. Низко наклонив лоб, я тербил пальцами гнетущую тишину...

Привидение

Вову Козела считаю одним из ярчайших личностей, другом, посланным небом. Согласно неписанным традициям, он, как выдающаяся личность, отправился в вечность — ныне, присно и во веки веков сиять беспокойным звездным образом.

Володя, как и я, рос под жестким контролем отцова страха, жестокости, агрессии, под прессом непомерных родитель-

ских требований, проверок дневников, жестоких наказаний в замкнутом пространстве. Грозный и тучный дядя Ваня сек моего друга, преградив путь к отступлению, тучей надвигаясь с проема двери крохотной бани. Я слышал стенания единомышленника и ничем не мог помочь. Разве что сравнивал безысходность его ситуации с умеренными экзекуциями моего папы, отчего на душе становилось легче. Но легкость душевная улетучивалась, когда на горизонте возникал друг. Мы оба с одинаковым чувством неловкости и вины молча брели на поляну. Эмоциональная связь между отроческими душами крепла общими страданиями, доверительностью, заботой и чувством исключительности, основными составляющими любых дружеских отношений. Мы приятельствовали ярко, самозабвенно, как случается только в отрочестве.

В мой день рождения Вова вручил мне удивительный подарок — футбольный мяч. Мы празднично обедали, наслаждались ароматными котлетами, разными салатами, предвкушали торт. Отец купил нам бутылку вина на семерых, каждому досталось по рюмке.

Мы гуртом вывалились в проулок, немного пофутболили, взяли велики, отправились производить впечатление на мою сестру Валу и на ее подругу Наташку Глазко. Окружающий мир виделся более старшему другу по иному, нежели мне. Разница в несколько лет в юном возрасте заметна неворуженным глазом. Именно поэтому Володя не терялся в присутствии первых красавиц поселка, запросто с ними беседовал, легко прикасался, уместно и смешно шутил. Я же маячил поодаль, переминался от глубинных страстей, надувался, словно мыльный пузырь, от собственной значимости.

К вечеру мои родители отправились в какие-то гости. Сестра и Наташкой заперлись в доме, игриво секретничали, строили в окно мины, корчили рожи хохоча из-за штор. Мы же, аки волки голодные, рыскали от окна к окну, скреблись от возмущения, подглядывая за дамами, барствующими в чувстве защищенности. От бессилия мы потерялись, сочли день завершенным, решили разбежаться. Вдруг я предложил проверить форточки в нашем многокомнатном доме. Конечно же, наша настойчивость и целеустремленность дали плоды. Конечно же, одна из форточек в дальней спальне не держалась на защелке.

Сейчас, глядя на крохотное пространство, не перестаю удивляться, как мы смогли просочиться, будучи далеко не мелкими и не маленькими. В спальне мы начали думать думати, мстительно фантазируя. Глупое детское воображение усадило меня на крепкую шею друга, сверху мы набросили простынку...

Топ-топ-топ, услышали, опешив, девушки, едва не сойдя с ума, чуть было не получив сердечный приступ и пожизненное заикание в лучшем случае. Скри-и-п, истерично хохотнула несмазанная дверь, на пороге воздвигнулось привидение. На светлое прозрачное чудище, с ужасом, бледные, как свежестеленные стены, уставились девчонки...

Далекий взрыв

После взрыва на военном заводе по поселку ползали слухи. Говорили о шпионах, сказывали, там бесхозно валяются снаряды со взрывчаткой. Мы, мальчишки, рожденные в 50-е годы прошлого столетия, воспитанные в традициях военного патриотизма, с волнением впитывали смутные вести. Мы собирались за домом культуры, пристально всматривались в степную даль. Где-то за ковылями пряными, за полянками горькими, за чертополохами колючими, за балками пологими, за оврагами, полными акаций, таился наш далекий “друг”. Новости проносились сороками, в молве вспыхивали сплетни, немислимые рассказы, досужие вымыслы.

Валерка Лакомый, призвав меня в свидетели, клеил на рельсы аммонит (так называл он клейкую массу). Из-под колес поезда сыпались частые выстрелы. Машинист грозил нам кулаком, исторгая неслышную словесную шелуху. Мы убегали бурьянами, переходящими в подсолнухи, за снегозаградительные щиты. Там Валерка, примостившись у забора, вооруженный до зубов, набивал серой самопал, пока нас не прогонял строгий дядя Женя.

Вскоре военный завод “огрызнулся” у Горбузов — так называли на поселке безмужнюю полную тетку и двух ее сыновей. Старший, впоследствии проведший жизнь по тюрьмам, начал греть толовую шашку в печи. В результате остался без пальцев правой руки, а младший лишился глаза. А пока мы уличной гурьбой, за выемкой у бугра, забивали дырчатые банки в ямки,

наполненные разбавленным водой карбидом. Сверху бросали горящую бумажку, и банка, бухая, взлетала ввысь, словно из катапульти, разбрасывая кусочки глины, рождая военные ощущения.

Валерка ежедневно постреливал из самопала. Случай с Гарбузами забывался. Я мечтал иметь что-нибудь солдатское. Пришлось ограничиться пугачом, полученным от старьевщика взамен на грязный хлам, лежащий за домом. Отец последовательно прострелил все пробки, вытащил острый боек, сунул оружие мне за пояс: “Держи, солдат...” Я двинулся к дому культуры на стадион, придерживая падающую вниз пушку, ощущая военную силу.

Стоял теплый вечер октября. Вокруг поля сновали подростки, ребята постарше в углу сгрудились у костра. Кое-кто бросал мяч в баскетбольное кольцо. Малыши повизгивали, но в общем преобладала тишина. Взрыв прогремел неожиданно. Раздались крики “помогите”. Как выяснилось потом, местные хлопцы положили в костер авиаснаряд. Всех покалечило в разной степени. По иронии судьбы, погиб восьмиклассник, он просто сидел на скамье и дышал свежим воздухом.

Мы хоронили товарища всей воьмилетней школой №94 Кировского района города Донецка. В числе прочих, идя за гробом, едва ли я думал о неисповедимости путей Господних. Едва ли осознавал, что, не задержись я на шахте у крана с газировкой, то непременно оказался бы у огня, в эпицентре тех далеких трагических событий...

Красные уши

Когда принесли спиртное, я совсем забыл про больные отмороженные уши. Вино пили на лесном складе, ребята глотнули по одному разу, я же, закомплексованный, буль-буль- буль — выпил почти полбутылки и охмелел-осмелел, разглаголился-разбахвалился, посулив такое вытворить...

По снегам, по морозам мы набрали на окраинный магазинчик “Спорттовары”. Я, ведомый эмоциями, находясь под анестезией, движимый ядерной энергией винных паров, задыхаясь от приступа собственной значимости, желая произвести впечатление, стремящийся удовлетворить инстинкт престижа, ничего не придумал лучше, чем выхватить из-за прилавка пару

спортивной обуви и броситься наутек. Бежал я быстро, петлял я ловко, но, несущийся за мной парень, скоро настиг меня, цепко схватил меня за большие уши, так и привел в подсобку к ожидавшему меня милиционеру. Местный участковый посмотрел мне в глаза суровым взором Дзержинского, сказал кратко: — Да он пьян... — и, держа меня за ухо, повел меня в опорный пункт.

Представитель власти долго и больно трепал меня за уши. Он сразу же сломал мою психику и всякое желание врать. Мои уши опухли и, казалось, увеличились до размеров моей головы. Но старший лейтенант, подозревая подвох, снова и снова повторял экзекуцию. Я сдал всех, кто пил со мной, я продал Бога и самого себя, и меня отпустили. Хитро, заматавая следы, я вскочил в автобус, заехал за тридевять земель, затем перебрался в трамвай, возвратился в родные места с неожиданной стороны.

Насмотревшись фильмов о подпольщиках и пограничниках, я остерегался “хвоста”, продираясь сквозь высокие снега. У дома я перевел дух, расслабленно выдохнул, толкнул плечом входную дверь. Пряча глаза, я намерился прошмыгнуть в глубь комнат, но подняв голову, оторопел. За столом напротив краснощекого отца сидел наш участковый, оба уставились на меня. Мой батя, скорый на расправу, шагнул ко мне. Мне запомнилась его рука, пронзительно летящая к моему напряженному уху. Я снова и снова давал показания, почему-то вспоминая краснодонцев из книги А.Фадеева “Молодая гвардия”, вынесших, по словам автора, нечеловеческие пытки...

Восьмилетка 94

Поговаривали, во время войны с гитлеровской Германией фашисты держали здесь лошадей — в этих длинных, баракообразных, вовсе не школьного вида помещениях. Ради человека, произнесшего такое, укажу, подтвердив: корпуса, расбросанные неподалеку от останков старого террикона, в самом деле напоминали что угодно, только не школу. Неспроста люди называли их бараками. Мнение народа, как известно, не редактируется. Разве что заблудший традиционно глас об алкоголизме. Это я так, к слову...

Одноэтажки занимали довольно большое пространство неподалеку от дома культуры и почты — центральных учреждений околоселидовской пришахтной территории. Почта привлекала нас, едва оперившихся третьеклашек, особенно. В длинные перемены мы бежали на площадь возле клуба, заполняли отделение связи (дикари дикарями), нахватывали бланков (лишь бы что-нибудь взять), стремглав, неслись обратно на уроки.

Первую учительницу я глубинно (подсознательно) не любил. Классная руководительница напоминала мамину подругу тетю Полину, властную, агрессивную женщину, оставляющую в моей душе страх обычной самодостаточностью. Анна Тимофеевна точно так пугающе близко приближалась, подавляя, оставляя одну лишь неприязнь. Чаще и чаще училка видела меня опаздывающим к началу урока. Все корявей, небрежней читались написанные мною строки в тетрадках. Она прожигала меня взглядом.

Вчера на середину занятий буквально ворвалась мать мальчика из параллельного класса. Женщина обозвала меня хулиганом и бандитом, просила принять меры за то, что я сорвал шапку с головы ее толстого сына-придурка с жирной рожой и забросил головной убор высоко на балкон третьего этажа соседнего дома. Конечно, вызывали завхоза, искали лестницу, просили восьмиклассников забраться на вышину...

А на прошлой неделе меня вырвало прямо на уроке арифметики, перевернуло желудок от виноградной перегрузки (зрелые кисти держались в нашем винограднике чуть ли не до рождества). Листьев нет, а грозди красуются, удивляют, не падают на отчий двор. Урок, разумеется, не получился, учительница разозлилась. Пока уборщицу нашли, пока она убирала, шурша тряпками, звеня ведром. Меня усадили возле батареи — греть печень, а через минуту прозвенел звонок, привнося в душу чувство облегчения, хороня в подсознание ощущение неловкости и вины. С тех пор я избегал прямого взгляда преподавательницы.

Совсем скоро грянула новогодняя елка! Мы ждали, гадали, кто же исполнит роль деда Мороза. Я вместе со всеми хороводил в старом коричневом вельветовом костюме, в маске медведя. Мы нестройно пели вечный детский новогодний хит “В лесу родилась елочка”. А накануне много раз тренировались для

какой-то страшной мифической комиссии. “Двумя ручками, ладошка к ладошке, словно топориком, сверху вниз наискось — р-раз! — под слова “Срубили нашу елочку...”

Стол, застеленный длинной скатертью, доверху заваленный новогодними подарками, волшеббно влетел, неуклюже повернулся, едва не опрокинув часть блестящих гостинцев, замер у красавицы елки. Если бы стол сделали повыше, а скатерть нашли бы подлиннее, мы не увидели бы под столешницей приземистого мускулистого восьмиклассника. А по кругу шептали: “Дед мороз Анна Тимофеевна...”. Я носился среди ребятни и не сводил глаз с бородатого дедоморозовского лица и медленно узнавал классную руководительницу.

Уходя в другую школу

Такая спасительная мысль еще только витала над родимыми терриконами, оседая в степях Донбасса вместе с угольной пылью, жарой, детскими помыслами. Еще только первый пушок противился у иных пятиклассников. Еще только первые мысли начинали шевелиться в наших светлых головах, наполненных босяцко-бандитской пошлостью, похотливым мышлением возрастающих чад социалистического месива, уродства, тюремной лирики, идеологического насилия, экологического издевательства.

Еще бы, только пятый класс, а мы всю «лапали» девчонок. Моя Лариса Городничая никак не отвечала на беспардонные прикасания к зачинающейся груди. Васька Булах (царствие ему небесное) запросто подходил к Лариске и запускал руку под ее школьное платье. Полнеющая девушка бровью не вела. «Видишь, — успокаивался Васька, — совсем не реагирует».

В завершение карнавала брыкастая и непослушная Зойка Ярмоленко (к ней никто не приставал) накатала анонимку новой классной руководительнице старших (пятых классов) Валентине Михайловне. Пребывая между деяньем и тем, что она им называла, Ярмоленко с огромной любовью сдала всех нас с потрохами. Она взяла и подробно, и прямо, без обиняков перечислила (весьма натурально) наши странные подростковые чудачества. Не называя того, что мы исполнили, мы сидели в классе (тише мышей) на мальчишнике, слушали беседу о нравственности, не глядя в сторону Валентины Михайловны.

Из ее уст, легкие как птицы, как душа, вылетали замечательные сентенции из произведений великих писателей. Афоризмы, пуше слов обличительных, прибывали нас, распоясавшихся донельзя (откуда только источник пробивался?). Не останови нас во время рука небесная, верно, в шестом классе наши девчонки рожали бы деток.

Вася Булах считался заводилой. Я метался на подхвате как исполнитель его замыслов. На том злополучном собрании — позоре — Валентина Михайловна не сводила с меня своих вездесущих глаз. И гвоздила, и совестила, и честила нас обнаженной правдой факта. Прежде чем уйти в чистейшее деянье, Вася Булах свел все дела в свой последний реестр, упорхнул в запредельность (умер от аппендицита). Он, как говорится, успел перецеловать все вещи мироздания раньше времени в лице наших девушек. И лишь тогда отбыл в несказанный глагол «я умер».

Дело еще вот в чем, Валентина Михайловна помнила недавний разбор моих милицейских протоколов. Меня поставили пред ясные очи педсовета (суки). Завуч утомил, поясняя правильное написание фамилии моего подельника Конева. «Я вам говорю, Конев пишется без мягкого знака, потому что есть маршал Сосетского Союза...». Грамматическая заминка немного отгородила от проблемы, дала возможность передохнуть. Валентина Михайловна, незаметно примостясь в сторонке, в прениях не участвовала, но глаз от моей физиономии не отводила. Я это чувствовал и не поднимал веки, прожигая взглядом концы своих грязных ботинок. По нашим грязям даже в сапогах непросто пройти до цивилизованного асфальга.

На педсовете решали, что со мной делать. Спрашивали, как я думаю жить дальше? Рассуждали о моей совести, об опозоренной чести школы (точно я изнасиловал целое учебное заведение).

Моя ненужность в восьмилетней школе №94 навела меня на мысль, которая тут же озвучилась, начала материализовываться. Я сказал, что живу на перепутье, что мне все равно очень далеко сюда ходить на занятия. Я добавил, что в средней школе №79 учится моя сестра, все мои друзья. Я думаю, что исправлюсь, перейдя туда. Валентина Михайловна от счастья даже улыбнулась, хотя глаза у нее все равно милиционерские...

Отслужив в армии, я встретил Городничую. Ей, единственной дочери очень богатой шахтерской семьи, предложил выйти замуж парень из одного далекого городка. Она пыталась ухватиться за меня, но Лариса мне не приглянулась...

ДСШ

Зачинался я как бразильский футболист. Только вместо песочных пляжей оведали меня братец одуванчик и сестрица резеда. Я, чистой воды тушканчик, прозвали почему-то тузиком, страдал без футбольного мяча, ожидая хоть какого-нибудь явления. И вот из-за бугра возникал Витя Пьянов (царство небесное), и вот из-за путей тащился Славик Кривуля – травы ниц – мы заводим карусель, и пыль стояла столбом. И вроде бы все пропето у диких футболистиков. Вроде бы юрче стрекоз ломких обводим друг друга – завидная мышечная координация – мяч непрерывно вылетает в выемку. Сколько же тысяч раз я спускался вниз по тонко потрескивающему разнотравью? Сколько раз пугался сварливого шмеля, истратив высокий тенор беспокойства своего ломающегося голоса?

В таких условиях, произрастая, я ежевечерне вымалывал у отца поездку в настоящий футбол – на центральный стадион “Шахтер”. Ах, я свистун-тушканчик, ах плут лидиевский достал-таки отца до самого нутра. Добил-таки старого болельщика команды горняков (не любил мой блаженный родитель вояжи в суетливый город).

В 1966 году (начало реконструкции) стадион столицы Донбасса вмещал двадцать тысяч зрителей. Бессчетное количество зевак и любителей футбола парили – “болели”, располагаясь на склоне окрестного террикона с северо-западной стороны у горючего поля. Боже мой, невиданные впечатления захлестнули мальчика с далекой шахтерской окраины. Папка, не засти божий свет. Не мешай ребенку болеть за команду, проигрывающую одесскому “СКА”. Хорошие времена, нечего сказать. В игре полный развал. Тоже мне, нашли соперника, ну хотя бы “Черноморец”! Позовите моих сверстников, старожилов футбола. Никто и не вспомнит об армейцах из портового города. Мы выйдем против них, даже на один тайм, не убоясь, умрем. Но как должно так и будет. Счет, страшно вспомнить, стыдно озвучить, 1:4 в пользу одеситов.

В ответ на забитый нашими гол престижа я, разрываемый эмоциями, засвистел. Я дул в пальцы так, что игроки двух команд на миг остановились, приняв мой посвист за реакцию судьи на игровой момент. Прильнув земли ко груди, я жил мгновением, я заиграл двенадцатым игроком в черно-оранжевой комбинированной форме. И одеситы дрогнули. Но, к счастью для них, прозвучала финальная трель арбитра. Отец торопился скорее покинуть утомительное многолюдье. Я впервые что-то почувствовал, и благодать коснулась меня своим светлым, прозрачным крылом, отворив врата пути, тронув духовное зрение и предопределив судьбу.

Отец, страстный поклонник горняцкой команды, представлял отряд болельщиков, знакомых с футболом по уличным перепалкам и по телевизионным передачам. Отец никогда не играл в футбол по настоящему и, конечно, ничего не понимал. Впрочем, я ему не судья.

Боль моего бессловья зазвучала словами. “Хочу в футболисты!”. Так и произнес. И говорил, и просил, и молил как мог. И верил так, что останавливалось колесо на копре и включалась аварийная сигнализация на шахте, и задыхался от хрипоты зазывной гудок.

И молчали ротозеи, видя, что-то происходит на краю сознания. Как-то беспокойно вздыбились волосинки у меня за ушами. Затевалось великое дело во имя спасения меня для иного пути. Более духовного, чем ожидающее меня многотюремье. Крик плавил небо, а гортань оплавлялась в породу. Кремьень связной речи сек искры из папиного терпения и высек простое человеческое решение.

Я взмыл из кромешной бездны сероводородных испражнений, я прожег высь. Я уже хотел не просто инстинктом, но чувством. Я пробуравил хмельные папины туманы и затих.

Через неделю мы с папкой виляли вокруг стадиона, обходя строительные конструкции.

Мы разыскали гаревое поле у трибунного террикона. Там звучали не пустые разговоры.

Меня принимали в спортивную школу самые именитые тренеры Донбасса...

Средняя семьдесят девятая

Даже не взглянув на школу, без чувства благодарности за разжеванный алфавит начал мироздания, я амбициозно сжал в руке документы, полученные в канцелярии, зло хлопнув дверью, ушел навсегда из ненавистой восьмилетки. Ничего не шевельнулось в душе, ни одно школярское слово признательности не упало с моих горделивых уст. Потопал я по шоссе — в железнодорожно-пахнущую, двухэтажную, кирпичную среднюю школу. Удивительно, но оказавшись среди “августейших” особ школьного директората, я осознал чувство собственного достоинства, превращаясь в личность, исполненную любви. Что-то тревожило душу и бредило сердце, суля новые волнения и переживания.

Новая классная руководительница Любовь Антоновна Чиж в первые четверти обучения не могла нарадоваться на меня, любя и нахваливая и ставя в пример. В общественной жизни — участник, в познании предметов обучения — отличник — дневник пестрел отметками “пять” (высший оценочный балл 60 годов двадцатого века). КВН организовал, вопросами соперника поставил в тупик. А по спорту — душа школьных физруков и переменных футбольных баталий. Теперь же, оглядываясь назад, становится понятно, как трудно нормально учиться, сидя на уроке, ожидая очередного перерыва между уроками и мчаться доигрывать незавершенный отрезок предыдущей паузы. Я томился на уроках избытком энергии, поминутно выпрашивая единственного владельца настоящих часов, сколько же минут осталось до окончания бесконечного проклятого урока. На физкультуре мои вселенские притязания огорчал Сашка Такмаков, посещавший секцию гимнастики. В маленьком спортивном зале его гимнастические достоинства смотрелись лучше моих скрытых футбольных талантов.

Одновременно с футбольным развитием охладевал ученический пыл, унималось рвение к наукам. Я лишь успел, любя предмет, выучить наизусть учебник немецкого языка за пятый класс. Иностранному языку я поклонялся до крайности фанатично. Идя домой, я доставал одноклассника Алика Клешкина (хороший футболист) примитивным говорением бытовых фраз на иноземном наречии. Заветный дневник, изобилующий высшими оценками, принес тренеру, поразив, удивив (остальные

учились — ужас как плохо!) футбольных братьев по спортивной школе. Долго футбольный учитель ставил в пример мою (давно опустившуюся) успеваемость.

Трудности начинались постоянно. Видно, так сложилось исторически, спортсмены, за редким исключением, не достигают значительных успехов в учебе, отдавая всецело любимому виду спорта. Занятия в футбольной школе начинались в восемь утра. Я спешил в другой конец города на переполненном автобусе. К двенадцати часам я возвращался домой, обедал, шел в школу. Учиться не хотелось, кроме усталости не было желаний.

А занятия в школе тянулись своим чередом. Сашка Токмаков любезно предоставлял мне свои тетрадки, добросовестно исписанные домашними заданиями. В моем распоряжении находилась короткая или длинная перемена между уроками. Разумеется, я уже не мельгел с ровесниками на футбольном майдане, измотанный тренировками, дорогой, переходным возрастом. Но строчил с каждым днем все менее понятные рассуждения математической и другой точной мысли. Неуверенность в знаниях закачалась у меня под ногами. Немецкие глаголы выветрились от нагрузок. Волочась домой с Аликом Клешкиным, я деликатно избегал немецкой темы, болтая о пустом. Любовь Антоновна спрашивала: “Толя, что с тобой...”, видя, как вчерашний отличник скатывается, минуя середняков, в отстающие. Еще большую отвагу я проявил в плутовских проделках из-за богатого футбольного воображения, весьма опасного без интеллекта. Надпись на кабинете “Директр Василий Харлампович Райко” зачернела устрашающим несдерживающим уже фактором. Я-то полагал, дело в той восьмилетней ненавистной школе, из-за нее беды зачинились...

В шалаше

Здесь самое время заглянуть в густые заросли бурьянов, лопуха, репейника, издали кажущиеся сплошной и скучной массой. Здесь, на стыке железнодорожной выемки и нехитрого огорода Лакомых, сходились нити поселковых пилигримов, перекрещивались дорожки уличных развлечений. Заросли сорных трав некогда стали началом местного культурного движения шалашей, если можно так выразиться. Местные ребята

повадились возводить зыбкие сооружения из палок, проволоки, бурьянных стержней, лопуховой листвы. Внутрь сносили всячину, собранную на улицах, на задворках домашних хозяйств. Пеструю утварь бросали, стелили, даже прибивали гвоздями к доскам, лишь бы выделиться перед остальными в многоликой детской ораве.

Издали разнотравье смотрелось эдаким морем разливаным. Из него выбрасывались настоящие кошельки, привязанные к ниточке, ускользящие из-под неловких пальцев. Из темно-зеленой тайны вылетали комья земли, почти беззвучно шлепались под ноги прохожим (чаще женщинам), идущим через выемку в сторону магазина или шахты, дальше идти было некуда. Швырять что-либо в мужиков (в основном здесь проживали шахтеры) не решались, опасно сердить человека, живущего на грани жизни и смерти.

Особенный колорит в скуку нашей однообразной местности привносила телефонная линия. Два столба маячили посредине берьянника, накренившись миниатюрными пизанскими башенками. Мы прилагали к сосновым остовам ухо и слышали будоражащий воображение гул, оставляющий повод для размышлений.

Стало быть, шалаш, примыкающий к столбу с подпоркой, считался привилегированным, более надежным, престижным, требующим значительно меньше строительных материалов. Из такого укрытия (как вы уже поняли, принадлежащего мне) хорошо проглядывались дворы, хозяева которых представляли для нас хоть какую-то опасность. Мы избегали попадаться на глаза дяде Коле Лакомому, собственно, мы и не могли опростоволоситься, ведь он находился у нас в поле зрения, даже не подозревая об этом.

Поскольку столб, как и полагается, устанавливался в чуть-чуть возвышенном месте, я царствовал, кум королю, сват министру, как говорила моя мама. Я радовался отсутствию отца, я пьянел от ощущения превосходства над родителем. Я всегда видел его, уходящего в сторону лесного склада, оставаясь невидимым пустынножителем града божьего. Я примечал, соответственно расположению домов, в каком направлении двигались соседи и, особенно, Клименко Наташка. Я как волк-одиночка следил за симпатичной расцветающей девушкой, в

глубине своей плоти томимый похотью, обуреваемый первыми ее позывами.

Наташка шла из магазина, потому что в сетке болталось молоко (хлеб они не покупали, их отец водил автобус). Наташка испугалась, когда я окликнул ее из травяной гущи. Она разглядела меня, остановилась, перестала спешить. Мы стояли у края выемки, два четырнадцатилетних подростка и обменивались информацией ни о чем не зная, как же сказать о том, о чем хочется. Как же начать игру, время которой пришло и заявляет о себе и днем, и ночью. Идеал, конечно, всегда оказывался иллюзорным. То, что я проживал в воображении легко и запросто, в реальности предстояло очевидной, не имеющей решения задачей. А уж о практике говорить и нечего. Мне стоило больших усилий произнести несколько простых слов: “Пойдем, я покажу тебе шалаш...”. В сильном волнении я почувствовал, сколь непроходим бурьянник, сколь трудна миссия, ожидающая меня в моем тайнике. Мы втиснулись в узкое пространство, исполненное тишины и стука наших бешено колотящихся сердец. “В шесть мне нужно быть дома...” — трепетно выдохнула моя первая девушка...

На взгорочке

Бугор образовался на поселке после строительства подземных коммуникаций. Многие увидели в нем добрый знак. Насыпная возвышенность создавала ощущение защищенности. Зимой мы катались с нее на лыжах, санках, летом — на велосипедах. Здесь назначались встречи. Отсюда просматривалась перспектива шахты, а вершина террикона казалась не такой высокой. Здесь было наше место — так считал я и мой друг Славик, и это не обсуждалось. Здесь таилась наша корневая сила, наше чувство причастности, переходящее в чувство приобщения к Родине, Отечеству, Отчизне...

Целыми днями мы струились по склону вверх-вниз, ревниво оберегая место от посягательств тех, кто жил за путями — от братьев Власенко, Пукасов. Когда игра утомляла нас, мы шли ко мне или к Славику и устраивали прятки с обливанием. Я свергал воду с крыши на таящегося в тени крыльца Славика. Мой друг молчал, обижался, уходил домой. Мне подумалось, причина была совсем в другом. Недавно мы возвращались до-

мой с танцев и напоролись на хулиганов. Заводила насел на меня, но я вильнул в сторону, сделал ложное движение и был таков. Славика побили... Назавтра я заглянул к другу. “Что, надавали по соплям, — съязвил его отец, — идите-ка на свой взгорочек”.

Новое название нашего пристанища приглянулось поэтичностью, легло на душу. Мы снова стояли на вершине мира, маялись от безделья, ковыряли пазы чугунного люка. Мы давно пытались заглянуть в его преисподнюю, но безуспешно. Но сейчас мы решились, потому что мой папа в полдень оседал на лесном складе. Потому что родитель Славика собирал колорадских жуков в картошке. Со стороны остановки взрослые не просматривались, а дядя Коля молотил уголь в глубоком угольном забое. Да и Шкаевых, их в поселке называли “кацапы”, мы не боялись.

Солнце стояло прямо над нами, и, Бог свидетель, мы таки оторвали проклятую крышку от прикипевшего к ней обода. Мы подняли рифленый кругляш с одной стороны и взирали в глубину веков, вдыхали мрак и сырость подземелья, слушали живой шопот воды и наслаждались обволакивающей нас прохладой. Небесное светило высветлило углы замшелого таилища. Нелегкая крышка едва держалась в руках. Я посмотрел в глаза Славiku и сипящим шопотом скомандовал: “Бросаем!”. И отпустил гнетущую тяжесть. Славик не успел отнять пальцы. Я заметил падающие наземь, пламенеющие капли, белое лицо друга, то речь в его глазах, прежде чем он бросился бежать домой. Но я улепетывал с места происшествия еще быстрее...

Целые сутки я не выходил из дома, удивляя родителей небывалой доселе усидчивостью. Через день я осторожно подошел к калитке и выглянул на улицу. На бугре маячила фигура моего друга с перебинтованной рукой. Он смотрел на меня. Он казался мне таким же одиноким, как я сам, застыв на нашем незабываемом взгорочке...

Медбрат

Когда кошмар закончился, врач сказал: “Ну, парень, беру тебя к себе медбратом, уж больно ловок ты вены находить”, — и расхохотался, на что я лишь слабо и уныло улыбнулся.

Когда Светка Кониченко, шая в отсутствие учительницы, замахнулась, чтобы ударить меня своей тяжелой ладонью, я среагировал, подобно боксеру, отмахнулся авторучкой и угодил ей пером прямо в руку. Красное пятно поползло по плотно-му рукаву розовой кофточки. Я испугался, Светка убежала из класса. Занятые сверстники ничего не заметили.

Через некоторое время школа напоминала смольный институт в период революционного восстания. Рассказывали, что, когда отвернули рукав кофточки, из руки забил пурпурный фонтан. Похоже, я открыл новое месторождение крови. Через час меня вывели из класса едва ли не под конвоем, разве что не доставало наручников. Через сутки Валя Додина, сидящая впереди и все узревшая каким-то образом своей крепкой спиной, давала показания против меня. Все видела, все слышала, все знала...

К вечеру рука у Светки опухла, в школе поговаривали об ампутации. В мою сторону не смотрели, мол, конченный. В последующие дни на меня второпях составляли отрицательную характеристику, предусматривая даже смертельный исход случая.

Я возвращался домой самой длинной дорогой по весеннему колхозному саду, вдруг, осознав, что я уже не боюсь своего грозного отца. Случилось что-то такое, что вывело меня из рамок детства во взрослость. Мои родные понимали — дело пахнет трудовой колонией, короче говоря, тюрьмой.

Назавтра я плелся в школу так медленно, что даже ползущие за мной первоклашки натыкались на меня. Единственным положительным моментом для меня было пренебрежительное отношение учителей ко мне. Коллектив готовился к грозе, выгораживая себя. Дирекция переставывалась. Я ощутил острое чувство одиночества, безысходности, тоски и несправедливости...

После выходных я, крепко осунувшийся, ко всему безразличный, приволокся в ненавистную мне школу, в нелюбимый мною класс и уселся за проклятую парту. Рядом возник Сашка Заседкевич, единственный, кто мне сочувствовал. Он пнул меня в плечо: “Беги в санчасть, Светку, кажется откололи!”. Думаю, можно не объяснять, как я быстро бежал, как я парил над землей, окрыленный наркотиком надежды.

На пороге медицинского учреждения курил доктор. Он поманил меня пальцем. “Все, парень, Светка вне опасности, я отправил ее домой. Но ты артист! Вот так запросто одним махом угодить в вену... Не у каждого так получится... Когда закончишь школу, поступай в медучилище на медбрата”.

От радости я почувствовал слабость и опустился на серую от табачного пепла лавку...

Баласики

— Пойдем собирать баласики, — зовет меня друг детства старшего возраста Валерка Лакомый. Баласики — это камешки-окатыши небольшого размера, предназначенные для стрельбы из рогатки. Мы плетемся по железнодорожному пути от шахты к центральной магистрали. Поезда здесь появляются редко, двигаются медленно, с надрывом, чиханьем, визгом, скрежетом. На этом участке на вагон взбирается Витя Шкаев, мой учитель гитары, быстро и ловко сбрасывает уголь-крупняк на обочину. На этом месте я получаю крещение — цепляюсь за плывущую мимо лестницу вагона. Могучая сила опасно несет меня над землей.

На этом баловстве один из сверстников сорвался вниз, бедняга получил тяжелое увечье, остался без ноги.

Поэтому Валерка, его младший брат Серега и я с полными карманами баласиков вихляем по междупутью, браним неудобную для шага ширину между шпалами. Наши восклицания разносятся по выемке, поросшей куролепом, осотом, чертополохом. Стальная колея выводит на Весовую станцию прямиком к одиноко стоящему пассажирскому вагону.

Баласики уходят на второй план. Мы быстро взбираемся внутрь вагона, оцениваем поле битвы и, словно одержимые, начинаем крошить все бьющееся, ломающееся, хрупкое, как жизнь.

Рабочие появляются неожиданно. Они в смятении от удивленного, они возмущены до предела. Они ведут нас, испуганных детей, к дежурному железнодорожнику, они рассказывают ему о нашей благоглупости. На нас с удивлением смотрит папа моего друга Федор Лелеко. “Знакомые хлопцы”, — только и произнес в нашу сторону. Нас переписывают, все мы живем на одной улице, отпускают переживать о случившемся.

К вечеру я плетусь домой. Навстречу мне из переулка в одних брюках с ремнем, затянутым поверху и свободно, идет отец. Он, как всегда, бьет меня долго и зло. Мне уже не больно, я взрослый. Несколько раз меня вызывают к следователю по делу о порче вагона, но я с ребятами много раз тренируюсь, что и как отвечать. Словом, обошлось...

После каникул, в первый день учебы в школе меня ведут в учительскую, полную преподавателей, долго стыдят разными словами, вгоняют меня в чувство вины. Меня, вчерашнего отличника, унижают так, будто отлучают от церкви. Режет слух фраза: “Какой несбалансированный ребенок...”

Мне вдруг становится весело, уж очень созвучно странное слово с баласиками...

Мировой рекорд

Толя Науменко, друг и одноклассник, выкалывает букву ниже запястья моей левой руки. Мне нравятся две Елены, Жаткина и Антонова. Я не могу говорить о своих чувствах, поэтому заказываю таинственную букву “Л”. От нестерильной иглы, грязной туши, кисть у основания большого пальца краснеет, кожа саднит...

Не так давно кто-то принес в школу карты с изображением обнаженных женщин, чем весьма разволновал ребят. Я вырезал с фото голову Антоновой, наклеил девичий облик на физиономию разбитной игральной дамы подбросил произведение глупости в парту. Увидев шедевр, Антонова рыдала, точно у нее одновременно умерли все родственники. Я успокаивал школьную подругу, возмущаясь, грозя набить физиономию тому, кто посмел так надругаться над прелестным существом...

— Щас ты у нас настоящий мужик, — басил Толян, колдуя над своим детищем...

А я думал о строгой Жаткиной. Тайну о том, что я ухаживаю за бойкой отличницей из параллельного класса, я хранил так глубоко, что сам не догадывался о ней. Я обратил на себя внимание Елены грубой подножкой во время школьных снежных баталий на перемене. Жаткина тяжело и неуклюже рухнула на оледенелый асфальт подворья...

Вечером я дождался ее после заседания совета дружины, возник рядышком как бы случайно, провел к дому. При рас-

ставании вручил подарок — заячий хвостик — самую дорогую личную вещичку...

Елена замуж не вышла, может быть, она предназначалась мне в жены. У нее симпатичная дочь. Мы видимся с ней один раз в год, пьем чай, дружески предаемся воспоминаниям. От нее я узнал о двадцати четырех тысячах советских рублей, которые, как у многих лежали на книжке у ее родителей в период инфляции. Я пожалел о том, что не женился на Алене, искренне считая “сгоревшие” деньги своими. Мою грубую шутку Елена не помнит, а образ пушка затерялся в прошлом...

Толян завершает художественный образ. Выглядит буква не по-человечески. Меня тревожит тяжелое объяснение с отцом, если тот что-то заметит. Смешно сказать, но только через год мой постоянно нетрезвый Никифор Степанович взглянул на руку. “Это что такое?” — грозно крикнул папа, хотя я не понял, о чем идет речь, так как свыкся с того и давно забыл о ее существовании...

Вечером у Толяна мы смеемся над наивностью моего предка, сплетничаем о делах школьных. Уходя, я традиционно добираюсь до калитки, а друг открывает собачью будку. Пока собака мчитя в мою сторону, я оказываюсь за оградой. Но сегодня мать Толяна заперла калитку на замок. Я не успеваю испугаться вида приближающегося пса. Я не могу объяснить, как, взявшись рукой за высокий забор, я перелетаю через штакетник с легкостью Валерия Брумеля, несомненно установив мировой рекорд того времени. Через мгновение в то место, где секунду назад стоял я, бьется очумелый, ничего не понимающий зверь. Вслед ему вприпрыжку, не менее ошарашенный, подскакивает Толян. Он замирает, оценивает высоту забора и мои возможности. Ничего не понимая, мы нервно смеемся...

Азартная душа

Мне страсть как хотелось хоть один раз выиграть в поселковое развлечение — в лото. Здесь на окраине Донбасса, состоящего из терриконов и прилегающих к нему частных домов, на колыбельной улице Юшкова, на лавке у дома Коневых напротив болгарской семьи (никогда не слышал, чтобы о них говорили иначе чем “болгары”) мы по соседски предавались лотошным страстям.

Я испытывал судьбу, всегда снующую рядом в виде Людки Коневой. Мне бы следовало жениться на стройной, домовитой девушке, но сегодня я думаю по другому. Люда, конечно, хороший человек, добрый, отзывчивый, но два года старшинства в почтенном возрасте ощущаются очень остро. А тогда она носилась между игроками, сидящими на — кто что принес. Тогда ее переросток-брат вечно втягивал меня в курительные и хулиганские случаи, за что отец меня бил, Ленька же рос безотцовщиной.

Огромный Петька, славянский брат болгарского происхождения, крупный, как террикон, наводнял сборище страхом — одним только присутствием. Вечер опускался легкий, теплый и безветренный. Лотошные карты лежали миролюбиво и спокойно, накрывачки не слетали на пыльный чернозем. За маленькие кружочки мы спорили, деля их, едва не дрались. Опоздавшие пользовались личной мелкой разменной монетой.

Я вырос в семье без развития выражать свое мнение, озвучивать гнев, прямо говорить о недовольстве я не умел, посему, сидя на краешке лавки, из-за неразвитой моторики и рассеянного мышления я с трудом воспринимал цифры “кричащего”, медленно ориентировался по карте, ненавидел — особенно Петьку-болгарина — умных, быстро соображающих, вынимающих бочонки из сумки пригоршнями, озвучивающих знаки с пулеметной частотой.

Посему, никогда не выигрывая, в этот летний вечер я не отдыхал, как все, но лишь накапливал недовольство, видя, как с каждой партией тают мои медяки, с таким трудом выуженные в мамином кошельке, в папиных брюках, брошенных в углу.

Петька-болгарин, казалось, помнил наизусть расположение всех цифр на картах. Он двигал свои кружки, словно трюкач, держа в поле зрения всех играющих. Я же едва справлялся с двумя листами, меняя их после каждого тура, снова и снова оставаясь с носом.

И тогда, да простит Бог мой грех, я закрыл монетой лишнюю цифру и заорал “кончил!” Все привычно стряхнули накрывачки, сбросили боченки в мешок. Как полагалось в случае выигрыша, я озвучил занятую линию, назвал номера быстро и скомканно, мучаясь от страха, тревоги и беспокойства, так как вездесущий и глазастый Петька со своей болгарской вы-

соты коршуном следил — смотрел в мой выигрышный лист, вперясь в ряд с пронизательностью ясновидящего. “Так “тринадцать” не вынимали, — недовольно буркнул богатырь, наблюдая за мной, десятилетним лукавцем, но, подумав, согласился, отсчитал гривенник (карта стоила по две копейки), — на, азартная душа”, — одарил лгунишку труднопонимаемым словосочетанием.

До темноты я мучился нежеланием играть, смятением души, чувством вины и прочими стопятидесятью психологическими нюансами переживаний. Никогда в жизни я не ощущал так остро беспомощность души, расстроенность чувств и безысходность...

Свидание

Я знаю о том, что мой друг Славик Кривуля находится у любимой девушки... Я направляюсь в тихий окраинный двор, потому что его сестра Наташка дома одна. Абрикосы специально падают мне под ноги и расплзаются по пыльному чернозему золочеными пятнами. С выемки тянет полынью. На лавчонке маячит девичья фигура в легком платье.

“Привет”, — бросаю в тон скрипящей калитке, голос держу небрежным, развязным, внешний вид равнодушным. Сердце бух-бух-бух — громче тишины. В мыслях: “Вдруг Славик придет, вдруг...”.

По правде говоря, у меня нет опыта общения с противоположным полом. Глядя на друга, ежедневно гуляющего с ровесницами, я завидую ему и мечтаю о том же, но изо всех сил скрываю комплекс и делаю вид, что меня девчонки не интересуют.

Мы замираем на неудобной лавочке, мы сливаемся в одно целое, молчим, слушаем сердцебиение друг друга и сетуем на проклятые непреодолимые миллиметры. Каждый из нас желает одного и того же — отроческого поцелуя. Наташка ждет, а я не в себе, я не ведаю, как подойти к главному, как одолеть несуществующий барьер. “Тебе, наверное, прохладно, — спрашиваю я, — давай я посажу тебя на колени!”, — на одном дыхании выпаливаю слова и втаскиваю не очень-то возражающую Натку на дрожащие ноги, и плыву в неге и волнении. Руки жаждут скользить по облегающему платью, но застывают на талии, плоть желает близости, но бездействует.

Мы сидим, мы не шелохнемся, точно так же, как свисающая над нами ветвь абрикоса и тихая звездная ночь. Мы недоумеваем, откуда в наше вечное томление врываются из темноты гулкие шаги, зачем выскальзывает совсем неуместный сейчас Славик. Я быстро снимаю Наташку с колен, и она растворяется в темноте дворика. Я благодарю Бога, что не видно моего горящего, почти пылающего лица. Один лишь дрожащий голос и моя неуместная болтовня медленно убивают прелесть ушедшего мгновенья.

«Десантники...»

Хорошо Сереге Чижу, он высокий, худой, долговязый, куда хочешь заберется, что пожелает — достанет, не то, что я — маленький, тщедушный, для девушек неприметный. Повезло Сережке, живет рядом со школой, ближе только Витька Сычев и Лена Богдан.

Удобно Чижу, хитрый он, коварный, в отличие от меня, прокрадется в класс задолго до уроков, вычудит какую-нибудь чудишку, напакостит, незаметно улизнет. Нет свидетелей.

Один Бог да я ведаем, кто женские туфли засунул под внешнюю проводку высокого потолка. Спешат одноклассники к началу урока, а в коллективе роптание, смута, ребята с девочками за парты не усаживаются, на потолок глазают — потешаются — туфли Ленки Богдан, недоступные красуются. Витька Сычев громче других хохочет — зрелищем наслаждается, наверное, знает тайну туфлевую, как и я. А достать обувь с потолка никто не может, кроме чижары. Хорошо моему другу Сергею Чижу...

Не стану излишне скромничать, в основном школьная атмосфера загрязнялась, как и водится в старших классах, группировкой лиц, страдающих хронической неусидчивостью, болезненным несмирением, неразвитым здравомыслием. Не скажу ничего нового, напомнив о том, что в примитивном смысле человеческий организм представляет из себя систему, вырабатывающую определенную энергию. Задача воспитания и заключается в способности воспитательной системы преобразовать томящуюся силу в созидательное действие мысли, творчества, ремесла, спорта. Но забота наша, как вы уже, верно, догадались, творить пакости из-за примитивного от-

сутствия здоровой мысли. Нечего тут скромничать. Мы таким образом дико самовыражались.

В надежде подвинуть общественное мнение в свою пользу мы не могли быть самими собой, послушными и боголюбивыми. Мы, как те обезьяны, выхватывали бронзоликий звонок из бочки с мелом (там хранила свое сокровище техничка) и, призвав мужество, на глазах у изумленного, самоуглубленного директора, держа звонок за набалдашник (не дай бог звякнет) переносили его в другое место. Нам казалось, главное лицо школы внимательно изучает нас, пронизывая взглядом насквозь. Нам, захваченным метафорой идеи, не терпелось получить результат — всеобщий хаос, признание значимости, прочую чушь.

В ответ на сорванный урок силы реакции безошибочно указывали на меня с Чижом и громко и ясно призывали нас к ответу в просторном кабинете директора, смотря в темечки наших низко опущенных голов. Василий Харлампович называл нас по фамилиям, выдерживал долгую паузу, ожидал пока мы с Чижиком наконец поднимем головы, спрашивал: “Так, десантники, теперь рассказывайте, как вы убегаете с уроков через окно?”

Мы, кому надобно молчать от рожденья, поменяли свои назначения и заговорили наперебой, мы оправдывались разом и сообща, чем распотешили шефа нашей школы. Чем не удовлетворение амбиций, чем не тема для внеклассных рассказов. “Идите...” — только и вытолкнул директор из исторических уст (он вел историю).

Имидж выделывателей всякой всячины должно соблюдать неукоснительно. Иначе наше место займет следующий ловкач. Следуя указанию директора, мы отправились (он ведь не сказал “Идите на уроки, а просто идите...”) за школу, посмаковали подробности, потоптались, перекуривая, и полезли в класс через не очень высокое окно первого этажа.

На краю подоконника присаживались, наблюдали за учительницей. Кто-нибудь из наших, видя нас, в нужный момент подавал сигнал. Перебрасывали одну ногу на парту, близко стоящую у стены. Из-за ряда оконных створок от учительского стола, расположенного напротив первого ряда, полметра пространства не просматривалось. Становишься на сиденье парты, переволакиваешь вторую ногу и — юрк — сидишь, будто

и не выходил. Первым перевалился Чиж, за ним, ведомый его жестами, в класс перебрался я. Действо делалось быстро, мы как бы возникали из небытия. Мы подняли невинные глаза и наткнулись на сомкнутые губы Василия Харламповича, тихо, вместе с учительницей наблюдающего за нами. И мы поняли, последнее слово опять остается за ним...

Школьные причуды

Вот как на одной странице моей памяти сошлись два мироощущения — равно исповедальные, но разделенные друг от друга целой жизнью. Первые исповеди слушали Сергей Земский (навек ушел) и Толя Науменко. Ребята с определенной периодичностью выясняли отношения недалеко от школы у летнего туалета — пристанища начинающих курцов и просто удобного места, скрытого от учительских глаз. Били друг друга до первой крови.

Расположенная неподалеку свалка тепличной ботвы знаменита непрерывным шествием “за огурцами”. Сморщенные овощи то и дело находились в гущине увядающей зелени — считались верхом успеха и благополучия. Грязные и немые, безжизненные заморыши хрустели на зубах вместе с песком и черноземом. И никогда ни у кого не болели животы.

А теперь о том, как складывались отношения с приятелями-друзьями. С Толей мы дружили, коротали время, познавали мир, возвращаясь из школы. Я досадовал, видя, как Земский побеждал моего друга. Но вмешиваться не полагалось, разрешалось оказывать помощь по окончании битвы. Как будто все предельно объективно, во имя высших интересов справедливости и ради идеала. Сергей для меня не представлял опасности.

Может быть, мне так нравилось думать. Невысокий, коренастый, он располагался перед Толяном, как крик души, рвущийся на волю сам собою, неудержимо и неостановимо.

Он чаще оказывался ловчее Науменко, как мне думается, кем-то обучен началу баталии.

Мой друг вновь вытирал кровь, обильно стекающую из носа. Дыхательный орган у Толи кровил от порыва ветра. Выяснение отношений тут же прекращалось. Земский исчезал, мы с Толей коротали время, пока кровь не останавливалась.

У Земского, как и у меня, в школе училась старшая сестра, претендентка на золотую медаль. Истины ради замечу, для общих показателей и отчетов школа не всегда объективно оценивала знания отличников, вытягивая их на финишной прямой. Но истина истиной, а затевается все для и ради человека, как изрек великий писатель. Сестрой Земского мы гордились. Моя Валентина училась на отлично, не дотягивая до медали. И моей Валентиной гордилась школа. Науменко рос без сестры, опоры, подобно нашей, не имел. Жалел я Толю в душе, желал ему скорейшей победы над противником.

Начиналась поступь бойких школьных придумщиков (чего только не вытворяли), пришел мой черед возникать на сцене. Законы уличной популярности суровы, уступить я не мог как существо более высокой организации, чем дерущиеся одноклассники.

Представить конечную цель моего замысла мои исповедники не могли. Можно ли назвать меня разумным? Едва ли. Но друзья дали добро, чем вознесли меня на пьедестал. Я самовыдвинулся на первый приз по глупости. Я бросил пачку дрожжей в темное чрево фекальных испражнений. Я нарочно пропускаю туалетные страсти, разборки и непонятки. Дерьмо перло вверх необъяснимым способом. Несмотря на временные неудобства (по ремонту туалета), традиционный мотив обращения ко мне зазвучал внове, по-новому, наново и сызнаова, возведя меня в ранг школьного идола идиотизма.

Что произошло с объектом издевательства? Да ничего особенного, не считая вонючего ассенизатора, объяснившего ответственным педагогам, отчего да почему неорганика прет.

Внять его слову недостаточно, за руку меня никто не схватил, никто не сдал. Пользуясь всеобщей суматохой, в бурю и в ливень, я выудил из класса журнал успеваемости, прибежал, намкнув, в только что восстановленный туалет, бросил свой позор (двоек у меня накопилось много) в неароматный зев естественной бездны. Журнал долго искали, поглядывали на меня, но фактических доказательств и свидетелей не нашли...

Анаша

Из многих подвигов, совершенных мной в мою пользу, можно считать неупотребление наркотиков. Сквозь призму

сегодняшней духовности определение прозвучало бы так: небеса отвели лохматую руку зависимости в сторону, а могло бы оказаться иначе. Как у той верующей, пятьдесят девять лет не слышавшей о веществах, изменяющих сознание. Как только она прикоснулась к вину, в ней проснулась тяга, она тут же умерла как личность и проснулась как алкоголик. Случается и такое. Как бы там ни было, я гостил с друзьями у “шефа” (юношеское прозвище товарища), наслаждаясь свежим весенним воздухом, веющим в открытые окна и двери из соседнего колхозного сада. Я искоса поглядывал на Саньку, растирающего на ладони пальцем зеленый комочек, мешающего коноплю с табаком, вынутым из беломорины и вновь забивающим перемешанную массу в папиросу.

“Толян, курнешь?” — спросил Витька Пьянов. Мои друзья дружно уставились на меня, помня о моем спортивно-волевом аскетизме. Не могу объяснить, но что-то произошло со мной в ту минуту, небеса отвернулись от меня, прекратилось действие благодати, светлая зелень акаций запахла табачными изделиями, а лукавые ухмылки моих сверстников превратились в свиные рыла преисподней. Легкий ветерок навевал кладбищенские запахи с погоста, расположенного неподалеку, а легкая грусть стадного инстинкта с головы до ног окатила меня решимостью сделать, как все, быть как все, и боязнь, что подумают ребята, ослепила, сделала меня неспособным сопротивляться, осознавать трагизм последствий.

И вот я пустился в первый наркотический путь. Ух-ух-ух — издавал я втягивающий звук, находясь в проклятом круге дьяволова зелья. Затянулся, передай другому, траванулся, помни о следующем, оттянулся, не забудь посмотреть вправо. Надо признаться, я не услышал сладкоголосое пение на незнакомом языке, ко мне не спустились чудесные пришельцы, я не перенесся неисповедимыми судьбами в сиреневую долину невиданных грез. Но как странен оказался чертов сладкий дух ирреальности. Как зовуще нагрянули дивные таинственные сны. Я отдыхал в царстве безмятежности, я бы сказал безвременья. Я не слышал звуков разговора, я точно потерял память в саду забвения, потеряв зрение и слух...

Я опустил на грешную землю под шум всеобщего хохота, сыплющегося на меня густо летящими голышами. Ничего

не понимая, я с удивлением огляделся, посмотрел на журнал “Юность”, неизвестным образом попавшим в мои руки. Я чувствовал себя странно, дремотно, точно вышедши из туманной кромешной тьмы. Я ничего не мог вспомнить, узнавая лишь незатихающий шепоток соседствующих с домом густолистных акаций, ожидая объяснений от друзей.

Спустя мгновение после подкурки, Витька Пьянов сунул мне в руки журнал, помня о возможностях наркотического состояния, дающего возможность сосредоточиться на том, на чем ты сфокусировал свое внимание за миг до начала магического действия. Несильная анаша взяла меня настолько, насколько позволил мой хорошо тренированный организм.

Я временно выключился из течения жизни и окунулся в сладкое чтение периодического издания. Я прочел общественно-политический буклет от корки до корки, включая критику, публицистику и выходные данные. А мои друзья (сволочи) все это время прикалывались, ухохатываясь, наблюдали за мной. Я с трудом верил их басням, беспокоило и даже враждебно воспринимая случившееся. Глубоко в подсознании я, вероятно, вынес отрицание, не терпя насмешек, подколок, розыгрышей, будучи обидчивым, как все эмоционально неустойчивые люди. Внешне я ничего не показал, к счастью, остранился от них, но журнал запомнил на всю оставшуюся жизнь. Только в зрелом возрасте я уразумел, почему так остро реагирую на вид и озвучивание словосочетания “Журнал” Юность”...

Последний звонок

И вот во дворе средней школы № 79 города Донецка началось торжественное построение к заключительной школьной линейке. Шум, гам, оклики классных руководителей, мельгешение первоклассников. Я и Сергей Чиж тусуемся в многолюдстве. Нас не смущает марево утренней майской жары. Мы не замечаем мук плоти, заключенной в кримпленовые рубашки. Мы пребываем в мучительном нетерпении, мы ждем, когда вынесут пухлую, расшитую и блестящую подушечку, мы выглядываем из толпы, мечемся на цыпочках. Все вперяются в дверь, откуда сам директор доставит звонок, который я и Чиж спрятали в нашем классе под моей последней партой.

Переполох-таки начинается, “праздник”, как говорится, удаётся, наша глупость спорится и творит свое разрушительное действие. Но хитреца наша, видимо, значится на физиономиях. Директор столь решительно появляется из школы, что все мгновенно затихают. Бывший морской десантник Василий Харлампович Райко, прошедший войну, несомненно направляется к старшекласникам. Он разрезает выпускников как крейсер “Варяг”, и молодые люди расступаются перед ним волнами. Мы понимаем, нас кто заложил. Директор подходит к нам очень близко, выдерживает небольшую паузу, даёт нам возможность послушать скребущих на душе кошек. — Где звонок? — спрашивает так резко, что слышат все.

Я, ни слова не говоря, бегу в класс, Чиж не шевелится. На меня смотрят девчонки, мне нравится находиться в центре внимания. Девчонок я боюсь, поэтому стараюсь выделиться любым способом. Мне кажется, меня осуждают, мне думается, праздник получился смазанным. Но вскоре я все забываю от умиления, от избытка чувств, видя как крошка из первого класса сидит на плече гиганта Горюнова, неловко колоколит большим звонком. И школьный двор оглашается последним для нас переливом звуков — печали и волнения...

У ворот

Тогда еще, на закате футбольной карьеры, в донецком “Шахтере” играли знаменитые В. Лобановский и О. Базилевич. Тогда еще мы, будущие выпускники футбольной школы при команде мастеров подавали мячи по периметру поля. Тогда в раздевалке под трибунами наш тренер П.А.Пономаренко назначал десять счастливых на обслуживание встречи. Тогда мы волновались не менее, чем игроки нашей любимой команды или их соперники — блистательные киевские динамовцы.

Мне и Валерке Рудакову выпало непрестижное место за лицевой линией. Дело в том, что нахождение в тройке подающих из-за боковой линии обеспечивало попадание в телеэфир и популярность на поселке. Но дело еще и в том, что за лицевой линией можно было поставить мяч на угловую отметку самому корифею “сухого листа” Лобановскому.

Ревут трибуны, счет не в пользу моей команды. Мчимся за улетающим мячом, выстраиваемся с Валеркой в линию, чтобы

предельно быстро доставить мяч на подачу. К мячу спешит великий мастер угловых ударов. Разбег, резкая крученная подача за спину всем, но там, словно известный герой из табакерки, возникает Базилевич и вколачивает гол. Счет сравнивается. Минут через десять он же с подачи Лобановского забивает гол-близнец. Гости взвинчивают темп, наши начинают тянуть время. Мы с Валеркой стараемся больше всех. За мячом спешим медленно, начинаем передавать кожаный шар в замедленном действии. “Мальчики, быстрее”, — кричит киевский вратарь. Но мы продолжаем хитрить, мы играем за своих, мы приближаем победу.

Судья вскидывает руки вверх. Вслед со своих мест взмывает сорокапятитысячная толпа болельщиков. Мы вдесятером, как и в начале, по пять человек в ряд с каждой стороны, выстраиваемся, провожая мастеров в раздевалку. У меня и у Валерки такое чувство, что это мы выиграли. Сегодня я хорошо знаю: мы подавали мячи лучше, чем они в поле играли.

Первый гол

Виталий Старухин, ты появился в донецком “Шахтере” тихо, незаметно и неожиданно. Ты сразу пришелся по душе нам, семнадцатилетним юношам, привлеченным в дублирующий состав после окончания футбольной академии. Ты легко и непринужденно — по свойски — общался с нами на загородной спортивной базе и, казалось, нет никакой разницы в возрасте, в местерстве. В отличие от высокомерного и амбициозного Анатолия Конькова, ты оказался своим в доску. Именно ты показал нам многое и прочее из футбольного багажа. Именно ты научил нас при обводке убирать мяч под опорную ногу соперника. Потом, после ужина, мы с Валеркой Черныхом долго мучили друг друга техникой обводки.

Тогда — всего один год — существовало жесткое положение: командам запрещалось дозаявлять игроков в середине сезона. Поэтому ты играл в дубле под фамилией Валерки Черныха, дабы не потерять навыки и вообще спортивную форму. Тогда в далеком 1972 году “Шахтер” выступал в первой лиге. Ты забивал, играя за второй состав так часто и много, что тренеры сборной страны вызвали Черныха на тренировочный сбор. Глядя на него, они дивились, недоумевали, как же он, совсем

еще сырой, играя за дубль, поражает ворота, а здесь — ничего из себя не представляет.

Много позже — я вижу фрагмент воочию — ты уже матерый бомбардир команды горняков, любимец публики, при подаче углового или штрафного рыщешь по штрафной площадке, наводя ужас на защитников. Ты поднимаешь руку — сигналишь подающему — и к общему восторгу сорокапятитысячной толпы ты хлопаешь себя по почти лысой голове, то ли специально, то ли от избытка эмоций. И торсида ревет, мяч, словно завороченный, летит туда, где царствуешь ты. Мяч находит твою голову и, ударившись о нее, влетает в сетку...

А пока ты, еще не заявленный футболист без имени, под чужой фамилией вслед за мной выходишь на футбольный газон донецкого стадиона “Локомотив” играть против дубля запорожского “Металлурга”. Петр Андреевич Пономаренко, тренер дублирующего состава, в раздевалке обратился ко всем, чтобы поддержали меня, выходящего в первый раз в составе команды мастеров.

Вячеслав Чанов потрепал меня по плечу, Юра Дудинский, сжав кулак, поднял большой палец, мол, все класс! Ты же сказал: “Ничего не бойся...”

И я ничего не боялся, я носился по полю, где попадаю. Словно в забытьи, я прожил семьдесят пять минут, не видя ни болельщиков, ни скамейки запасных, ни самого себя. Покуда меня не толкнул киевский динамовец Виктор Кашей — “Тебя меняют...” Я не сразу понял, о чем идет речь, повернулся к боковой линии, увидел запасного игрока у бровки и бросился доигрывать атаку. И, как выяснилось, не зря. Виталий Старухин “добивал” защитников “Металлурга”, долго возился с ними в штрафной площадке, затем резко и неожиданно развернулся в обратную сторону и мягко — на блюдечке — выложил мне передачу. Мне ничего не оставалось, как чисто исполнить несложный технический элемент — удар сходу с близкого расстояния в семиметровый створ ворот. Я счастливо поднял руки, мы крупно победили. Мне аплодировали тысячи болельщиков. Спустя много лет я с теплотой вспоминаю свой первый гол, забитый с передачи легендарного Виталия Старухина.

Гранаты

В ту пору команда “Шахтер” Донецк выступала в первой лиге. В ту пору мы с Валеркой Рудаковым с надеждами переживали страсти дублирующего состава. Поездка в среднюю Азию предвещала много захватывающего, а главное — нам хотелось до отвала насытиться диковинными тогда гранатами.

В Душанбе мы прилетели на красавце “ИЛ-62”. Нас встретили, разместили в гостинице. Вечером, когда спала жара, а сон не шел, мы с Валеркой сидели на подоконнике и с третьего этажа любовались ночным городом. Валерка хорошо отзывался о Базилевиче, потому что заиграл в основе при киевском специалисте. (Мы с Рудаковым — выпускники одной группы ДСШ). Мы ругали недальновидного Салькова, а Валерка поверял мне потаенные сплетни команды горняков. Вдруг он спросил: “Кто живет в соседнем номере, чьи окна рядом?” Я ответил, что за стеной поселился старший тренер. Валерака взволновался, перешел на шепот: “Что ж ты раньше не сказал?”

Утром, после легкой зарядки, врач команды (он отвечал за питание и кормил нас ужасно) посоветовал налегать на арбузы и не шляться по жаре. Плюс тридцать пять в тени — мы переживали в номерах, терзая теплые арбузы. Встречу у местного дубля мы выиграли, отметив, что женщин на стадионе нет, а все наши попытки познакомиться в городе с чернявыми таджичками оказались безуспешными. Мы поняли, азиатские девы для нас недоступны. Зато, когда мы, изнуренные от жары, притянулись в гостиницу, то сразу увидели студенток из наших краев. Девушки обрадовались, знакомство состоялось в сей же час. Моему другу, как всегда, повезло больше, чем мне. Подруга у него оказалась без прерассудков и вскоре молодые люди вовсю занимались любовью в соседней комнате номера, охая и ахая, смущая нас, не решающихся перейти грань детства к взрослости.

Назавтра играл основной состав, стало быть, у нас, у дублеров, оставалось свободное время. Мы с Валеркой приняли решение выехать за город и взглянуть на гранатовые рощи. На пригородном автобусе мы быстро выбрались за черту Душанбе в предгорье и диковинное селенье, состоящее из длинной улицы, обрамленной глиняными оградами, предстало перед

нами. И всюду, как яблони в белорусской веске, близкие и доступные, свисали вожделенные гранаты. Не сговариваясь, мы ступили на завалинку и одновременно схватили по два плода, и дерево зазвенело перезрелыми фруктами, густо падающими наземь. Из гула и грохота возникло бородастое лицо аборигена, ругающего нас на таджикском языке. Как по зову военного сигнала, из-за ограды вспыхивали растревоженные лица хозяев. Они выбегали на улицу, держа в руках устрашающие мотыги.

Видел бы нас в эти минуты тренер. Пробежав две оставшиеся до окраины города, мы даже не устали. Почувяв себя в безопасности, мы сошлись на мысли, что под гору бежать одно удовольствие. И слава богу, мы не забрались в дебри, где нас похоронили бы и ни одна душа не узнала бы, под каким гранатовым деревом покоятся наши прахи, заваленные серыми бесчувственными азиатскими камнями.

В армию

Всего этого я очень боялся, обо все этом гнал навязчивые мысли, терзаясь бредом отношений (кто и что подумает по поводу случившегося). А произошло нечто непредвиденное и необъяснимое. Старший тренер футбольной команды мастеров “Шахтер” Донецк Владимир Сальков просмотрел наш выпуск, выискивая бегущих, мышечно-огромных (я рос изящным технарем), каким был сам. И через девятнадцать в дублирующем составе игр он оставил меня без внимания, как и многих других, выброшенных из жестокого естественного отбора. Я бросился в запорожский “Металлург” к Юрию Захарову и ука-тил с ними в длинную среднеазиатскую поездку. Но Захаров предпочитал не растить игроков, но основывался на зрелых мастеров. Он попытался решить вопрос с освобождением меня от службы. Но вскоре в телеграмме я прочел: “Вопрос решить не удалось. Захаров.” И все...

Через неделю мне предстояло идти в армию. Внутри у меня рушились мечты и надежды юности, а чаянья о большом футболе громыхали личной гражданской войной. Общее угнетенное состояние духа усугубляли чувство вины и страха перед посельчанами, перед теми, кто верил в мое великое предназначение. Я не мог свободно гулять по родимым улицам, боясь

столкнуться с футбольными фанатами улицы Юшкова. Всю неделю состояние прострации не покидало меня.

Отец и мать начали готовиться к проводам в солдаты. Постепенно наезжали родственники. Сумками из магазинов перетаскивались продукты и спиртное. Провизию складировали в погреб. Меня грызло подсознательное чувство вины перед отцом. Батя в своих кругах нередко оговаривал мою будущую футбольную карьеру, бахвалился моими успехами. Если бы не спортивная закалка, я бы сломался еще раньше...

Мамин брат дядя Женя прикатил раньше всех, поддержал, принял участие. Плотник мирового класса, он привел в порядок хозяйственные огрехи отца, “оживил” входную дверь.

Отец со своими нервами инвалида болезненно среагировал на вмешательство родича.

Общее напряжение местного конфликта, как правило, заглаживалось за вечерней рюмкой с бесконечными добавками и заверениями о мире и дружбе. В день проводов отец и дядя мешали друг другу своими вмешательствами и советами, нагнетая и без того нервную обстановку. Но в общем дело шло к завершению. Я начал смиряться. За час до сбора гостей мама отправила меня в погреб за спиртным. Дядя Женя держал погребную крышку, я из глубины подавал вино. Одну за одной я доставал бутылки, почему-то очень легкие. На свету мы увидели пустую тару, аккуратно прикрытую крышечками из фольги. Ящик вина отец опустошил за неделю, как подобает профессиональному алкоголику, тихо, незаметно и безответственно. Маму едва не хватил удар. “Цыц, — закрывал ей рот отец, не любящий и боящийся огласки, — замолчи...” — и добавлял нехорошее слово в адрес матери.

Мое терпение лопнуло. Я, пружинистый, хорошо тренированный, пробкой вылетел из прохладного подземелья, схватил проспиртованного отца, оттолкнул его от мамки с такой яростью, что тот спиной назад просеменил через шестиметровую комнату, упав на панцирную кровать. Отец был опасен в такие минуты, он молча шагнул к полке, выхватил оттуда шило и сунул его в карман. Шило мы едва отобрали у него...

В те дни я еще не пил. Спиртное вообще мало интересовало меня. Дядя Женя подкупил вина, я приобрел одну бутылку коньяка для “особенных” гостей. Мне трезвому не веселилось

и не печалилось. Я бродил меж гостей, стараясь всем угодить, предлагая налить еще и еще. Была у меня надежда, что Ленка Антонова не притащит с собой своего поклонника, а я с ней пару раз поцелуюсь, если не сказать больше. Но моя тайная зазноба конечно же приволокла своего идиота. На один танец она все же пригласила меня. Под звуки какой-то медленной мелодии мы топтали потрескавшийся асфальт нашего дворика. Я был девственником и совершенно не представлял, как вести себя с дамами...

Рота, подъем!

Под звуки марша “Прощание славянки”, заставляющие рыдать сердце, мы, призывники Родины, солдаты Донбасса, нестройным шагом уходили в армейскую взрослость. Я плакал внутрь, прикусывая чувства, тайком поглядывал на мокролицых сверстников. Ребята не утирали слезы. Они чувствовали и в отличие от меня они не прятали свои переживания.

В “солдатском” эшелоне я приобретал военный опыт, так не похожий на гражданку. Офицеры осторожно пили водку, предоставив нас бывалым сержантам. Один из них прохаживался по вагонам с зимней шапкой, прося “подавание”: “Ребята, кто сколько может...” Я с сожалением, словно обязан это сделать, бросил в засаленную внутренность трешку...

Нас привезли в снежную и загадочную столицу Татарии. Город как город. Нас провели строем некоторое расстояние, и отверстие чрево воинской части поглотило нас. С нами начали обращаться, как с материалом: разбрасывали по ротам, постригали, одевали, учили, заставляли, давали уроки армейского смирения.

Сержант выловил меня, неловкого, выделяющегося в многолюдстве несолдатской растерянностью. “Рядовой, ко мне...” В начале службы сержантский состав значительнее, важнее генералов и безусловно выше маршалов. Сержант — это генералиссимус. Я пулей помчался к зовущему меня командиру. Получив задание, я взял ведро, швабру и мыло.

“Коридор для построения должен блестеть, как стеклышко...” Коридор в уфимской учебке длинее жизни. Нисколько не смутившись (сержанта я запомнил), я взял дыхание...

Вечером я заступил в наряд — на кухню. Опять же, согласно

многолетним занятиям спортом, я психологически спокойно принял предстоящую работу. Разумеется, меня как молодого запихнули на мойку. Разумеется, истина познается (на “пластинках”) на мытье полутора тысяч тарелок, вечером, утром и днем. Так я не изматывался даже на самых ответственных играх, на самых изнуренных тренировках. Я ждал отбоя и засыпал на ногах.

Я едва забрался на верхнее ложе двухъярусной кровати, прикоснулся к подушке и провалился в бездну. И тут же услышал гроыхающее и неумолимое, непонятное и противное:

“Рота, подъем!” Мне, еще вчера выступавшему за футбольную команду мастеров, избалованному особенной свободой, присущей миру спорта, царственному, как лев, вдруг захотелось заплакать от чувства глубокого отчаянья, от некоей безысходности и тоски. Но уже через мгновение и я кубарем летел вниз прямо на голову брату-сослуживцу.

Прошло совсем немного дней, пока к нам заявили “купцы” из далекой военной части.

Служить под крылом вежливого майора первым вызвался я. Офицер шутил: “От нас до Москвы недалеко...” Купил нас столицей Отечества с потрохами. Тридцать сослуживцев обманул, служивый. Нам выдали паек согласно штатному расписанию, согласно предстоящей командировки. Осмелев, я начал мягко шутить с прапорщиком: “Старшину теперь можно не бояться...” Невысокий, мудрый, холеный хозяйственник роты ответственно произнес мне в ответ: “В армии не на страх, а на совесть...” Военную поговорку я запомнил и часто и цитировал молодым бойцам для пущей важности армейского момента.

Поезд уносил нас ближе к Москве (майор не соврал). Опекающие нас сержанты, едва стоящие на ногах, с красными лицами носились по вагону в поисках приключений. Старший офицер смотрел на их пьянство сквозь пальцы, то и дело пересчитывая молодежь.

По радио передавали марш “Прощание славянки”, вызывая щемящие ностальгические ощущения, пережитые недавно на пересыльном пункте для призывников. За оледенелым окном мелькали темноликие оснеженные сосны, высоко занесенные снегом. В вагоне пахло копченым салом, дешевым вином и сигаретным дымом. Поздно вечером мы вышли на станции “Леонидовка” Пензенской области. Снегопад прекратился. По

нечищенному перрону нас повели к дороге, усадили в машины и повезли живописной лесной дорогой...

Осторожнее

Мы, солдатики, разгружаем полутонные авиабомбы. Прапорщик еще и еще инструктирует нас, повторяя общеизвестное: “Внимательно зачаливаете тросом, приподнимаете с платформы и ведете пятисотку как можно ниже над землей, придерживая за дерево упаковки, повторяю, осторожнее...”

Я медленно, как подобает молодому бойцу, дергаю крючки, еще раз оглядываю взрывоопасное хозяйство на платформе вагона, на мгновение допускаю безумную мысль: “А вдруг...”, помня слова ротного, что, если рванет, всю часть разнесет, и поворачиваю голову в сторону кранового, нетерпеливо ждущего моей команды.” Вира”, — даю добро, тросы резко и намертво затягиваются, смертоносная игрушка вздрагивает, напрягается, подается вверх и плывет над землей как-то высоко и неправильно.

Крановой явно школьничает и спешит. Мы застываем, прапорщик багровеет. Бомба вдруг виляет, дергается, срывается вниз и гулко падает на асфальт. И как в той песне: “стало тихо, тихо...” К тому же стрела крана, следуя законам физики, мчится в противоположную сторону, достигает верхней точки, переваливается назад, словно брызги, разбрасывая все наше отделение в разные стороны.

“Лапы противовесов мы не выставили...” — отмечаю я и следом думаю, как оправдаться потом, если что-то вдруг... Случай повергает нас в шок. Мы ждем грозы, взрыва, наказания. Неплохо бы земле разверзнуться.

Крановой, бледный, как луна, застывает в ожидании, потому что к нему медленно идет прапорщик, точно каменный гость из знаменитой трагедии. Наш командир ничего не говорит, замахивается черенком от лопаты, неведь откуда взявшегося у него в руке, бьет кранового по спине. Тот никак не реагирует, ничего не говорит, просто стоит, тупо вперясь в бомбу...

Станция Леонидовка

“Дедовщина” как таковая здесь практически отсутствовала. Разве что мелкие стычки с упрямым Камаловым. Узбек напоролся на мою блестящую физическую подготовку, получил отпор, ретировался. “Деды” и молодые бойцы выполняли ответственную задачу по обслуживанию боевой техники. Тяжелая физическая работа и в снег, и в жару сближали личный состав, а общая цель стирала возрастные служебные грани.

Мне, изнуренному тренировками, все вокруг происходящее виделось замечательной игрой, забавой, учением. Мне, фанатику футбола, самим Господом назначился отпуск — таким диковинным военным образом. Мы оказывались на запретной территории, окруженной тройным кардоном, системой часовых и электрических охранителей. Чтобы туда попасть, следовало пройти сквозь фильтры относительных обысков. Категорически запрещалось проносить сигареты и спички. Когда при проверке у меня в карманах нашли огонь и табак (я не курил и спички не носил), мне устроили такую трепку, такую выволочку, что на вечернюю проверку заявился сам командир части — поглядеть на меня.

В зимний период, в сезон больших снегов снежный бог особенно любил эти места. Уж одаривал регион, уж наваливал сугробы высоченные. Тогда личный состав занимался чисткой снега для приема и вывоза боеприпасов. Мне нравилось штурмовать огромные плацы с полуметровым снежным одеялом. Я врвался в снега с яростью невыплеснутой энергии спортсмена в отпуске. С самоотречением радовался я поставленной цели. Ефрейтору из Татарии я доверительно кричал в уши: “Скоро у меня мышцы накачаются — во!” — поднимал я ладонь бугром над плечом. “Нет, — отвечал он, — через год ты станешь хитрее...”

Вскоре меня забрали во взвод, занимающийся уничтожением старых авиаснарядов. Майор Краснов, добродушно ожидавший пенсии, подметил мою сноровку. После непродолжительного обучения я лихо действовал на станке, похожем на токарный. Я вставлял снаряд,двигающийся в отверстие с зацепом, разделяющийся на гильзу и патрон. Порох я высыпал в отдельный ящик и потом сжигал. Боеголовки уничтожались где-то в другом месте, капсулы пробивались вручную. С нами

в группе служил сибиряк последнего года службы, верно, чемпион мира по курению. Полагаю, он и спал с сигаретой. Майор, улыбаясь, советовал солдату набрать дыма в циофановый мешочек и периодически дышать им. Кстати, солдат, как и ефрейтор Збруев из кинофильма, переписывался с семью девушками из разных городов страны.

Вызов из спортивного клуба застал меня на “колючке” — мы тянули колючую проволоку.

Я долго помнил количество рядов, метраж между столбами и бесконечные снежные завалы в лесу, где снег в отличие от дорог не убирали с первого дня зимы. И, странно, я чувствовал себя очень и очень комфортно в психологическом плане и в смысле душевного покоя. Для секретной воинской части, живущей тихой размеренной жизнью, вызов из штаба округа считался значительным событием. Во второй раз я предстал перед командиром части. Полковник умело отговаривал меня от поездки. Он давил авторитетом. “Вот, — говорил он, протягивая удостоверение, — я командир войсковой части. А ты можешь подтвердить, что ты мастер футбола...” Он продолжал рассказывать сказки о том, что у них есть своя команда, что скоро наступит лето и мне дадут возможность выступать за сборную части. И, странно, я, эмоционально незрелый, с классическим комплексом неполноценности, исполненный страхами и чувством вины, твердо, как генерал, ответил “Товарищ полковник, я поеду в 16 спортклуб армии, я футболист...”

Поезд плавно тронулся. Я на месяц уезжал с Леонидовки, но оказалось навсегда...

Шестнадцатый спортивный

Этот куйбышевский (самарский) армейский клуб вспоминается, как безмятежная служба в армии. Нас, футболистов, любят все, потому что, устав от специализации, нормальные спортсмены играют в футбол. Хоккеисты — те же игроки. Носиться с боксерами мы не желали, остерегались, с борцами бегали нормально, за штангистами не угнаться, очень взрывные атлеты. С нами разделяли игру даже не футболисты. Так что “СКА” — это класс!

Удивительность службы в полувоенном подразделении ощущалась всюду. Например, на сборы наезжали имени-

тые гражданские армейцы. Возвращаюсь в казарму (скорее общежитие) после тренировки, на койке отдыхает чемпион Европы по боксу Чернышов – какие люди, а в углу скромно почитывает книгу олимпийский чемпион, легковес Валериан Соколов (служба 1972-1974г.г.). Не правда ли, удивительное зрелище?

Майор Сарбаев, командир нашей роты весьма экзотично выражался матерными словами, придавая им поэтичность необыкновенную. Он выстраивал нас на плацу и хулил за самовольные отлучки. Офицера слушали, как полузапрещенного Высоцкого. У форточек административного здания грудились чиновники. За сетчатой оградой маячили военные из средней части. Майор Сарбаев являлся своеобразным символом армейского клуба, истинным воплощением справедливости. Уж коль командир роты кого-то наказывал, то, стало быть, есть за что. В основном у нас служили местные ребята, а в целом СКА охватывал спортсменов Поволжья. Местные жили как у Бога за пазухой, увольнительные им давали для проформы, они все равно в основном, ночевали дома.

Наш замполит, как всегда, заглядывал на вечернюю проверку. Постоянно пребывая в легком подпитии, он требовал от нас новые анекдоты, а выслушав, хохотал, словно ребенок. Майор, пошатываясь, стоял перед личным составом, слушал монолог дежурного, не догадываясь, что все, кто напился, упрятаны во втором ряду. И только когда штангист грохнулся на пол после команды “разойдись”, замполит стал относиться к нам строже.

В канун нового года я предложил отказаться от яблочного сока, а вино пронести в коптерку в ведре с яркой надписью “СОК”. Старшина покидал нас в добром расположении, не подозревая о том, что мы через пару часов нажремся, как свиньи. Вино глотали кружками, несколько раз бегали за добавкой. Напились все без исключения. 1 января 1972 года мне было очень плохо.

Соседствующая с нами шоколадная фабрика “Россия” звала нас разгружать вагоны, взамен щедро угощала и одаривала бракованным шоколадом. Мы набирали, кто сколько мог унести. Следующие несколько дней мы называли шоколадными. В столовую никто не ходил.

Наступала весна, стаивал высокий снег, вокруг клуба, напоминая подснежники, “вырастали” пустые бутылки. Неужели столько выпили?

Играли подставными за ракетчиков. В первой игре набрали одиннадцать голов. Инструктор схватился за голову: “Что же вы делаете, вы же ракетчики с далекой точки, вы должны плохо играть...”

Увольнялись каждый с той части, где числились. На станции Рузаевка, в Мордовии, на утренней проверке мои красные погоны, синюю фуражку и желтые носки с ужасом осматривал прапорщик: “Ты кто такой?” — я ответил — “Футболист...”

Дерзость

В самом деле, неужели только ради праздничной жизни прозябал я в шестнадцатом спортивном клубе армии в Самаре (тогда еще Куйбышев)? Мое нутро, как говорится, духовно пировало и валяло дурака, что я решил, все предметы мира мне по зубам, служба по уму, трудности по плечу. А смирение молодого солдата постепенно превратилось в наглость, хитрость и расчетливость бывалого воина последнего полугодия службы. Правильно говорил татарин еще на станции Леонидовка: “Станешь хитрее...” Но мудрости не дано было уместиться в моей просторной голове. Я почувствовал себя важным и значимым. Я совершенно потерял бдительность, с каждым днем становясь наглее.

Вышеуказанные качества прежде всего проглядывались в безответственном отношении к продуктовой карусели в дни дежурства по кухне. Техника махинаций разрабатывалась далеко не мною и воспроизводилась в действиях каждого наряда по блоку питания. Как-то так повелось, дежурные по кухне имели негласное право вольно распоряжаться деликатесами дополнительного питания (о нескончаемых самоволоках, о пререканиях с патрулями, мы представлялись боксерами из “СКА”, начальник спортклуба не слышал). Я освинел до высшей степени свинства. Получая соки, я безбожно угощал никчемнущих кладовщиков, малознакомых прапорщиков и случайных солдат. Причем, тут же, не прячась, восполнял недостачу обычной водой из-под крана, удивляя даже самых циничных и выдавших виды торгашей из военной братии.

Засценический смысл моей сути неожиданно вышел на сцену во всей своей красе, претендуя на всесилие и вседозволенность. Я начинал существовать в среде спортсменов в притчевом варианте, как чудодей и маг продуктов для дембелей. Получая сыр, я отхватывал добрую половину от каждой десяти порций и сосредоточивал продукты на столе для наряда, впрочем, приглашая на пир и сослуживцев-дембелей. В праздничный день потрясенная публика (состояла она из солдат второго года службы) попросила меня повторить на бис номер с избытком сыра и, представьте, я повторял, жертвуя тарелкой с НЗ для опоздавших, подгулявших и напившихся друзей футболистов.

Честнейший, добрейший и справедливейший майор Сарбаев любил использовать меня для спецзаданий. Ставилась боевая задача. Мне давали двадцать пять рублей (сумасшедшие деньги для начала 70 годов двадцатого столетия) и велели как можно быстрее (что я и делал) привезти водки, хлеба, селедки, консервов и т. д. Доверие и хорошее отношение ко мне моего воровского существа не изменили. Конечно, воспроизводить материально-денежные ухищрения я не собираюсь, мои правила-приемы не отличались разнообразием. Трешка, почему-то запрятанная в носке, считалась пределом мечтаний. Военная секретность ремесленной тайны, спешка и порядочность майора Сарбаева размывали смысл содеянного, цель которого несоизмеримо выше контрольных рублевых мелочей.

Невидимый произвол моего своеволия рассмотрелся неожиданным образом и с неожиданной стороны, как и водится во всей мировой лжи. В день дежурства неожиданно подшагнул офицер в погонах подполковника и поинтересовался, почему же я с каждого солдатского стола, отрезаю половину масла, сыра. Окажись я самодостаточнее, взрослее, мудрее, проблема решилась бы туманным объяснением. Но я, повторяю, сам себе казался генералом, если не сказать больше. Я так долго оставался безнаказанным, что, естественно, среагировал так, как и подобает нормальному хаму. Я начал отвечать, как равный равному. Я плел нечто о сложившихся традициях. Я сразил наповал вконец удрученного проверяющего (он контролировал другие вопросы) приказным тоном и советом, если что-то не нравится, идите, жалуйтесь начальнику спортклуба. Что он и

сделал. Его зыбкое говорение обрело крепость и прочность человека дела. На утреннем построении Сарбаев, не поднимая глаз, объявил: “За нарушение воинской дисциплины рядовой Сендер отправляется в часть для дальнейшей службы...”

Степи оренбургские

Нашу команду в полном составе командировали в Оренбургскую область в одну из многочисленных воинских частей, разбросанных по необъятным просторам России. Железнодорожная станция, окрестные села, военный городок. Командир дивизии, генерал — большой любитель и поклонник тенниса (сам прилично играл и держал в части мастера спорта для повышения личного мастерства), хоккея (“Крылья Советов” Москва, в то время чемпионы СССР в турне заезжали на нашу станцию по приглашению генерала) и, конечно же, господина футбола.

Генерал (о нем витали легенды) организовал процесс службы так, что утром все офицеры без исключения сорок минут проводили на стадионе, чтобы растрясли свои неофицерские животы и вспомнили о тех налогоплательщиках, на чьих плечах они благополучно проживали. Я наблюдал за офицерней, за их недовольными физиономиями (кто посмеет перечить генералу) и от души радовался их мучениям.

На праздник я надерзил прапорщику (директору стадиона). “Кусок” оказался дерьмоватым и злопамятным, пожаловался старшему офицеру, а тот вынужден был отправить меня на месяц на исправление — на кухню. В завершение наказания вонючий прапор приказал мне выдраять местный туалет, такой же паганый, как и он сам, после чего простил меня, униженного и оскорбленного, помня о моем участии в беге на восемьсот метров. Я хоть и не легкоатлет, но когда надо, могу основательно выложиться на дистанции. Присутствие генерала означало, я или умру на беговой дорожке, или займу призовое место. На втором круге коварной дистанции мне явно не доставало дыхания и опыта. А на финишной стометровке, на глазах у восторженного генерала, я продемонстрировал футбольный рывок и “съел” соперника, опережающего меня на добрый десяток метров.

Колька Морозов и Колька из средней Азии вздумали выяснять отношения, устроили драку на стадионе. Мы тоже хороши, нет, чтобы прекратить безобразие, так мы окружили их, визжали, злорадствовали. Обошлось без увечий. А вечером Колька выяснял отношения с хоккеистом, воровавшим вещи и прячущим их под нашими матрацами. Вечером мы допоздна обсуждали участь счастливого-солдата, прямо-таки чудным образом выхватившего отпуск у счастливого случая. Рядовой, растрепанный, вылетел из захолустья на центральную аллею, столкнулся с генералом. Боец не растерялся, сделал оборот на 360 градусов, успев застегнуться на все пуговицы. Генерал тут же объявил ему десять суток отпуска.

Вечером я кружил по воинской части, расположенной в степях. Молодая девушка привязалась ко мне, мечтая о любви. Мы обнимались в стогу сена. Я довлел над ней, не решаясь раздеть. Она мягко отдавалась, да я растерялся и сподобился лишь на поцелуи.

Степь манила меня, словно я имел с нею не видную генетическую связь. Она неслышно звала меня, влекла нескончаемыми просторами. Я спускался вниз к усыхающей реке, заходя в один из домов, глядя в глаза замужней хозяйке, страдающей от одиночества. Я пил выпрошенную воду, но влага не лезла мне в горло, потому что мне хотелось совсем другого. Пришло время любить, но я не знал, как взять любовь и похоть. Хотеть мало, нужно действовать. Так я стоял рядом с источником и не мог напиться, умирая от жажды. Я медленно тонул в глазах хозяйки, не в состоянии переступить грань, разделяющую мальчика и мужа. Она долго смотрела мне вслед. Я не оглядывался, но чувствовал тем особым чувством, не требующим свидетельств и доказательств. Я не сомневался, и это придавало мне сил...

Таня

Признавая и решая свои проблемы, я долго и мучительно разбирался с прошлым. Я создавал картину пережитых лет, я писал историю страхов и чувства вины, я воспроизводил ощущения наиболее выразительных фрагментов личного бытия, еще и еще раз перелопачивая-проглядывая темные моменты, забытые сюжеты. Я как бы прожектором осветил заброшенную комнату, бросив на вещи внимательный и кри-

тический взгляд. Я впервые в жизни назвал вещи своими именами, исходя из собственного понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Вы думаете, напрасный труд? Ничуть, начали происходить духовные перемены, пришло правильное понимание собственного назначения в мире, осознание себя в отношениях с самим собой, с другими...

Замечательные духовные программы, которым, безусловно, принадлежит будущее, уверяют, что наибольшее количество глупостей человек творит там, где нужно установить отношения, основанные на сотрудничестве. Узнав об этом, я принялся за летопись неправильно построенных и, естественно, разрушенных, не начатых, не могущих существовать отношений, хотя и зачатых в воображении и, к сожалению, не продолженных в реальности...

Таково на сегодня состояние моего душевного здоровья, примерно так выглядит моя здоровая (правильнее выздоравливающая) мысль. Таким образом я высветлил многое и другое, бердящее подсознание тяжелым и необъяснимым ощущением. Оно-то и мешало успокоению духа, странным образом умножалось, принимало невидимые призрачные формы, едва ли материализуясь, оставаясь невидимым в человеческих пределах. Выметая забытые обитатели, посещая их письменно, я вновь встретил Таню...

Наши отношения, живые и драматически напряженные, цельные и полные, трогательные и духовные до сих пор имеют место быть. Как все платоническое, чистое, не оскверненное похотью и расчетом, тронутое неведеньем наивности и романтики. Совершенно неожиданно я вытащил на свет божий нетронутое чувство недовольства собой и вытекающее как следствие чувство вины. Высокие отрицательные эмоции трудно узнавались, как заурядный гастрит на фоне раковой опухоли духовного тления.

Полагаю, только в провинции можно встретить девушку, угодившую моим повышенным требованиям. Она принесла нам помидоры, огурцы и хлеб (мы без зазрения совести продавали казенную краску, выполняя дембельский аккорд) в обмен на светлохимическое соединение. Ее папа (прапорщик) передал нам немного спиртного. Она, по домашнему доступна и притягательна, просто стояла и смотрела на меня, иногда по-

ворачивая голову на Сашку Попова, друга из Самары. Буйно цвели огородные зелены, остро шевельнулось тайное предчувствие. С тех пор мы ежедневно здоровались с Татьяной, с приветливой и гостеприимной мамой, смиренной и безропотной, как нормальная жена военного. Мама зазывала нас на чай, мы усаживались за стол, вынесенный во двор, и упивались ощущением счастья. Таня оказывалась напротив меня, она смотрела на меня лучезарным взглядом.

Старшая сестра Тани, студентка, собирающаяся замуж, к общему изумлению вдруг заявила в гости со смелой подругой. Попов предложил совершить прогулку. Смелая подруга подхватила Сашку под руку, мне осталась Танина сестра. Мы допозна выхаживали степные дали, изучая диковинные старые русла рек. И целовались, и делали то, что творят в молодости. Смелая подруга тут же отдалась Сашке, а моя девушка только измучила меня. Когда они уехали, я пригласил Таню на природу. Мы забрели за тридевять земель, дальше идти некуда. Мы присели на край обрыва и говорили не о том, о чем следовало, мы болтали о пустом. Я чувствовал и осознавал, но у меня отсутствовал опыт преодоления реальности в подобных ситуациях. Нельзя сочинить рассказ, не выучив алфавит. Я не смог сказать о своих чувствах, хотя девушка глубоко затронула мое сердце. А потом я встретил ее с Поповым, более решительным и опытным, чем я. А потом уже на гражданке я получил от нее письмо, где Таня сообщала, что у нее все хорошо, что Попов скоро приедет в гости...

Ирония судьбы

Только что завершилось первенство Вооруженных сил (события 80 годов времен СССР). Отыграв “вооруженку” на твердую троечку, мы заняли пятое место, уступив очень сильным ЦСКА, СКА (Хабаровск), киевлянам и одеситам. Мы шлялись по вечерней Одессе, изучали экзотику знаменитой Дерибасовской, приставали к девушкам, ходили к морю, глазели на его нескончаемые волны.

Перед прогулкой я подолгу начесывал пробор. Привычку уделять внимание прическе я обрел еще в период моего пребывания в донецком “Шахтере”. Я подражал известному полужащитнику Виталию Бардешину, который считался образцом

галантности. Я прилизывал угловатый армейский расчес на коротких волосах (все-таки мы считались солдатами срочной службы), ожидал скорейшего увольнения в запас, чтобы дома на поселке шахты 2-7 Лидиевка сразить наповал местных красавиц.

Так с роскошными волосами я неожиданно предстал пред ясны очи поселчан. Я рассказывал местным болельщикам басни о футбольных приключениях, явно преувеличивая заслуги перед футбольным отечеством. Я говорил правду о том, как Тарасов, уже будучи футбольным тренером, приглашал меня в ЦСКА. Я вспоминал, как жалел старший тренер “Крыльев Советов” Кириш о моем несогласии осчастливить местную команду.

Откровенно говоря, я не очень-то четко представлял свое футбольное будущее. В “Шахтере” царствовал старомодный Сальков, он любил жестких. Подъезжал я в “Азовсталь” (Мариуполь) к Алпатову, написал заявление, но у них творилась финансовая непонятка. Оттуда же рванул по Украине, заглянул в Запорожье. Всюду все занято. Вернулся домой, начал устраиваться в местную команду, играющую на первенство Украины. Зарплата выше, чем в любой команде второй группы класса “А”, а состав не пробиться. Сплошь и рядом отставные футболисты, волки матерые.

Неопределенность томила, папа ворчал, мне надоело слоняться по региону. На стадионе шахты Лидиевка я оказался совершенно случайно. Отыграв игру против какой-то команды, я увидел Толю Ермошина, друга детства. Он обитал в другой республике и, понаблюдав за мной, предложил мне уехать в Белоруссию. Фортуна со скрипом повернула свое колесо, и я через несколько дней получил телеграмму из далекой Орши.

На вокзале меня провожал Витя Пьянов. Мы вместе занимались футболом, в одно время начинали футбольную карьеру. Витя по неизвестной причине оставил занятия, мне только запомнилось, как тренер перед разминкой часто спрашивал “Где Пьянов”? Вероятно, наставник видел в моем друге божью искру. А я по иронии судьбы уносился туда, откуда родом моя мама, где давным давно тяжелую травму глаза получила тетя Надя...

Проснувшись рано утром, я вперился в удивительные для степного жителя ельники и сосенники, заводи и березняки.

Потом пил чай и вспоминал вчерашний разговор по телефону с Петром Андреевичем, огорченным моим неожиданным отъездом. “Поиграешь и возвращайся, ты птица высокого полета...”, посетовал мой первый тренер. А я еще не знал, что навсегда останусь в краю крапив, осотов, пижм, что увижусь с великим педагогом незадолго до его смерти только через тридцать долгих лет...

Впечатления

Первое, что я ощутил в новой футбольной команде — чувство сожаления и разочарования. Мне бы появиться здесь, на благодатных витебских землях, на год раньше. Мне не помешало бы поиграть в Германии, куда коллектив выезжал в составе делегации Витебской области по линии культурного обмена в далекие социалистические времена. Само собой разумеется, зависть и негативные эмоции на короткое время захлестнули меня, лишая душевного покоя. До тех пор, пока не высветлилась полная картина случившегося...

Пересечь рубежи милитаризованного Советского Союза в 70 годы прошлого столетия среди простого обывателя считалось пределом мечтаний. А тут такая редкая возможность, ушедшая прямо из-под носа — побродить у “витрины” социализма. Взволнованная повесть о загранице — первое, что я услышал от моего селекционера Анатолия. Он вспоминал подробности и поездку в целом. Он дробил отдельные моменты, превращая обычность в славное приключение, в забавную сиюминутность, удивляя меня, дикаря, закордонными причудами.

“Немцы специально для нас открыли универмаг в выходной день. Мы как ломанулись по двум лестницам, такой гул стоял. У них никто не следил за товарами. Я взял туфли, две рубашки, показал на обувь, быстро сунул в сумку и перешагнул в другой отдел...”

Зависть шевельнулась в моей воровской натуре, любящей взять что-нибудь просто так.

Обида кольнула мое романтическое (оказывается, не романтическое) сердце, взорвались мои негативные эмоции, громыхнув. Я раздваивался между хохотов и всхлипов, терзаясь.

Летели спортивные будни, тренировки, игры, пьянки по поводу выигрыша, проигрыша, просто пьянки, пьянки ради

пьянки, бессмысленные и беспорядочные половые связи. А друзья мои футбольные, нестройно и нескладно, как часть жизни своей (черт побрал бы этих типов), продолжали нагнетать настальгию. И вспоминали, прожигая насквозь мое, ежемгновенно новое естество. Из жизни перейдя, едва ступив на чистую бумагу, сделался сюжет, как черное на фоне голубого.

Толя Каплун: “Я в сумку набросал и того, и другого, немцы вот, — ударил пальцами по уху, — лопухи, ничего не замечают. Даже не смотрят в нашу сторону...” И начал перечислять вещи, смутив меня, ступившего на тропу самопознания и духовного развития.

И подумал я, слава Богу, не попал я, не влез в тот сюжет. Но до чего он хорош для моих приятелей. И повествовал Пашка (царство небесное), и удивлялся я, недоумевая, не понимая действий немецкой стороны. До чего же плох сюжет, который не дан, а устроен. У меня есть выбор, но я в смятении, потому что в истории крайности. И “да”, и “нет” нераздельны, а значит, солнце и лед перепутались как понятия. Как тогда понимать: Вратарь и Сусман с восторгом, взалхлеб воскрешали события, смаковали, как ребята едва не подрались из-за ворованной шмотки. Как вообще что-то понимать при таком раскладе?

“Я схватил горсть запанок, высыпал в карман...” — признавались и откровенничали. Позорище обретало завершенность. Толя продавал мне туфли за две бутылки шампанского. Газированное вино выпили в его обиталище, добавили водки, как приличествует, плюс по пачке сигарет на брата. Я отправился на свидание к любимой девушке, огорошив и ее, и родню, узревшую меня во всей красе. Тамара сделала мне литровую кружку кофе, а старшая сестра, которой я очень нравился (жаль, что не заташил в постель) несколько раз заглядывала к нам в комнату — поглазеть на диво нетрезвое. Вот еще еврейский колхоз, пьяного футболиста не видели. Знали бы они, что я вытворял в свободное от свиданий время. Наверное, знали.

Через тридцать лет мы с Витуном шли по Орше (Витун избежал поездки) и соображали, что власти ГДР к приезду нашего свинства готовили персонал “не видеть”. Камеры видеонаблюдения фиксировали события. Посмотреть бы сегодня ту пленку, хотя зачем нам еще раз окунаться в это безобразие...

3:6

Мы, профессиональные футболисты, лежим на пляже после честно оттренированной и отыгранной недели. В случае победы наш тренер Анатолий Борисович Шумский (ныне покойный) собирал нас через четыре дня. В противном случае через сутки — круги, рывки, большой квадрат и прочая муть. Мы томимся под ласковым солнцем на берегу древнего Днепра, несущего воды свои из вечности в вечность. Мы с Витей Долгим, классным полузащитником, отличным человеком, считаем очки наших преследователей по турнирной таблице. На фоне противоположного берега, поросшего редколесьем, мы наблюдаем за мельгешением местных красавиц. Кстати, о той стороне: “Если не поворачиваться, то, — как сказал брат Вити — Коля Долгий, десятки лет ходивший по морям и океанам, — северная Америка...” Так мы как бы частично находимся в Канаде, наслаждаемся лидерством после семи туров, радуемся жизни, изнывая от ничегонеделья.

Рокот мотоцикла слышится, точно с неба. И вправду, откуда же здесь, на пологом пляжном берегу возьмется такая тарыхтящая техника. Старший лейтенант милиции, по совместительству футболист любитель (с большой натяжкой), возникает, словно Вельзевул в лирическом пейзаже. Не подходя к нам, прямо с сиденья своего “Ковровца”, стоя поодаль, кричит, глуша звук мотора: “Грязиловка проигрывает: три — ноль! Спасайте...” Он по очереди везет нас в поэтическую и солнечную Грязиловку, играющую на первенство общества “Урожай” по нижнему дивизиону.

Я быстро переодеваюсь, в общей массе спортивного инвентаря подбираю кое-какие бутсы, выхожу на замену, начинаю “возить чайников”. При определенной подготовке, после специальных физических упражнений таких соперников можно обыгрывать табунами. Я заявляюсь под чужой фамилией, но если присмотреться, только слепой не различит во мне профессионала. Сразу же, обойдя большое количество очень слабых соперников, забиваю первый гол. Вскоре подъезжает Витун, затем Пашка, после Толян...

Мы плетем кружева на половине поля соперника, дергаем в квадрате бедного и наивного защитника, пытающегося отобрать у нас мяч. Мы для него, как команда Бразилии против

сборной СССР в шестидесятые годы. Мы истязаем несчастного защитника пять-шесть раз, он задыхается от рваного ритма, кричит тренеру: “ У них мяч никогда не отберешь...” От перенапряжения бедолагу вырывает...

Минут за десять до завершения встречи счет уже шесть — три в нашу пользу. Худoley, как и вначале, по очереди меняет нас обратно на местных ребят, дает нам по десять рублей. Мы растворяемся в многолюдстве местных болельщиков, большая часть из них, подобно всей стране, пребывает в нетрезвости радуется общему крупному счету. “Ну наши дали, шесть — три”, — там и здесь слышатся ликующие возгласы. Соперник, более сильный, чем сборная Лориновки, в последние минуты вновь имеет полное преимущество, но тут звучит финальный свисток. Ребятам, ни тем, ни другим, непонятно, что же произошло. Куда же испарились те призрачные, вездесущие нападающие, напоминающие волшебников, забивающие голы как-то не по местному, быстро и легко...

Самообразование

Увидев, как легко разгадывает сложные кроссворды мой сослуживец из Москвы, я почувствовал интеллектуальный голод, словесную убогость и с болью осознал недостаток общего образования. В глубине души наметилась склонность к подвигу, к подвижничеству, а небесной канцелярии — хлоп! — поставили печать — выписали ксиву в страну самопознания — влачи мучительный путь к себе!

Я начал учить наизусть стихи. Томик Сергея Есенина я спрятал под подушкой. и повторял, повторял непривычно сладкие строки. После отлежки в санчасти я с удивлением увидел, как солдаты нашей роты, шагая в сторону санитарного узла, приподнимают подушку и рвут горемычного Есенина. Пospешив спасти останки, я обнаружил лишь пятьдесят страниц из трехсот...

С тех пор какая-то страсть к запоминанию поселилась в моей трепетной душе. В сознание, не обремененное знаниями, в память я последовательно вложил бесчисленное количество виршей самых разных авторов советского поэтического периода. Но зачем мне понадобилось запоминать длинные поэмы,

я не могу объяснить даже самому себе. Я двигался к цели, сметая любые преграды. Эпические творения златоглавого рязанского пиита, включая “Анну Снегину” и “Емельяна Пугачева”, я аккуратно зафиксировал. Перейдя к Пушкину, я налег на “Бахчисарайский фонтан”(легкая работа), одолел “Бориса Годунова” (нерифмованный стих). Многие отметили, я значительно прибавил в гибкости мышления.

Мои амбиции удовлетворялись ежедневным многочтением в городской библиотеке. С утра в читальном зале читал один лишь я! Лавина времени разрывала меня, призывая к научению или к тьме, к — быть или не быть, иметь определенную степень интеллектуальной защиты.

Просматривая лавину периодических журналов и классики, я старательно выуживал красивые мысли в литературной бездне, изящные комплименты. Ладнозвучные словосочетания собирались в тетради, распространялись устным образом. На ресторанные вечеринки я приносил своим ребятам специально для них подготовленные комплименты на каждый отдельный случай. Необыкновенная поэзия заключалась в них. Едва ли под сводами провинциального ресторана когда либо звучало: “Душа и тело женщины не только источник наслаждений.” (Если не ошибаюсь, О.Бальзак). Едва ли без моих толкований мои не слишком начитанные приятели смогли бы удивить местных красавиц.

Мои ребята поднимались из-за стола на очередной перекур. В мужской комнате мои ребята вынимали из потайных карманов заветные шпаргалки, еще и еще, повторяя заученные фразы. Я тихо их экзаменовал, давал добро, и мои хлопцы, точно апостолы мысли, несли к дамам сердца перлы мировой классики.

Шумели годы, развивался мой алкоголизм. Первая девушка утомила. Ничегониделанье привело к первым признакам психических отклонений. Пассажиры в общественном транспорте раздражали, темнота пугала, мировая литература не читалась, а вечером невыносимо хотелось водки. И я попытался еще раз взять себя в руки слабым усилием воли...

Медовый месяц

Мужики, у вас был медовый месяц? Ну что за банальный вопрос, конечно! Мужики, вам доводилось проводить медовый

месяц с чужой женой, вместо ее мужа, в буквальном смысле этого медового слова? Мне же и в интимной сфере выпала нелегкая доля. Дерзну обмолвиться следующим образом, унесла его нелегкая в первый месяц семейной жизни бог знает куда. Я не виноват в том, что Тamarочка предпочла смотреть в мою сторону. Я вообще знать ее не знал, слышать о ней не слышал. Просто жил, играл, приударял за девушками с нашего “Легмаша”. Попросту я спешил в кассу за зарплатой, замешкался на проходной, загляделся да не на нее. А Тamarочка, что судьба, поперек дороги повернула — ни объехать, ни обойти. Вокруг люди добрые располагались, сами просочиться на завод не могут. Мы, видите ли, выросли у них на пути, ни к селу, ни к городу. Тут мы на землю опустились. Я подозреваю, чувство вспыхнуло между нашими сердцами и душами.

Я о многом тогда не догадывался, только лишь предполагал, как и свойственно в двадцать прекрасных лет. Ничего еще не знала и Тamarочка, один Бог определил нашу дальнейшую ипостась. У самого турникета на меня смотрела девушка, исполненная любви и поклонения. Ни один моралист не глянул в нашу сторону лживыми глазами лжедобродетели.

Потому что все — только в любви, а страсть узнаваема и почитаема. И нет ничего прекрасней, чем люди, влекущиеся друг к другу на основе высокого чувства. Мы плавно устремились, куда бы подумали, прямо вверх в своей сцепленности. Нет более точного слова. Мы мгновенно приобщились к наипервейшему смыслу бытия — к любви. Мы не собирались разбегаться, огорошенные внезапностью благодати.

Хотя любая неожиданность легко объясняется задним числом, мы отделились друг другу, еще до первого соития, плененные красотой неожиданности, нетривиальностью, божественной самоценностью полученного счастья. Мы безумно любили любить в местах, вовсе не пригодных для встреч. В подъезде на подоконнике безбожно сквозило, а соседи, сговорившись, двигались туда-сюда вплоть до окончания акта близости. После чего мы, обезумев, в сиюминутной чувственности, спускались к водам Днепра, совершая путь к загаданности вещей, делая представимые вещи мира невидимыми. Старая лодка обращалась в диковинное парусное судно, а ее вещи — каждая в отдельности — отпечатлелись в памяти. Мы до невозможности

выпачкали во что-то ее восхитительный светлый костюм, непригодный для подобных приключений.

Тамарочка отдавалась мне всюду, где я видел ее (встречи происходили ежедневно). Именно такое отношение к себе я считал приемлемым, упиваясь внезапно свалившимся на меня даром небес из нетленного хранилища нетленных образов, куда жива моя память в своей памятной единственности.

Помрачение, слепота вместо ее просветленного кареглазого взгляда опустились в один день на меня. Тамарочка призналась, что наш медовый месяц подошел к завершению, что ее муж, уехавший на другой день после свадьбы, завтра возвращается. Она рассуждала о наших чувствах как об отношениях, за которыми ничего не стоит, разве что эхо пустого ведра или отзвук полой души, тяжелоступие греха.

Таковыми оказались тридцать дней, проведенные с чужой супругой, превратившей меня в жертву, имеющего цель сделать жертвой ее. Я наблюдал за странной супружеской парой, еще вчера будучи фактическим любовником медленно уходящей вдаль женщины. Я запоминал ее, уезжающую в далекий город Горький вместе со всей предшествующей греховной жизнью, трудно и мучительно сбрасывая коросту суеты и притворства. И тем не менее, Тамарочка щедро наплатила меня елеем радости и вином любви, подарив мне страсть чужого медового месяца...

Боевое «крещение»

Девушка работала на “Легмаше” учетчицей в горячем цехе. В этом цехе как футболист получал деньги и я, иногда, заглядывая в недра социалистического производства, вдыхая вредный дым отечества. Девушка легко пошла на контакт со мной и я почувствовал — у нас получится служебный роман.

Начало весны команда проводила на тренировочных сборах. Мне ничего не оставалось, как пригласить девушку в номера. Перед выходными тренер уезжал к семье, назидая: “Смотрите, чтоб все в порядке...” Только фигура тренера таяла в извивах оснеженной тропинки, ведущей к автобусу, народ оживлялся, как будто на улице стоял жаркий майский день.

Я распахивал по тумбочкам и шкафам спортивную форму, резко пахнущую потом. Я прыскал по углам тройным одеколоном, а Витун от души обхохотывался, смотря на мои

жениховские приготовления. И подначивал, и подтрунивал, и поддевал: “Жених, бальзаминов, клоун...”, вываливая в ситуацию бесконечный синонимический ряд подколок. И хохотал пуше прежнего, видя, как я “точу” пробор в непослушных, плохо вымытых волосах.

В тумбочке (Витун и не подозревал), завернутые в трико, притаились коньяк и шампанское. Обычно мы встречали дам напитками попроще, а тут — такой случай, короче, я боялся прослыть осмеянным. Моя угодливость истончалась до прямолинейности, И Витун отправился ночевать домой.

На стук в дверь я среагировал мгновенно: “Войдите...” Милая девушка впорхнула в мой холостяцкий мир. Комната наполнилась светлым образом, привнесшим магию чувств. Сделалось чудо, претворилось в личный опыт ощущений. Девушка с низкой самооценкой буквально отпрянула от щедрого угощения. “Толя, вполне хватило бы бутылочки шампанского...” Мы, не спеша котейлили, встретившись в пору любви, и мы любили. Моя душа торжествовала от свободы. Никто нас не беспокоил. Все шло так, как хотелось мне. Девушка послушно и женственно отдавалась порыву, а после выпитого казалась еще прекрасней.

Первая проблема вызвенилась в ночной песне расставания. Я предложил чудному созданию остаться до утра, она же с неколебимым упорством засобиралась домой, ссылаясь на строгие домашние правила. Опыт личных отношений, перетекающий в судьбу, приобрел оттенок горечи, необъяснимой досады. Она предложила пройтись пешком, долго смотрела в глаза доверчивым взглядом, положив руки на плечи. Но пуганный темнотой, боится и сумрака. Где уж мне одолеть непостижимый барьер страха перед ночными бдениями. Доверительность пошатнулась в сторону небытия, звеня иной песнью. Она растаяла в гущине мрака, скрипя новыми сапогами по ухоженному снегу.

Вторая проблема выделилась на конце деторождаемого органа. Канал, при надавливании, упрямо низвергал утреннюю каплю. Мочеиспускание вызывало усиливающуюся резь. Гонорейные симптомы проявлялись быстро. Делатель кожно-венерических дел отчеканил: “Или ты называешь ту, с которой спал, или получишь 200 уколов от сифилиса для профилактики...” Так дешево меня купили. Я назвал место работы девушки.

Спустя полгода я встретил ее в цехе: “Что ж ты ходишь-бродишь, хворьями награждаешь нас?” — как-то мягко заметила учетчица. Но чувство вины не затронуло меня. Гонорея не мною начата, не мною исчерпана, к сожалению, неиссякаемая, как любовь. Чем же она отзовется? Или завершится раз и навсегда.

Кожвендиспансер

Моя эпоха “болезней любви” завершилась так же быстро, как и началась. Девушка из предыдущего эпизода моей жизни пронесла меня над поверхностью венерических вод, как некий дух, что формовал стихию. И огонь окаменел. Первый трихомонад я “подцепил” от Людмилы. С ней по очереди спала вся команда, а болезнь отозвались в моем инструменте удовольствия сперва легким щекотанием, неприятным зудом, темно-зелеными мутными выделениями. Главврач Сергей Сергеевич взял у меня мазок, отдал сотруднице стеклышки со слизью, произнес таинственный медицинский термин: “Цито!”

Выпив вызывающий тошноту трихопол, я предстал перед главврачом без свидетелей, отдал армянский коньяк. Он посмотрел анализы: “Все хорошо, на всякий случай сделаем промывочку раствором серебра...” И усмехнулся. Жидкость вогнали в канал, на конце завязали бантик и рекомендовали держать не менее тридцати минут. Я шел враскорячку. Жжение в канале усиливалось. Я понял, назначенное время раствор мне не удержать. Я завернул в кладбищенский туалет, кляня женский пол, развязал тугий узел (хорошенькое дельце), выпустил серебро и помочился. Никто не рассказал мне о боли, возникающей в канале при малой физиологической потребности. Я двинулся в город еще медленней, переживая невиданные доселе ощущения.

Через месяц я вновь маячил перед главврачом, терзаясь очередной гонореей. В этот раз специалист выписал набор таблеток. Я продолжал тренироваться, нагружая ослабленный организм двадцатью четырьмя таблетками ежедневно. В период лечения высокие нравственные мысли посещали мой смятенный разум. Я принимал решение вести достойный образ жизни, найти девушку. Но опять последний мазок, провокация

(водка, селедка), еще раз контрольный мазок. “Анатолий, у тебя явно избыток спермы, тебе надо жениться...”, – советовал мудрый доктор.

Спустя три недели мы с доктором любезничали в его уютном кабинете. “На сей раз у тебя “букет”, гонорея с трихомонадом одновременно, – рассуждал Сергей Сергеевич, – вначале “убьем” гонорею, затем возьмемся за второе...”

“Может быть, обойдемся без “провокации”, – заискивал я перед врачом. “Нет, Анатолий, любишь гулять, люби и отвечать.” Медсестра безо всякой жалости, “с любовью” вогнала в мой многострадальный канал раствор серебра. Я убито поплелся враскорячку со скоростью три метра в час в свой дежурный кладбищенский туалет.

Семь гонорей и шесть трихомонадов свалились на мой несчастный фаллос. 84 тайных и официальных мазка сдал я в эпоху кобелирования. В последний раз (надеюсь, что это так) в мазках что-то не сходилось. Меня послали в областной диспансер (уникальный случай для местной больницы). А Сергей Сергеевич (ныне покойный) подводил итоги: “Анатолий, когда построим новую больницу и заведем книгу почетных больных, твое имя впишем на первой странице золотыми буквами”, – пошутил, скребя стеклышком по каналу моего фаллоса.

Деньги Бороды

В начале 70 годов прошлого столетия в Витебской области прогремело криминальное дело начальника Оршанского райпотребсоюза, одного из выдающихся деятелей теневой экономики времен социализма Матвея Захаровича Бороды. Через несколько лет в очаровательную, тюремно-пивбаровую провинциальную Оршу приехал я – играть за местную команду на первенство республики. К тому времени великий комбинатор уже прозябал в одной из колоний Вологодской области. Но всякий раз, гуляя по улицам городка, мои сверстники указывали на миловидную девушку: “Смотри, вон та, справа, дочь Бороды...” На мое вопросительное молчание Витун, Капа наперебой посвящали меня в вымышленные подробности, но в каждом источнике явственно прослушивалось: “Деньги Бороды не нашли...”

В ту пору я заполнял духовную неполноту бредовыми идеями, ища легких путей. Золотой момент для лукавого. Великий отрицатель дел божественных развернул бездну и ткнул носом в изречение Синклера Льюиса : “Женитьба должна составлять половину карьеры...” Конкретная мысль, природный авантюризм моей незрелой натуры с алчностью повели меня к действию.

Нет ничего проще – познакомиться с девушкой, желающей того же, что и ты. Встречая темноволосую красавицу, я начал кивать ей головой, дарил улыбку. Она первая пригласила меня на белый танец в городском саду. Я провел даму домой, а назавтра, как мы условились, началась эпоха поцелуев. Ее мама весь день прозябала в библиотечной тягомотине, и мы использовали квартиру, как молодожены.

Иногда Тома отлучалась по делам, и я рыскал по комнатам, воображая, в каком же месте спрятан тайник с деньгами. Я открывал холодильник, набитый деликатесами (в несытное время 70 годов), и тихо воровал одну баночку чего-нибудь на потом (в основном брал печень трески).

Тамара выросла в атмосфере всеобщей любви. Ее способность отдавать чувство оказалась исключительной. До возвращения мамы квартира полыхала страстью нашей молодости. На вечерние тренировки я плелся очень “растренированный”. Витун непременно задавал колкие вопросы: “Сколько?” Тренер спрашивал: “Что с тобой?” Я же с умилением вспоминал выдох Тамары у двери: “Не пушу...”

Вскоре я познакомился с мамой. Интеллигентная женщина устроила праздничный стол с шампанским, Тома вызвонила подруге. Взглянув на чернявую девушку, я понял, гореть мне в геенне огненной. Подруга отдалась мне на третьей секунде, как только я намекнул ей, что вечером зайду в гости. Так и повелось, рано утром я залетал в постель к подруге, а через пару часов поднимался двумя этажами выше к Тамаре.

Девушка постепенно посвящала меня в тайны семьи, я же изображал неведение. Матвей Захарович в письме просил выслать ноты. Я попросил знакомого музыканта, заплатив ему. Через несколько месяцев из Вологды поблагодарили: “С меня сто граммов...” Так я заработал сто очков у самого Бороды.

Мама уезжала на свидание к папе. Мы изнуляли себя любовью. Моя любимая крепко спала, а я думал, где же деньги Бороды? Тогда я не оценил жест Провидения, столь щедро ода-

рившего меня девушкой, умеющей любить, думающей лишь о том, как сделать меня счастливым. Но страсть хотеть больше того, что тебе положено небесами, наказуема, и чуть позже Бог лишит меня разума...

Евгений Онегин

“Зачем тебе это надо?” — спросила моя девушка Тамара, узнав о намерении выучить наизусть “Евгения Онегина”. Зачем намереваюсь запомнить сто семьдесят страниц рифмованной поэзии? Нет ответа, все целеустремленные люди — безумцы. Где уж понять меня прагматичной Тамаре, слушая бредовые идеи фанатика самосовершенствования. Хотя с точки зрения здравого смысла тогда в СССР всего два человека (если не врут) знали на память поэму “Евгений Онегин”. Где-то в средствах массовой информации проскакивала такая информация. Кстати, неизвестные мне люди, вложили в себя творение российского африканца для работы, по необходимости, ради корыстного интереса, на поводу тщеславия. Я же решил познать тайну дивного российского творения, что называется, для души (бесплатно), душевного богатства ради. И так мечталось: где-нибудь зачнется спор о тайнах “Евгения Онегина”. И я, скромно сидящий в углу, одиноко томящийся на грани хандры, вдруг цитирую на память строфу за строфой. На том и порешил я. И вот иду осенним, мокрым берегом Днепра. И вот заглатьяваю первую главку.

Вот месяц прошел. Та же темная водянистая зыбь, тот же порывистый приречный ветер, тот же колокольный звон на противоположной стороне. Те же чувства, только на иной, более прочной основе, потому что около тридцати отрывков неизменно вложены и последовательно сохранены в глубине. Как и планировал, в день по пятнадцать — тридцать строк. Во время утреннего прохождения обязательный повтор заученного. Перерывы и паузы исключены. Перевалив за середину поэмы, я поверил в успех. Я понял, я осознал, я могу заявить во всеуслышанье: запоминанье наизусть 170 страниц гармонии требует большого гражданского мужества и является культурным подвигом в общем движении культуры.

А Тамара раздражала меня общим и частным непониманием, равнодушием к моему рвению, к моим высоким целям, к

выдающимся интеллектуальным поискам. Мне так хотелось, чтобы она восхищалась мною, гордилась, что у нее, серенькой еврейки, такой умный и красивый парень. Ей не приходило в голову — меня надо беречь, но знак земли (Тамара) супротив знака воздуха (это я) — червь презренный.

И объяли меня воды Славутича до пояса. Возвращаясь от церковки по льду, я неглубоко провалился в ледяную воду. Как будто Господь окрестил меня по поводу завершения моего подвижнического труда, по поводу научения меня слову пушкинскому. Одним словом, ровно год пролетел, гроыхнул по истории культуры ямбом блистательным. (Не ахти какое событие). По такой причине влачился я, не в себе находясь, с того берега церковного. По этой причине и окрещен оказался. Побегал на восхолмие, одежды новые надел, впечатления запечатлел, так себе, ничего сверхэмоционального, быстро и не страшно, как при потере памяти, и темно, и не больно, но лучше бы во сне.

Я повторил 170 страниц еще раз, и бесконечная пушкинская вязь уютно улеглась во мне. С неземной печалью я осознал, что мне не с кем поделиться. Тамара, потеряв надежду выйти за меня замуж, укатила в столицу. Витун потащился на заработки. (Заработал двадцать пять тысяч и все прогусарил). Пушкинские строки долго мешали мне сочинять собственные стихи, внося неповторимый колорит в мою поэтическую индивидуальность...

Ничтожество

Тамара беременела от воздуха. Я утомился тратить деньги и нервы на устранение последствий. Как обычно накануне близости, я размягчался под звуки музыки, несущиеся из магнитофона и забывал о предосторожности. Через полтора месяца мы вновь поднимали на ноги всех знакомых. Я приобретал достаточное количество “Синистрола” (кажется, он так назывался). Тома раз за разом выгоняла меня из кухни, делая укол. Моя будущая жена терпеливо высидивала положенные часы в ванной. Она прыгала с дивана на пол так неуклюже, что несколько раз в дверь звонили соседи с нижнего этажа, удивляясь, что за шум в интеллигентной и всегда тихой квартире.

Но беременность имела место быть. Я опять чувствовал себя ребенком, мечущимся перед ответственностью за свои поступки. Мне казалось, женитьба отнимет свободу, что в свою очередь воспринималось как личная трагедия. Я метался загнанным зверьком, я искал выход, но впереди маячил тупик и проклятая женитьба. Параллельный роман с эмансипированной Залевской не давал ощущения защиты, убеждая как раз в обратном. В близости Тамара неизменно первенствовала, казалась желанней, сексуальней, раскованней. А Нинель Залевская однажды неоднозначно очертила свою нравственную позицию: “Я с мужчинами непостоянна, но делаю это постоянно...” Поскольку верность в отношениях для меня всегда считалась основополагающей, то чаша весов склонялась в сторону Тамары. А там имела место быть беременность.

От страха я мечтал о кончине света, даже о смерти Тамары. Я вынашивал внутреннюю готовность совершить подвиг во имя родной страны, но Родина-мать безмолвствовала, земля не разверзалась, пришествие Спасителя задерживалось. Перед наступающим 1978 годом у меня накопилось проблем поболее, чем у деда Мороза. Мог бы дедушка Мороз и пощеднее оказать, одарить меня благодатной вестью, произнести устами Тамары по телефону: “Все нормально...” И я вновь содрогался от предстоящей перспективы, курил и вновь звонил...

“Я рассказала своим, — первое услышал я на другом конце провода. Мои хорошо тренированные ноги подкосились, холодная колючая снежная выюга превратилась в пекло. — Ты скоро придешь?” Едва продышав “да...”, я двинулся сдаваться медленным шагом, окружным путем, по глубокому снегу. Как известно, не спеша, идешь быстро. Тома выглядела настороженной. Ее взгляд изгибался сплошным вопросом. Муж старшей сестры томил плоскими шутками: «Ешь больше мяса, тебе сейчас нужно...» и многозначительно улыбался...

Я выходил курить, боясь родственников, самого себя, Тома и надвигающихся событий, того, что навалилось на мою бедную инфантильную голову. “Ты ее любишь?” — спрашивала девушка. Я отвечал уклончиво: “Я отношусь к ней так, как ты ко мне...” Звучало жестоко и безответственно. “Я сделаю все, чтобы ты был счастлив, я буду такой, какой ты захочешь...” — умоляла меня дивная душа, а я слушал, не слушая. В прихожей я произнес: “Знаешь, я выбираю ее...” Я мгновенно оделся,

исчез. Зять хотел догнать меня (он занимался борьбой), но Тома качнулась, падая в обморок, чем задержала нетрезвого праведника, предоставив мне зеленую улицу.

Едва добравшись до нашего секс-дивана, Тома, словно окаменев, просидела на нем до утра, а родные всю ночь рассказывали ей, какое я ничтожество...

Кефирная сила

Тамара Михайловна, одна из многочисленных “любимых” женщин моего друга Витуна, соблазнителя более изощренного, чем Казанова, стояла передо мной, держа в руках сетку с тремя бутылками кефира (тогда кисломолочная продукция продавалась в стеклянной таре). Тамара Михайловна занимала важную стратегическую позицию, закрывая мне путь к отступлению. Она располагалась по отношению ко мне боком, как бы собираясь садануть мою похотливую физиономию кефирной полутарокилограммовой массой в височную часть. Женщина самым серьезным образом выясняла, спал ли я с ее шестнадцатилетней дочерью Линкой? Мать школьницы произносила вопросы тоном, соперничающим с гулом оживленной магистрали, расположенной у нас за спиной.

Еще недавно мы здоровались при встрече, мы обменивались любезностями. Еще недавно я не знал о ее семействе ровным счетом ничего — до того момента, пока Витун не потащил меня к ней в гости (для прикрытия). Мы выпили, произвели друг на друга впечатление, вывалили дежурные остроты и анекдоты. Любовники рано легли в дальней комнате, шумно захрипели томными кроватями, застонали неземными голосами страсти. А мы с Линкой, выглядевшей вполне взрослой женщиной, устроились в детской и целовались до посинения губ, но не более того. Гонимый страхом, боясь оказаться уличенным, я прервал безперспективное занятие, разочарованный побрел в среднюю комнату на указанную мне постель. Минуя громко шелестящие шторы-висюльки, я бросил через плечо в сторону провожающей меня взглядом молодайки: “Я приду позже...” В безмятежной тишине наступающей ночи висюльки звучали пушечной канонадой.

Всю ночь я не сомкнул глаз, ожидая дежурного выхода любовников в ванну-туалет, чтобы потом сигануть в постель к

соблазнительной молодой девчонке. Уже не гудели автомобили за окном третьего этажа, уже спал усталый город, а Линка, воячаясь в девичьей постели, ждала и ждала моего пришествия. Я же юлой крутился под жарким одеялом, не решаясь перейти Рубикон, одолеть непроходимые замороженные висюльки. Утром за чаем Лина шепнула: “Я ждала тебя всю ночь, позвони мне через пару часов...” Мое сердце затрепетало от радости и волнения.

Ровно через сто двадцать минут, как только я позвонил, трубку сразу подняли. “Приходи скорее, мама ушла до вечера...” Вскоре мы занимались прелюбодейством без последствий. Я умело не завершал таинство. Даже чрезмерная девичья скованность в близости, ее неумение и страх, ничуть не умаляли ее очарования. По местным каналам мне уже сообщили о ее вольном поведении с мальчиками. Так что я знал точно — она не девственница. Но еще более точно я знал другое — каковы последствия при растлении несовершеннолетних.

“Не залетишь?” — интересовался я, движимый тревогой. Вероятно, она боялась последствий, так как очень быстро отреагировала: “Я не беременею...” Но сильно побледнела в лице. Вечером она открылась маме. Не знаю, о чем, но сказанное посадило маму на коня и основательно.

Вот и стою, загнанный в изгиб парапета, учу еще один урок жизни: “Тебе что, прости, тётток мало? (и то правда). Дать бы тебе с размаху вот этими бутылками... А сама между делом выясняла, — скажи, Линка — девушка?” (Господи, никогда не пойду в блуд, в такие мгновения не врешь). Я Линку не выдал, отвечал туманно, типа “не помню”, “не разобрался”, все силы тратя на возможное отражение удара непредсказуемой кефирной силы...

Мельников-Печерский

Игровой сезон завершился. Улеглись футбольные страсти. Когда футбол — профессия, то едва ли к нему относишься, как к игре. Когда футбол — утром, днем и вечером, и всегда, то едва ли к середине осени сохраняются хоть какие-то трепетные чувства к любимому занятию. Сказать по правде, ничего не остается, кроме опустошения, одиночества и усталости. Футбольные эмоции причесались, притихли, перетекая в другие русла моего «хочу».

Может быть, в листопад, набирающий силу над моей головой в светло-желтой, наполовину пурпурной кленовой сени, в пламенных шевелюрах, венчающих сырые кроны, стоящие за главным корпусом дома отдыха. Быть может, Первомастер таким образом задумал футболистов, наделяя их поэтическим воображением. И что прикажете делать в отпуске неженатому, полному невытрезившейся энергии молодому человеку? Вот и гуляю, вырванный из физических нагрузок, вдруг отлученный от тренировок. И не понимаю своих желаний. И не слышу своего сердца, стучащего трепетно и страстно. Надо мною сумрачно парят кленовые листья. И только они приближаются, я вижу их таинственные лики.

Мне невдомек, что себя нужно творить заново, даже на один день. Я убываю от реальности в миф воображения. Но следом начинается новый день. Дымкой утренней окружена, ты гуляешь, ангел, взявшийся невесть откуда. Ты, только что проснувшееся диво, берешь меня под руку и ведешь в тайну. Ты лежишь в моей постели, нежна необыкновенно. Золотым колечком вокруг твоего запястья красуется луна. Твои персты легко прикасаются ко мне. Но главное ускользает от моего внимания. Ты библиотекарь в этом же доме отдыха.

Утром я миную аморфную пустоту твоего отсутствия, врываюсь в твое царство проштампованных книг. Ты зришь свысока чужими очами, ты опускаешь веки, ты дрожишь вся, начиная от ресниц. Ты медленно совершаешь ритуал убийства любви: “Я во всем призналась мужу, я сказала, что развожусь с ним, и он простил меня.”

Только потом я обратил внимание на резко очерченные бессонницей круги под твоими глазами. Только потом чувство тревоги шевельнулось в моей душе, а твои слова прокатились грозным свидетельством истока ненависти.

Как же мне захотелось отомстить! Как же — мгновенно — любовь, некий жрец формы и придумщик, обращается в противоположность. В мое истинное “Я”, выволоченное из-за спины, лукавый швырнул уголья. Я взял с полки книгу Мельникова-Печерского, запихнул под брючный ремень, укрыл свитером и тихо застегнул молнию куртки. Для отвода глаз выбрал для чтения Чехова.

Ежедневно я выносил по одному тому издания 19 века. Ежедневно ты вычеркивала из моей карточки “лжечтиво”,

не удивляясь, не поднимая глаз. Я топтался в крохотном читальном зале, как на обломках любовной катастрофы и не уходил, формалист по природе. Мелкая душонка, тайный злодей алчбы, выросший из мрака пресноводья. Я ждал восхода твоих очей, но страсть одного дня коснулась нас, поникла, распростерла крыла свои сухие. Мне показалось, по твоей щеке протекла слезинка. Мне подумалось, ты догадываешься о Мельникове-Печерском...

Заля

Когда над сторонами улиц сошла тьма и схлынул зной, Витун предложил мне отправиться в гости на окраину города. Витун представил меня своим новым знакомым. Для провинциальной скуки и низкоинтеллектуальной рутины они заблистали светильниками разума, подвижниками интеллекта.

Жаклин (Заля появилась позднее) выучились в столице. Их не наставительные речи сильно отличались от местного плоского шутовства. Мы с Витуном плавно перетекали в их поклонников, становясь последователями их образа мышления. Девушки истинно глаголили! Их мысли будоражили разум. Их гостеприимство казалось актом культуры и обдавало парижской экзотикой и хлебосольством. Нас встречали как заморских послов. В комнате струился голос Дениса Роусиса. Он стекал по теньям, падающим от темного бра в бокалы с сухим шампанским.

Заля подавляла пиршество шумным явлением. Она глядела блестящими глазами, тоскующими по любви. “Виктор Наполеоныч”, — утонченно обращались дамы к Витуну и он (император всюду император), размягченный напитком богов, изрекал остроумный и как всегда блестящий монолог о смысле жизни.

“Апполон Никифорович, ваше шампанское, — предпосылали дамы развернутые уроки моему сознанию, утомленному многочтением. В уроках прочитывалась исходная увлеченность и заинтерисованность моей персоной. Я чувствовал здесь источник предстоящих общений, тоскуя по ком-нибудь.

Залю я привлек наивностью, внешней доступностью (возможностью выскочить замуж) и, конечно же, инфантильностью (мечта всех засидевшихся невест). Ее поклонник, увлеченный

Залиной необычностью, не мог взять в толк, почему Заля выбрала меня. Самодостаточный, интеллигентный мужчина часами выстаивал у Залиного подъезда, ища встречи, прося показать хотя бы мою фотографию. Он долго всматривался в мое лицо (хоть бы не сглазил, козел), переводил взор на свою мечту, но сказка отвечала неизменное “Нет”. И он ушел.

Заля любила метафорически равно как и ревновала к Жаклин. После дня рождения мы проснулись практически пьяные. Заля побежала на работу отпрашиваться (преподавала в училище ин. языки). Я же, ссылаясь на холодное одеяло, нырнул в постель к Жаклин. Томясь нехорошим предчувствием, я успел завершить таинство и покинуть округлые черты горячей женщины Я только успел повернуться лицом к стене, как влетела Заля классическим выражением ревности и недоверия. Она окинула пристальным взором подозрительную сцену, как бы невзначай войдя в наши отношения, уже исполненные стыни.

Перед сном Заля мыла мне ноги и, школьничая, спрашивала: “Ты разрешаешь мне выпить воду?” А вскоре Заля привезла мне трихомонад из витебской командировки. Полгода я ей не изменял, отчего присутствовала уверенность в себе. В отяжелевшие миры моих чувств ворвалась мстительность. Я со злобой топтал битый мрамор и замшелый гранит любви. Я послал Витуна сообщить Зале, что у меня проблема, что мне нужны деньги на лечение, помня о ее мнительности и нервозности. Сказать о своих чувствах я не мог.

Заля, выйдя замуж за нелюбимого художника, родила двух девочек, называя мужа “мой абориген”. В речах звенел цинизм. Я остро почуял, не нынче, так завтра время вычернит ее зеленые и фальшивые слова...

Мои недостатки

С чего все началось? С восстановления, упорядочения образа обычной, будничной жизни. Ее следовало бы сложить заново. Я занялся именно деланьем себя из духа и свободы.

И тут случилось преобладание грехов, как обычно бывает при следовании, при мучительном поиске Бога во тьме крошечной и непроглядной. Нечаянное и незначительное чудо — понимание, что я не всемогущ, я не Бог, еще не произошло. Амбиции

так бы и оставались во внутреннем самодовольстве, не загляни я на огонек самопознания. Но события происходили за век до духовного пробуждения. Мгновение для вечности. Я вдруг заболел грехом осуждения. Вирус гордыни поразил мою плоть, душу и сердце. Требовалось лечение физическое, психическое и социальное — мне, дотоле неведомому в кругах духовных.

Пока чудные дела божии не осветили мой новый земной путь, пока не ясно — для чего — тут-то и проступили очертания меня — настоящего. В один миг я прозрел не в ту сторону.

Я начал замечать, видеть, обнаруживать, выявлять, подчеркивать чужие черты и недостатки. Как водится, мой испепеляющий взор, внимание мое сосредоточилось на тех, кто рядом. Я слушал откровения друга — это ведь исповеди — и думал, зачем он мочится в раковину, деревня. Нечаянно раскрытая страница души чрезвычайно заинтересовала мое любопытство. Кому не охота заглянуть в святая святых человеческой души? А тут перед тобой распахивают грешную душу. “Ты знаешь, я сорвал кружку в церкви с подаванием” — вспыхивало покаяние человеческое, откровение личности особенной, недюжинного жизненного племени. Человека, рожденного обществом бесплодным и чудесным, легким и необыкновенно талантливым, нравственным и пронизанным греховностью.

Мы путешествовали по безделью и алкоголизму, мы двигались из ниоткуда в никуда, мы сжигали время в топке вопиющего непонимания кратковременности и непродолжительности земного человеческого бытия. Живые романтические сердца, умные до полунамека, проникновенные до взгляда, простые и непостижимые непосвященным. Мы с таким трудом выбрались на тропу сокровенности, преодолев внутреннюю сложность сердца и боль души, так противящейся открытию святая святых для всеобщего обозрения. Чтобы туда проник луч разума. Вспыхнув, зачал бы великое дело.

Он как бы плакал, осознавая содеянное им. Он трудно и медленно вспоминал и, кажется, не для меня, для собственного спасения. “Признаюсь, я уезжал домой, мы стояли с другом во дворе. Мимо прошла женщина в дорогой шапке, на руках блистали многочисленные золотые кольца. Я сказал другу: Подожди минуту и бросился за ней. Я ударил ее по голове, затащил в подъезд, снял шапку, несколько колец и вернулся к

другу. Я быстро с ним попрощался, прыгнул в автобус и уехал на вокзал...”

Потом я наблюдал, как он воровал декоративную плитку для тротуаров. Потом я видел его, когда он украл одеяло в гостиннице. Чуть позже я узнал, что его поймали с поличным во время “чистки” карманов нашего коллектива. Он был с позором изгнан. Тогда я ничего не понял. Но тогда проступили очертания образца, случайно разверзлась страница моей личности, и я узнал в нем себя. Много из того, о чем он плакался, сидело во мне. Его словами Небеса обращали мой взор на самого себя. Его честностью небеса извлекли меня из-за спины моей и поставили меня лицом к лицу самого перед собой. Смотри на свою нечестность, уродливость и нечистоту! Ужас объял меня от небесного деяния. Порывался я бежать, куда глаза глядят, но силы оставили меня. Я пытался отвести взор от себя, но мой друг вновь ставил меня перед самим собой. Он будто приковал ко мне взор мой. Я нашел неправду в себе и отверг ее и возненавидел ее. И я крикнул себе, что знал о ней раньше, но боялся и молчал. Не потому что забывал, а потому, что был нечестен перед самим собой.

Северная Пальмира

“Понятно, свободным искусствам предшествовали великие переживания, предварявшие все остальное, многое и абсолютно все...” — примерно такое рассуждение считывала Заля со своих многочисленных извилин, переполненных вовсе не женственностью, украшенных отнюдь не смирением. Я смотрел на эмансипированную женщину с обожанием подростка, выпестованного ризорами недуховной обстановки. Я чувствовал в той или иной мере стыд за сплошную внутреннюю профанацию, за свое бесконечное незнание, неумение сказать так, как надо и то, что следует говорить в данную минуту в Эрмитаже, стоя у мраморной фигуры Венеры Милосской. Я молчал с большим тайным смыслом, боясь изречь что-нибудь глупое, неуместное. Я пытался ощутить некий трепет перед гениальным творением, но испытывал лишь тягостный гнет интеллектуальной беспомощности и ловил себя на том, как приятно казаться загадочным и слыть молчаливым. И отталкиваться от реальности таинственными и пустыми односложностями.

Я, не отрываясь, глядел на скульптуру, медленно возвращаясь на грешную землю, осознавая, что Витун и его утонченная Жаклин, наблюдая, смеются над моим глубокомысленным видом. “Толян, о чем думаешь?” Я медленно повернул голову в их сторону, улыбкой ответил их улыбающимся лицам, изрек: “О вечном...” Я прекрасно осознавал, Заля ловит каждое мое слово, Заля таким образом погружается в мою суть, ища во мне сладкий обман многочтения.

Впрочем, от постоянно действующих экспозиций быстро устаешь. Нужно долго готовить себя к живописной учености. Это обстоятельство не требует тонких наблюдений. Нормальный человек, сформированный на задворках цивилизации, едва ли находит трепетные чувства среди произведений искусства, источающий не всегда положительную энергию.

В таком хаосе рассуждений мы двигались вдоль Казанского собора, целуясь и фотографируясь, школьничая и снова обнимаясь. В Ленинград (времена 70 годов прошлого века) мы попали по милости наших любимых женщин. Они предложили нам влиться в состав туристической группы от строительного училища, мы согласились. Мы вели себя раскованно и свободно. Мы распоясались и расположились на заднем сиденье в одном нижнем белье, вначале смущаясь преподавательского состава, пока мастера училища не начали прикладываться к вонючему самогону.

В Ленинграде у меня непрестанно кружилась голова от впечатлений, от избытка увлеченности, от чувства вины за мой тощий кошелек. Как раз дело дошло до угощения в театре, накануне блистательной пьесы Бернарда Шоу “Корзина с яблоками” и, конечно же, блистательная Заля, равно как и дама Витуна, отдали нам свои кошельки в полное распоряжение. От жадности мы съели все бутерброды на столе в фойе, скоренько вылакали марочный “Портвейн”. Позже мы без интереса разглядывали сцену, наблюдали за действиями артистов, но нам очень хотелось добавить вина. Мы лорнировали героев спектакля, но думали о другом.

И как мне показалось, мир изменился, Заля виделась будущей женой, умной, интеллигентной, а друг Витун с Жаклин и с тремя детьми приходили бы к нам в гости. А мир, напротив, радовал бы нас своей вечной новизной, как эти не

всегда понятные произведения импрессионистов, к которым я так стремился и которые меня ничем не удивили, но скорее разочаровали, производя одно лишь тягостное впечатление. Я до боли в глазах пялился в золотисто-табачные цвета какого-то автора, боясь, что Заля не поверит в мою высокую и духовную цель в указанном небесами смысле. Пока моя ученость не была вышколена, а моя закваска интеллектуала не отдавала брожением. И я без конца подозревал, что Витун и Жаклин насмеются надо мной, глядя, как я корчу из себя видавшего виды знатока, мучительно выстаивая у каждой картины, у любой скульптуры, запоминая и впитывая, страдая и любя этот чарующий и неповторимый Ленинград...

Моя команда

У всякого профессионального футболиста есть команда, с которой он играет лучше обычного. Например, киевский динамовец Евтушенко всегда блистал именно против одноклубников из Минска. А мой соратник Ленька Заикин, самый смешной защитник всех времен, почему-то часто забивал в свои ворота. Мне же фартило с “Локомотивом” Барановичи.

Итак, мне двадцать два, я легок, как Гарринча, я эмоционален, как бразилец Андерсон из “Манчестера...” В ответ на информацию диктора по стадиону о моем дне рождения болельщики одаривают меня аплодисментами. Играю необыкновенно легко, кладу два гола. После игры, как обычно, пьем на берегу Днепра либо за выигрыш, либо за поражение, а сегодня, известно, за меня. И дальше по сценарию: танцы, девушки, утреннее похмелье...

Во втором круге, опять же в Барановичах, я автор двух голов. После тот же распорядок, только в чужом городе держимся вместе. Черверо наших Вова Моргалкин, Бера, Думанов и Комаровский — бексеры. Если возникает потасовка, мы, как правило, в накладе не остаемся, боясь только за Мишку Кожемякина, он в нетрезвости агрессивен и не опасен. Пристал на днях по пьянке к таксисту, тот, не долго думая, вклеил Мишке по сусалам, наш полузащитничек так и растянулся на грязном асфальте.

Самый недрачливый среди игроков “Старта” — я. Потому что мой удел — библиотека, интеллектуальное развитие. В

каждом городе я ищу читальный зал, учу наизусть полюбившегося мне Есенина, вызубрив до этого “Бахчисарайский фонтан”, “Борис Годунов” и — моя гордость — сто семьдесят страниц (отдал год жизни) “Евгений Онегин” — на память, не для зарабатывания денег, а для удовлетворения амбиций и для украшения духа.

Спустя год, руководство “Локомотива” предлагает нам поменять в календаре очередность игр в связи в каким-то местным праздником и приурочить к нему игру с нами. Нас хорошо встречают, мы же, пользуясь отсутствием тренера, весь вечер пьем “Рислинг”.

В полночь все засыпают, а я, подогретый вином, читаю наизусть все подряд.

Встречу выигрываем 1-3, причем третий гол я забиваю, просто избавляясь от мяча, ударив его изо всех сил в сторону ворот соперника, растягивая время, ожидая финального свистка. А все кричат: «Толя, гол», потому что я бегу в обратную сторону и не вижу результата.

В раздевалке второй тренер Геннадий Голубович отмечает: “хорошо вчера готовились, режим соблюдали, молодцы...” мы переглядываемся с улыбками, знал бы он, сколько сухача мы вылакали, сколько этой кислятины выжрали. Потом тренер выясняет, кто же вытер руки о чистые шторы в туалете, глядя на меня, акцентированно переспрашивает: “Толя, ты не в курсе?” Я его ненавижу в эту минуту, меня трясет от возмущения и несправедливости. Поднялся Кожемякин и сделал признание, я бы, наверное, не смог так поступить. А вскоре Мишку отчислили из команды, вся его жизнь пошла наперекосяк. На производстве ему оторвало руку, от него ушла жена, он не справился с навалившимся алкоголизмом. Поддержать Михаила никто не смог, я уехал в Минск, группы Анонимных Алкоголиков до Орши не дотянули, и ушел в небытие добрейший Михаил Кожемяко, повторив судьбу многих футболистов, навсегда потерянных в реальности.

А я часто предаюсь футбольным воспоминаниям, с удивлением пытаюсь разгадать сию тайну футбола — загадку “своей” команды...

Велосипедистка

Моя дикая плоть терзалась в огне пылающей похоти, продолжая оставаться таковой, несмотря на высшие препятствия, несмотря на многочисленные кожно-венерические предупреждения. Моя бездумная плоть упорствовала, ища легкого и безответственного удовлетворения. Мой удел — пляжные случайные знакомства и романы — вполне меня устраивал. Я любил совершенно неведомый мне, умиротворенный покой, исполненный пестрых женских купальников и мужских плавок. Я любил сладостно и мучительно наблюдать за почти обнаженными, понравившимися мне женщинами, осторожно ступая между загорающими дамами и редкими мужиками, витая в обмане воображения. Как всегда, я начинал новое знакомство, еще не ведая с кем, еще не зная, зачем мне все это нужно. Как обычно, я остановился на фигуристой (по моим представлениям) женщине, напросился на ее одеяло.

Сама завязь любых взаимоотношений очень напоминает поэтическое вдохновение, превращаясь с первых слов либо в восторженность и радость, либо в бесперспективный рутинный диалог. Самая революционная крайность увиделась во мгновенно разгорающейся страсти, самые добрые чувства хлынули в обоюдное желание, а сладкий разговор задался с первых глаголов. Она оказалась Людмилой, велосипедисткой в прошлом. Звуки наших слов сливались в одну тональность, наши взгляды сливались и куда-то смотрели поверх трепещущего Славутича.

Но ничто уже не могло удержать нас от надвигающейся, полной неизвестности и огня страсти. Заискивающий образ похоти вставал перед нашими глазами и воображению мнилось долгое и безмятежное счастье. Находилось оно на верхнем этаже пятиэтажного дома, суетливо угощало меня чаем, предварительно накормив жирными отбивными с пюре. Счастье без умолку лепетало бог знает о чем, лишь бы не молчать, вторя моим байкам, неизменно ведущим к постели. И в то же время страх трезвого воображения ставил неодолимые препоны, столь нереальные, что их не было сил превозмочь, разве что назвать вещи своими именами.

Не сумев сказать главное, не решившись произнести сокровенное, я чувствовал себя глупо, напрашиваясь на ночлег.

Счастье стелило мне постель в отдельной комнате. Я лежал на ней дурак дураком, облизывая горящие губы, бессмысленно выискивая какие-нибудь соединительные фразы, лишь бы не оборвалась, так и не начавшись, наша эмоциональная связь. Не придумав ничего умного, я попросил счастье принести другую подушку. Я взял ее руку, сжимающую подушку, и до утра не отпустил сказочно нежную Людмилу.

Красота и великолепие первого таинства двух душ, истоковавшихся по любви, не поддается никакому описанию. Единственным тревожным моментом интимного чуда оказалось наличие и реальное существование грозного мужа, мастера спорта по борьбе, который реально мог явиться рано утром из минской командировки в провинциальную Оршу. В том таилась самая опасная часть жизни любого донжуана, всякого соблазнителя, каждого похотливого мужика. Здесь заключалась ее горечь, экстремальность, исток нелогичных стрессов и, может быть, великая бессмыслица. Только проснувшись, я бросил взгляд на часы и похолодел. Если бы супруг Люмилы приехал вовремя, он уже был бы в квартире, и мое присутствие в постели его жены на высоком этаже ему точно не понравилось бы.

Мною овладело желание сейчас же, немедленно бежать, куда глаза глядят, и моя растерянность передалась эмоциональной женщине. Мне было не до чая, не до бутербродов.

Через минуту я спокойно двигался к остановке, отметив выходящего из автобуса мужлана, явно борца, со сломанными ушами, который по необъятности мышц вполне мог заменить три моих плоти. Я сразу почувствовал, что это муж моего счастья. Потом, когда она показала мне его фото, я так испугался что у меня волосы встали дыбом. Я живо вообразил, что могло бы произойти, окажись он дома вовремя...

Ящик водки

Футбольный сезон мы завершили среднестатистически — в середине таблицы. Можно бы вздохнуть свободно, но формула наших соревнований требовала подтверждения статуса мастерства. Короче говоря, после календарных соревнований чемпионата, после кубковых и прочих турнирных приключений, нам предстояло отыграть первенство области. Два первых места

давали право на участие в первенстве государства в следующем году. Как правило, мы и команда “Темп” из города-спутника не оставляли соперникам никаких шансов, превосходя их в мастерстве и в опыте.

В тот год областное первенство проходило в Новополоцке. В тот день — события происходили более тридцати лет назад — мы, игроки команды “Старт”, досрочно обеспечившие себе первое место, собирались на встречу с последней командой турнира. Поскольку игра ничего не решала, мы расслабленно мусолили карты (вчера мы нажрались водки), травили анекдоты, донимали шутками запасных игроков. Мы эротически рассматривали горничную, медленно вытирающую пыль в номере. Коля Углик, как всегда, уточнял, когда ее муж придет из командировки...

Постучав в дверь, неожиданно вошли ребята из третьей команды. Мы поговорили о том, о сем, после чего наши коллеги предложили нам обыграть сегодняшнего соперника с крупным счетом, намекая на вознаграждение. В таком случае у третьей команды появлялся шанс обойти нелюбимый всеми нами “Темп”. Уходя, наши гости добавили, что вечером на поле наш соперник не окажет сильного сопротивления — защитники куплены.

Собственно, мы не увидели в предложении ничего криминального. Игру продавали не мы, договаривались не мы. Нам следовало выложиться полностью и всерьез, используя все голевые моменты, а их-то нам помогут создать. К тому же мы не могли упустить возможность хоть как-то насолить нашим “врагам”. Мы отложили в сторону карты, обсудили варианты, предупредили второго нападающего, играющего со мной в связке, начали собираться на стадион...

С первых минут встречи я почувствовал, сколь “лояльны” ко мне защитники. Сразу же я понял, сколь много значит умение просачиваться даже через поддающуюся оборону. Редуты все равно оставались под ногами, их нужно обходить, перепрыгивать, унимать. Первый выход один на один с вратарем завершился ударом в штангу, следующий проход — снова штанга. Через минуту бью с острого угла, все делаю вроде бы правильно и по законам футбольного искусства — мимо. Продираюсь сквозь частокол слабо борющихся защитников, посылаю мяч в

очень открытый угол — мимо. Ворота, словно заколдованные. Вылетаю слева почти по центру, направляю снаряд практически в пустые ворота — мяч скользит по странной траектории — снова мимо. Ничего не понимаю, равно как и соперники. “Браток, забивай...” шепчет игрок в майке с номером три. Только в конце тайма я засунул нелепый и нелогичный гол. И калитка отворилась. Мы вколотили столько голов, сколько надо. Мы уходили с поля с опущенными головами, не глядя на болевших за нас темповцев.

Вечером ребята из третьей команды притащили к нам в номер ящик водки и конверт с червонцами. Пока мы планировали тихую пьянку, явился тренер, недоуменно уставился на “пойло”, очень разозлился и ушел, даже не поздравив нас с победой...

Морская пехота

После тренировки Толя Каплун уносит мячи домой (живет в двух шагах от стадиона), а следом, изнуренные большим квадратом, рывками и жарой, плетемся мы с Витуном. Мы шагаем и спрашиваем друг друга: “Ну что будем делать?” Мы знаем, что мы будем делать, но никто не говорит прямым текстом. Сейчас мы сделаем — по сто граммов — дальше, как Бог положит, а Бог, как всегда милостив, посылает нам вдохновение, желание и путь. И осторожность. В команде есть стукачи, стало быть, мы не афишируем свое неспортивное поведение, прячась не в сводах кафе, в тихой уютной квартирке на пятом этаже.

Тетя Вера терпеливо встречает нас (как только не надоели наши приходы с пьянками-гулянками). Глотнув водки, Толя включается: “Я служил в морской пехоте..” Мы знаем, это не так, но в устах Капы фраза звучит оригинально. “Мама, посмотри, как твой сын напился”, — указывает наш полузащитник на среднего брата, солиста ансамбля, классного парня, утопающего в алкоголизме.

Толя чаще и чаще становится в стойку каратиста: “Витун, я морская пехота!” В перекур он достает меня: “Веремей (мое футбольное прозвище), вот тебе масло, сало, хлеб, сахар” — начинает доставать продукты из холодильника. При большом количестве водки пластинка Капы окончательно сбивается на

повтор, а провизия, предназначенная для пропитания трех сыновей и мужа, с таким трудом добываемая тетей Верой, тает, тает, тает...

Водка выпивается быстро, чувство реальности теряется скоро. Добродетель, занимающая высокое место на шкале духовных ценностей, рассеивается. Стаей хищных воронов мы вылетаем из подъезда. Соседу, просящему закурить, Толя достойно отвечает: “Боксеры не курят...” Минуя доминошников, мы появляемся на площади. Толя угощает нас квасом, игнорируя длинную очередь, напомнив толпе: “Боксеры после тренировок хотят пить...”

Витун хищником оценивает гуляющих девушек — ищет жертву на вечер. Витя, первый соблазнитель города, имеет внешнее сходство с Наполеоном. Мы все болтаем одновременно. Отовсюду слышится: “Витун, Веремей, я морская пехота”. Веселясь, мы вспоминаем забавный эпизод с нашим полузащитником. Разбив бутылку вина, он упал на четвереньки и по собачьи принялся хлебать из лужицы.

Искусственное настроение ведет нас к двери кафе, где, как обычно, висит табличка с надписью “Мест нет!” Толя с Витуном (я веду себя посдержанней) барабанят в дверь руками и ногами, не замечая проходящего мимо тренера с супругой (вот и вся разгадка стукачей). Мы молоды, прекрасны и смешливы. Витя, соблазнивший более сотни женщин (“сотник”), кричит швейцару через дверь: “Ты что, не видишь, футболисты пришли...” И конечно же изо всех измерений гроыхает: “Отворяй, идет морская пехота!” “Мы только выпьем пивка для рывка и водочки для обводочки,” “Кто не курит и не пьет, тот в основу не пройдет,” “Тренированных тренировать — только портить”. Вываливаем футбольные присказки в лицо швейцару, дерзнувшему произнести: “Спортсмены не пьют... А вечером в окружении дам мы вываливаемся из кафе, и над тихим провинциальным городом, словно с небес, еще долго несется “Морская пехота...”

Случилось как-то по пути.

Часть вторая

Гитара

Пройдя еще немного дальше, я остановился от зашедшего сердца, унял сердцебиение.

Я знал, Витек Шкаев во второй смене, я все очень хорошо знал. И что не следует брать гитару без его ведома, и что не нужно являться в чужую семью в отсутствие мужа. И то, что я жажду заполучить вовсе не семиструнный инструмент, а увидеть его жену. Новые чувства прекрасно гармонировали с блестящим снегом, покрывшим большую часть двора. Небольшой мороз и запах кухонной стряпни, тишина и блеск тусклого фонаря, низкие ступеньки, утонувшие в снегу, замечались мной поверхностно и рассеянно. Я еще раз посмотрел на луну, выглядывающую из-за крутого ската крыши, и постучал в дверь.

Жена Витька Надя доверчиво и чисто смотрела мне в глаза, простенькая, молоденькая, желанная. Стоило мне протянуть руку, думаю, все совершилось бы само собой. Но в этом ли было дело. Главное, я испытывал страсть к обучению игре на гитаре, скрывая под ней глубинную увлеченность чужой женой. Главное, мои горячие, юношеские чувства появились, они существовали, жили и будоражили меня. Я заведомо знал — увлеченность останется безответной. Я твердо верил, ни за что на свете не смогу открыться ни единой человеческой душе. Я пожал ее мягкую податливую руку, спросил, дома ли мой учитель. Будто бы я забыл о его второй смене. Будто мне в самом деле день и ночь мечталось о гитаре. Витек и так давал её мне в любое время суток на неопределенное время.

Витек (вечная ему память) оказался хорошим наставником. Он долго и терпеливо показывал мне незапоминающиеся аккорды. “Большая звездочка — вот так... Маленькая звездочка — так...” Затем начинался маленький сольный концерт. “Царь Николашка правил на Руси...” — довольно мужественно и близко к тембру Высоцкого выводил мой сосед. Его прокуренная, небольшая и очень уютная (от присутствия Нади) комната под воздействием музыки расширялась, слова русского барда делались близкими и родными.

Меня все равно волновала жена Шкаева. Все одно меня тянуло к ней (я был девственник). Как все подростки я томился тайным желанием и предчувствием чего-то, но, оставаясь наедине в женщиной, превращался в глупого, беспомощного, смешного клоуна.

И сейчас, держась за гриф, я никак не мог сосредоточиться и поговорить нормально.

Незатейливое Надино платьице расстегнулось на груди. Мне страсть как хотелось заглянуть туда. Я беспомощно отводил глаза, болтал о снеге и морозе, о ветре, лишь бы уйти от реальности, лишь бы скрыть страх перед откровением.

Я приволок “свою бандуру”, как говорила о гитаре мама, в дом, потренировался брать аккорды. Устав от комнатной жары, от смятения и музицирования, я крепко уснул. Я не слышал глухого щелчка, случившегося ночью. Я проснулся с утренним солнцем в пору зимних каникул. Свет, слепя контрастами, озарял комнаты. С праздничным веселым настроением, слыша мамину возню на кухне, я бросился к инструменту с желанием обогнать в технике игры друга Славика (мы начали учиться в один день). Увидев оборванные струны, я испытал потрясение, шок, конец света, духовное превращение. Дом наполнился траурным сумраком. Мамина картошка загорчила и опротивела. Я не представлял себе дальнейшего поведения с Витьком. Но, видно, я родился нечестным по сути. Мне всегда не хватало решимости сказать правду.

Я спешил к Витьку напрямик, не замечая снежных сугробов. Из открытой форточки Славика (он жил по соседству) неслась музыка. Заснеженная распашка раздражала. Чувства к Наде из-за страха притупились. Я, точно вор, приоткрыл незапертую дверь в прихожую, сунул гитару к стене, быстро исчез в снежных переулках. Витек не ругал меня за оборванные струны, но что-то в отношениях надломилось. Он жил, работая сцепщиком вагонов, сбрасывая уголь с медленно катящихся вагонов. Он, как и многие в наших краях, соблазнившись ранней пенсией (нужно было отпахать в шахте десятку), полез в проходку. “Витек умер...” — смиренно ответила мне Надя через много лет в ответ на вопрос. “Где муж?” “Болел?” — спросил я от растерянности. “Нет, просто умер и все...”

Людмила

То ли она не долюбила в жизни, то ли у нее накопилась мстительная обидчивость на мужа, но, безусловно, великий Пушкин, шепча, “душа ждала кого-нибудь...”, имел в виду Людмилу и только ее. Мы познакомились случайно в больнице. Я, как обычно изнуренный алкоголем, излечивался в кардиологии. Будучи избалованный женским вниманием, я пребывал в смутном предчувствии — ожидании нового любовного приключения. Моя взволнованная натура, моя тревожная душа, ища любви, металась по коридорам больницы, незримая и неосязаемая. Мой дух вдруг столкнулся с ней, жаждущей того же.

Мы болтали, школьничали, смеялись над пустяками. Мы гуляли после коротких больничных обходов, взявшись за руки, как делают одни лишь роматические влюбленные — рассеянно и бездумно. Пыльные окоლობольничные улицы казались нам Елисейскими полями, а чудовишно загазованные магистрали виделись нам тихими лесными просеками. После завершения курса лечения, мы продолжали тайно встречаться, предаваясь утехам любви. Наши отношения напоминали медовый месяц молодоженов, проживающих у внимательных и заботливых родителей. Меня устраивали отношения, не требующие материальных затрат. Мне нравилась ее неприхотливость, удовлетворенность тем, что я есть. Потом я все же осознал — платить придется самым дорогим из душевных переживаний — чувством глубокого сожаления, чувством неудовлетворенности.

Она возникала на пороге, внося в дом свет и любовь. “Большое и сильное чувство ведет меня к тебе...” — произносила моя милая женщина, прижимаясь к моей плоти трепетно и доверчиво. Я же нетерпеливо тащил ее в постель, спеша и суетясь, склоняя к прелюбодеянию. Таинство совершали, тем не менее, медленно, по основному принципу Кама-Сутры (для мужчин) — не завершать или делать это как можно позднее. Ее ласки отличались изощренным разнообразием и сексуальным талантом, какому могли позавидовать тайские ветреницы, где царствуют неповторимые поцелуи лотоса.

У дорогой моей женщины случился сердечный приступ. Я быстро добрался к ней в неприемное время, выслушал просьбы о помощи (нужно было что-то купить) и потащил Людмилу, как самку для случки, склонив к шведскому сексу.

Постепенно мне становилось трудно совмещать встречи с тайной женой и супругой. К тому же я завел пока еще редкие отношения с молодой девушкой и начал тяготиться отношениями с удивительной женщиной. Как-то, расставаясь у лифта, я сказал, что пора бы мне устроить личную жизнь поосновательней. Люда ничего не ответила, в ответ лишь печально и пристально посмотрела мне в глаза. Створки лифта хряснули, словно гильотина, разрезав наши любящие души.

Позднее я жалел о случившемся, звонил, намекал на встречу, но неизменно натыкался на чуть слышное и твердое “нет”. Я вспомнил, как Людочка оборонила о муже “он меня крепко обидел...” Теперь я примерял эти слова на себя, ибо ни одного упрека и даже намека на претензию не слышал я из ее уст. И ничего не осталось от нее, кроме мягкой осознанной благодарности, чувства сожаления о разлуке, перемешанной с глубокой досадой.

Обида

Все чаще мне снятся обидные моменты моей семейной жизни — с моей первой женой. Небо нашептывает: наступила пора посмотреть в глаза своим обидам. В день свадьбы я с ужасом открываю для себя, что моя трижды разведенная (я женился по расчету, у нее была квартира) будущая супруга накрашена так, что я считаю неприемлемым. Я высказал свое недовольство. От меня просто отмахнулась, ущемив мое самолюбие, пренебрегая моим мнением. В моей душе поселилась обида, гнев ушел внутрь, эмоциональный мир поблек, и в целом в то мгновение моя жизнь ухудилась.

Назавтра мы летели в Ленинград. Мы шумно ворвались к моей двоюродной сестре. Они познакомились и вновь, к моему ужасу, манеры и поведение моей половины вызвали чувство разочарования и печальное осознание того, что произошла какая-то страшная ошибка, и нужно сейчас же разрывать отношения, и бежать, бежать, бежать...

Мы обедали в кафе. Существо женского рода, названное женой по некоему затмению разума, сгорбившись, чавкало, хрюкало, поминутно говоря обидные вещи: “Я бы с Петром-1 не против...” В самолете я вжался в кресло, отвернулся в иллюминатор. Я не мог принять решение, потому что мое нечто призналось в беременности.

Тревожное чувство продолжала досада — после явления друга Зои. Они запирались в ванной, чем добивали меня, вызывая огонь ревности, дикого желания объясниться и чувство потерянности и безысходности.

Меня оскорблял беспорядок, но еще более бесил тон, с каким ОНО пресекало все мои попытки возыметь голос более, чем совещательный. О неустроенности нашего жилища в кругу моих знакомцев ходили легенды. Спустя годы мне стало ясно, мое ДИВО — гений несобранности. Добавлю одно, на хаосе вещизма я всегда выигрывал пари, как только спорящий со мной приятель переступал порог нашего дома.

Но я терпел поражение. В великой скорби детской я смотрел на бесконечных приятелей ее: то на слесаря-сантехника, которого следует угостить вином, то на дебильного якута, видно трахал, мою тварь ранее. То возникал некий Фрадкин, а ей лишь бы мужик, то гостил идиотствующий поэт и рогоносец (ха-ха-ха). Потом на горизонте воздвигался толстяк. Следом офицер, прощенный мною — я переспал с его женой. Тащились в дом бесконечные имена и фамилии, внося в тишину незащищенность, досаду, ревность и другие чувства, невысказанные и терзающие ночными сонными призраками, уличными воплями на весь подъезд, соседскими нашептами, откровениями любящих меня подруг. Они раздирали мою суть, до сих пор не согласную, не желающую принимать давно ушедшую реальность, исполненную невысказанной ревности...

Наваждение

Отпустив эту, несомненно поэтичную, недолюбившую, издерганную контролем мужа женщину, я присел на кресло-кровать, все еще не осознавая, что же произошло, что случилось в нашей так сладко длившейся близости, обрушившейся на меня, на нас обоих, которая не только не повторится, но может иметь весьма и весьма негативные последствия, означающие нежелательные разборки с мужем (дай Бог, чтобы он оказался культурным, интеллигентным мужиком, а не выходцем из быдла). Я начал понемногу забывать о ней, так мне казалось поначалу. Но Инесса решила являться ко мне во сне, жестокая и мстительная, как язычица. В иные ночные бессонные бдения и в прочие волнительные размышления она

возникала по несколько раз, словно чувствуя, как мне не достает ее чистого, наивного взгляда, скрывающего беспокойные думы о будущем.

Я ерзал на скрипящем сиденье, чувствуя себя обитателем некоей обители похотливых злодеев-совратителей, причем злодеев прирожденных, по сути своей неисправимых и неподвластных никакому внушению, кроме, разумеется, действия Высшей милости и благодати. Я по-детски капризно хотел продолжения безответственного интимного праздника, возможного лишь со своей половинкой. А встретить свое настоящее счастье удастся далеко не каждому, хотя живет оно не так далеко, как кажется поначалу. Моя душа замирала от такого хода мыслей, моя плоть вспоминала и вспоминала милые интимные сладости, несмотря на суеверный страх перед каждым звуком, раздающимся за дверью, перед всяким приближающимся мужчиной, кажущимся ее мужем. Самый диван усугублял смятение и тоску, храня ее запахи, ее тепло, ее недоуменные от всего происходящего глаза.

Моя нравственная жизнь и в целом духовная позиция существенно изменилась после встречи с Инессой, говоря метафорами православного толка, после благодатного крещения. Я и вправду в каком-то смысле скорбел о былой не очень-то чистой жизни, как будто бы раскаиваясь. Даже поверхностный анализ содеянного выдавал шокирующий результат: произошла встреча с любовью. Как в таком случае объяснить то, что я сделался образцом кротости и любви к себе и ближнему. Как понять то, что она мгновенно разглядела меня в многолюдстве, что мы, будто муж и жена, ни о чем не договариваясь, ни в чем не сомневаясь, медленно подвинулись к бездне страсти.

Равно, как бедным и нуждающимся Господь дает милостыню, так и нам, прозябающим в нелюбви, Вседержитель отворяет вход в царство вечного блаженства. Инесса робко и трепетно ожидала меня в прихожей (мы заглянули всего на одну минутку), пока я сновал туда-сюда с замирающей душой, даже не мечтая к ней прикоснуться. Наши близорукие глаза вдруг встретились и узнали друг друга. И я прильнул к ее устам...

Наши отношения осложнились ее абсолютной безгрешностью. “Как только муж о чем-нибудь догадается и начнет меня спрашивать, я не буду лгать...” Огорчала меня Инесса

вот такими откровениями и опять просила меня отпустить ее пораньше, до прихода мужа. До того, как она заберет детей из детского садика, как приготовит ему борщ. Как приведет в порядок свои расплывшиеся глаза и разлетевшуюся во все концы прическу.

Наши встречи начинались и завершались днем. Они проходили в мирном безмолвии поцелуев, неспешных занятий любовью. Причем мы ни о чем не договаривались. Каждый день я подходил к определенному месту у гастронома, предчувствуя ее. Я насыщался ее лицезрением, сладким ее присутствием, недолгим покоем души, над которой она владычествовала. И вот произошло то, чего я так боялся. Обо всем стало известно мужу. Она появилась, огорчила меня, покинув наше тихое любовное пристанище, робко попросив: “Отпусти меня, пожалуйста, я тебя очень прошу или же я сойду с ума...” Я смотрел в окно на сумрак угасающего летнего вечера, на еще неяркие звезды и никак не мог возвратиться в реальность из чудного любовного наваждения. В один из дней в дверь позвонили. Я открыл дверь и увидел ее мужа. Взглянув на меня, он интеллигентно ушел...

Трусы

Я отдыхаю в южной республике, в душном городе, в пыльном поселке Донбасса. Я базируюсь у родственницы. Моя умная и целеустремленная сестра Валентина живет тем, что шьет и продает лучшие во всей Украине трусы. Сегодня по просьбе сестры я заменяю ее на рабочем месте. Я изнываю от жары и мечтаю о чудесном покупателе, который купит все 139 единиц товара. Но ко мне, к сожалению, никто не подходит, отчего я испытываю чувство вины перед сестрой.

Идущий муж пристально смотрит на рекламную единицу мужского белья, потом вперяется в мою разноцветную халабуду. “Между прочим, все размерчики есть”, — я как бы невзначай прошупываю его. “Уже и посмотреть нельзя”, — обижается мужчина, злится, спешит, растворяется в базаре. Жарища, липкий пот течет из-под мышек, медленно ползет время. У прилавка возникают супруги. “Купи трусы”, — плачется муж. “А ты заслужил?”, — охлаждает свою половину жена и — бац его ладонью ниже поясницы. У товара останавливается семья.

Молодой человек раглядывает разноцветье, вопросительно обращается к жене. “У тебя ж есть!”, — как-то резко отвечает ему половина. “Так они ж латаные”, — совсем беспомощно возражает он. “А кто тебя видит?”

Марево-парево, безветрие, даже мухи притихли. Печальная женщина средних лет перебирает материал, ворчит-шипит: “У, падла, опять ему трусы покупай, чтоб шлюхам угодить...” “Так не берите”, — мягко вставляю я свои пять копеек. “А что люди скажут?”

Вскоре появляется сестра. Она хозяйски оценивает состояние дел: “Будем закругляться”, конкретно и в общем озвучивает она и в рабочем порядке просит шагающего мимо работника рынка, указывая на рекламное белье 58 размера: “Паша, сними мне трусы” “Тетя Валя, вам?” Павлик сконфужен, смущен, растерян. Мы переглядываемся и хохочем.

Молитва

Я механик-диспетчер фирмы, занимающейся грузоперевозками и экспедированием грузов. Моя работа заключается в следующем: мне нужно всегда быть на месте. При моей высочайшей эмоциональности задача не из легких. Поэтому я принимаю решение — духовно развиваться. Я нахожу приемлемое для меня определение: “Духовность — это правильное понимание своего предназначения в мире, в отношениях с самим собой, с другими людьми и с Богом”. Такая позиция меня устраивает. Здесь, похоже, не пахнет религией. Именно поэтому я учу наизусть первую в своей жизни молитву. Сила помыслов и обстоятельство уносят меня в сторону от поставленной цели, втягивает в некую невидимую борьбу с ними.

“Отче наш...” едва произношу первую фразу — хлопает входная дверь, вбегает опаздывающий наш работник, злюсь на него, но скоро возвращаюсь...

“...иже еси на небесах...” — снова отвлекаюсь, конечно, судя по походке, приближается Регина со своими затаенными невротами и психозами. В молодости она была ничего себе — симпатичная женщина. Интересно, заметила ли она, что у меня несвежая рубашка?

“...хлеб наш насущный...” В молитвенную тишину врывается финансовый директор.

“Толя, где наш водитель?”, — начинаю вспоминать, где же он. Решаю вопрос, нахожу водителя, задерживаюсь в экспедиции, где мы с Ильиным переключаемся на футбольные темы. Едва не забываю о главном...

...”даждь нам днесь...” Звонит телефон, шеф велит срочно найти секретаршу Ксюшу. Делаю это с удовольствием, потому что девушка мне нравится... Но вспоминаю о Боге...

“...яко же и мы оставляем...”

Какое же это неприятное чувство — вина! Вот пришло в голову: утром, открывая окна, я забрался на стул грязным ботинком. Теперь думаю, не остался ли след?

“...и не введи нас во искушение...”

Грохот, шум, восклицания. Не понос, так золотуха! К нашему генеральному директору направляется делегация взволнованных водителей. Меня опять перебивают. Чертыхаюсь про себя и тут же прошу у Всевышнего прощения за лукавое словечко...

Попробовали бы вы провести день на моем месте. Тут не только молитву не выучишь, вздохнуть некогда...

Трезвое чудо

Это — непрекращающаяся исповедь души, изнуренной страданиями, души, уже однажды умершей, но с помощью Неба возрожденной. Это — песня души, окрыленной духом нового пути и умиротворенной болью смирения. «Я уже однажды умер...» — некогда произнес поэт. Полагаю, он имел в виду — кончину духовную, когда в тебе теплится одна лишь телесная оболочка, ты влачишь свое бездуховное существование между глотками спиртного, между днем и ночью, между жизнью и смертью.

Смерть сделала все для того, чтобы алкоголизм превратился в разрушительную силу. Чтобы он превратился в важнейший инстинкт, в твой последний стержень пустой физической оболочки — инстинкт самосохранения. Печальная лирика костлявой старухи, обряженной в чарующие метафоры химической зависимости, не менее сильна и притягательна, чем жажда жизни. Такая мрачная позиция обусловлена подменой ценностей жизни, манипулированием сознанием, отсутствием душевного здоровья и всего того, над чем властен один только

Бог. Но как возвратиться к здоровой мысли, той самой и единственной, ориентирующей на обращение за помощью к небу, когда все остальные средства бессильны и безрезультатны. Как сформировать новое сознание, будучи по виду взрослым.

Я осознал, что не могу объяснить все то, что случилось со мной, но я не мог понять, как я оказался растоптанным и безвольным. Куда истекла сила воли, словно высосанная кем-то коварным и всемогущим? Может быть, причина таилась вовсе не во мне, коль уж моих сил не доставало даже для того, чтобы сделать нормальный вывод? Результат не резюмировался, судьба не объяснялась, наследственность только брезжила смутными тайнами. Одни лишь демонические силы, по могуществу уступающие Создателю, маячили перед глазами угасающего духа, больного разума — всепоглощающей безысходностью вещества, изменяющего сознание — алкоголизма!

Чудо произошло раньше, чем я предполагал. Возможно, в тот день, когда моя вторая жена предложила мне прочесть газетную публикацию об анонимных алкоголиках? И я впервые ощутил действие благодати, вглядываясь в неинтересные для меня строки, протестуя внутри, не любя супругу и думая о полбутылке водки, спрятанной на антресолях...

Возможно, чудо произошло в то утро, у леса, куда я убежал в четыре часа утра, гонимый ужасами бессонницы, то ли от себя, то ли на зарядку? Я почувствовал, мною что-то управляет — более могучее, чем моя сила воли. Меня окатило страхом от чего-то, происходящего с моей душой, разумом психикой. Я рассыпался на мелкие частицы, я разрывался в клочья. Я впервые в своей жизни опустил на колени, признался Богу в собственном бессилии и попросил помощи.

Возможно, превращение произошло в женский праздник. Мы с соседом с утра надрались так, что я не мог стоять перед женой. Она ушла к маме, а я кричал ей вслед что-то оскорбительное, наполненное негодованием, саможалостью, обидой и мстительностью. Я рекомендовал ей больше не возвращаться — это последнее, что я помню...

Чудесный голос

Голос мне был в образе телефонного звонка. Мне позвонили в то время, когда я должен находиться на работе. Я поднял

трубку. Меня позвали на трезвый праздник. Мой друг (ныне покойный) так и сказал: «Приглашаю тебя на безалкогольный день рождения...»

Слово «безалкогольный» я, разумеется, не услышал или принял за дружескую шутку. С Леонидом Голубцовым мы в пьяной жизни «съели» не один пуд соли, именно поэтому я уверовал, что меня разыгрывают. Более того, моё пьяное мышление на такие уловки не поддавалось, я относился к спиртному, как дитя пьяных традиций и здоровых намеков не воспринимал.

В коммерческом киоске я купил в подарок туалетную воду, остановил такси и помчался на другой конец города, предвкушая пьяное застолье. Разговор за столом не ладился, время тащилось медленно и уныло, вспыхивая редкими шутками, омрачая меня суровой правдой трезвости. Предо мной лежали златобокие отбивные, куры и ветчина, холмообразные салаты, соленья. Я смутно надеялся на скорое окончание трезвого безобразия. Я предвкушал увидеть вспыхнувшие заговорческие глаза хозяина и волшебный жест — и, бог весть, откуда взявшуюся водку.

Постепенно я понял нелепость своего трезвого томления, своего положения в целом, понятного только всегда пьющим, всегда желающим выпить, ожидающим одну лишь выпивку. Я хотел кушать, но кусок не лез мне в горло без водки, а ее-то, родимой, и не было.

Безобразие (на самом деле чудо) длилось и двигалось со мною и после гостей.

Брат Леонида, мой друг Виктор, уже несколько месяцев посещал собрания анонимных алкоголиков. Он вдруг (чего никогда не случалось) предложил мне отвезти меня домой через весь город и начал говорить со мной как трезвый человек о трезвой жизни. Он вел странный монолог: о необходимости что-то изменить в жизни, об ином отношении к употреблению спиртного. Трепетно, больно и мучительно зазвучал в душе мотив трезвости.

Еще одно чудо

Самое большое на земле чудо — трезвость — складывается из маленьких чудес. С того момента, когда Виктор заговорил со

мною о трезвости, со мною начали происходить миниатюрные чудеса. Собственно, а зачем человеку огромные перемены, если жизнь сама по себе состоит из мгновений, течет медленно и подробно и есть мое самое большое и главное чудо!

Может быть, кто-нибудь объяснит мне, почему я тогда, 12 марта 1997 года не купил себе на вечер бутылку водки, традиционно проделывая подобный ритуал ежевечерне в течение двадцати двух последних лет? Без единого перерыва — чуть более восьми тысяч раз, не считая добавок, девочек, такси и потанцуем. Я смотрел в глаза продавщице винно-водочного отдела. Она, хорошо зная меня, с удивлением подала мне литровый пакет апельсинового сока, востребованного мною. Я неловко держал сок в руке, потому что мои карманы давно приняли форму бутылки.

Накануне

Итак, водки я не купил. Пакет апельсинового сока занял место моей Высшей силы. Напиток не лез мне в горло. Скорость его употребления была смехотворной — черепашьей. Литра апельсиновой жидкости, казалось, хватило бы на несколько лет. Моему организму, перестроенному на «ядерное» топливо, грозило апельсиновое отравление.

Дело заключалось в том, что мой алкоголизм являлся перманентным. Пауз я не делал, я пил всегда. Традиционно я выработал систему самообмана, чтобы пить и день и ночь, чтобы обмануть себя, родных, работодателей. Старо, как мир: пить не более одной бутылки в день, пить только сухое вино, пить только по праздникам (праздники каждый день) и т. д. Моя творческая фантазия, мой интеллект усугубили весь трагизм ситуации, где непобедимый чудодей алкоголизм, он же, по совместительству, маг человеческих душ, он же неиссякаемый придумщик вовлекал меня в нескончаемую борьбу.

В мою систему самообмана (как известно, здесь нет здравого смысла) включался трудоголизм, сексуальная распушенность, двигательная сверхактивность, превышающая все нормы рекордов книги Гиннеса. Мой сосед Сергей Николенко однажды изрек мне, уходящему в бездну дня с тяжелой сумкой на огромные расстояния: «Какая сила заставляет тебя двигаться вперед?» Позже после чудесного превращения я часто вспоми-

нал его удивительный вопрос. Разве можно поверить в то, что человек реально парится 365 раз в году, иногда дважды и даже трижды, но именно так я и выжил. Инстинкт самосохранения выталкивал из организма токсичные вещества, а частые бани, как выяснилось потом, вовсе не вредны, но скорее наоборот, если париться в меру, а не двадцать один раз, чередуя ледяной бассейн и раскаленные камни. Дай Бог, чтобы выдержало сердце.

Я стал толстым. Я закусывал каждую из тридцати рюмок, вбрасывая в себя столько же отбивных, куриных ножек, котлет и салатов. Я плотал не более ста граммов каждые два часа, начиная с шести утра. А вечером я продолжал употреблять с кем-нибудь из соседей. Я никогда не пил за чужой счет. Вечером я рано укладывался спать, как только в глазах начинался двоиться телевизор. И таким образом мой организм приспособился к ежедневной смертельной норме. И таким образом алкоголизм сделал мою плоть бессмертной, умертвив душу и разум. Мои чувства изолгались, правда жизни захирела, цели рассеялись. Во мне воцарился непроглядный мрак и смирение перед алкоголем. Сила воли, словно испарилась, а сила духа не подавала признаков жизни. Безумная тяга, аллергия организма отчаянно вели меня по дороге к гибели. Алкоголизм превратился в важнейший из инстинктов, он вырос в огромное «хочу» без плоти и лица. Суицидные мотивы звучали непрерывно, как шлягеры из соседнего двора. Они обретали законченность веревки, летящей из окна плоти. Система ценностей упростилась, опошлится. Я бродил мертвецом мертвого бытия, предмогильным существом, бесчувственной массой.

Отходняк

Я весил не менее ста килограммов. Тридцать пять из них делали мою форму комичной. Овал моего лица (друг дразнил меня луной) виделся в серых тонах. Я проснулся в мысленном хаосе, находясь во сне, но без сна. Нечто, именуемое мной, неопохмеленное, неловкое, тревожное, беспокойное, потерянно хрипело, сипело, хрюкало, поворачивалось в кресле-кровати на кухне и не могло подняться. Нечто с липким чувством вины, обиды на весь мир, страшась спящей в соседней комнате дочери, тащилось по полам, визжащим в унисон состоянию души.

За дверью чудилось топтание, в темноте виделось что-то рогатое, слышалось чье-то лепетание, чудилось незримое присутствие кого-то. При этом все двери сузились и цеплялись за меня. Галлюцинации пошаливали, пространство сгустилось, и все раздваивалось. Струя мочи бешено звенела, рождая новое чувство вины, нескончаемо вгоняя в новое чувство страха. Бред отношений доводил воображение до немислимых ситуаций.

Сказать о том, что мне плохо — ничего не сказать. Это когда миллионы клеток, если посмотреть на человека как на клеточный сгусток, орут одну просьбу, вмещая в нее мировую скорбь и печаль, руша все религии и философии, всю мудрость и традиции человечества. Они произносят всего лишь одно слово «дай», которое, переходя в «хочу», усиливается требовательным наречием «немедленно». Цена за глоток спасительного химического соединения — вещь, недвижимость, Родина, жизнь, цена — дети, семья, родители, истина, справедливость, любовь.

Разжиженность серого вещества не дает возможности осознать масштабы трагедии, разрушения разума, души, плоти, духа. Боль и чувство приближающейся беды длится бесконечно, мешая двигаться, жить, осознать, вообще что-то понимать, действовать.

Со стыдом за внутренний тремор, я приготовил завтрак для дочери. До принятия утренней дозы я уменьшился в росте, не имея чувства собственного достоинства, не считая крайне низкой самооценки. Я просто тянул время, готовый на любую искупительную жертву, на любое унижение, не ощущая ничего, кроме присутствия несчастья от поражения перед чем-то.

Осторожной походкой я семенял по квартире, боясь аритмии сердца, четырежды предупредившей меня о надвигающейся опасности. Во мне вспыхнула трезвая мысль: «А не помириться ли мне с женой?» Не разобраться ли мне в ситуации, приносящей бесконечные страдания. Я повернул в ельник, упал на колени и впервые в жизни попросил у Бога помощи. Я принял решение прежде, чем прикоснулся к спиртному.

В то чудесное утро

И я принял свое первое трезвое решение. Я ворочался в постели, тысячу раз прокручивая предстоящий разговор с

оскорбленной супругой. Я приехал в колледж, где она работала, за несколько часов до начала занятий. Когда она возникла в пролете лестницы, она показалась мне необыкновенной. Я, точно школьник, стал перед ней и попросил прощения, обняв ее пылко, как молодой гусар. Я сообщил ей о том, что решил начать трезвую жизнь.

В наркологию я притащился, имея твердую позицию: только не кодироваться, только не подшиваться. Доктор выслушала меня, обозвала алкоголиком второй степени и напомнила, что с понедельника у меня начинается платное лечение. Между прочим, добавила: «а пока сходите к Анонимным Алкоголикам...»

Я набрал номер телефона центра зависимости. Приятный женский голос, ничего не спрашивая, любезно ответил. «Приходите, мы вас ждем...» По иронии судьбы офис центра находился в двух шагах от того места, где преподавала моя жена.

Чудесное превращение

Дима, трезвый алкоголик, обрабатывал меня на лестничной площадке. Я слушал и удивлялся лишь тому, как близко от моей жены находится центр. Меня не пугали психически ненормальные окна, в которые хотелось броситься с разбега. Даже темные силы приуменьшили свои зовущие голоса. Я относительно спокойно реагировал на широченный пролет лестницы, зияющий шизофренической привлекательностью.

Я слушал нечто благодатное, и стал невозможен самобман, и стала проистекать Божья милость, и я почувствовал себя другим человеком. Такое возникает при общении двух трезвых алкоголиков, когда один из них готов сделать все, чтобы избавиться от губительного пристрастия, а другой несет огонь идеи о том, что спасение возможно. Тогда я впервые узнал правило первой рюмки, о том, что существует суточный план трезвости, о том, что можно жить счастливо с такой болезнью, как алкоголизм.

К жене я возвратился совершенно другим человеком, она сразу же это почувствовала и отметила изменения в моей личности. Моя душа пела, внутреннее состояние стабилизировалось, впереди меня ждала группа Анонимных Алкоголиков. Я намерился увильнуть от занятий сегодня, но мой мудрый

первый наставник, видя мои ухищрения, поставил меня на место. «Ты пойдешь на группу «Возрождение» сегодня, я встречу тебя у входа».

Чудесное путешествие

Шел четверг двенадцатого марта 1997 года. Я уже трезвел семьнадцать часов подряд после 22-летнего непрерывного употребления. Я прожил самый длинный — день в жизни. Я тащился на занятия группы Анонимных Алкоголиков через весь город. Я так долго не осознавал то, что происходит вокруг, что чувствовал вязкое течение бытия. В троллейбусе агрессивно бранились взрослые, студенты громко обсуждали какой-то матч, а несколько выпивших мужиков, словно сговорившись, дышали в мою трезвую сторону.

Откровенно говоря, я не очень-то жаждал заниматься какой-то духовностью. Но ведомый Создателем, я все же заглянул в наркологию. Там меня ожидало чудо в образе доктора Владимира Владимировича Иванова. Психолог подвел меня к двери и мягким, но повелительным жестом втолкнул меня на собрание группы трезвых алкоголиков.

Чудесное собрание

Божья воля ненавистным мне жестом доктора толкнула меня в царство исповеди, Божьей милости и благодати. На собрании группы «Возрождение» находилось примерно тридцать человек. Все выглядели как нормальные люди, вовсе не похожие на тот образ алкоголика, который традиционно сложился у каждого, кто не знаком с проблемой алкоголизма. Меня одолевало желание исчезнуть, спрятаться, затаиться в щель, стать невидимым.

Как алкоголик интеллектуального племени, я сразу же начал оценивать уровень культуры выступающих. Не найдя ничего удивительного, я сделал первый трезвый вывод: «Самый умный здесь я...» Истории пьянства слышались неубедительными, наигранными, неживыми. Пьяно-приключенческие подробности, по сравнению с моими выкрутасами, в словесном эквиваленте виделись скучными, не вызывали доверия. Голос чувства слабо пробивался сквозь логику инстинктов. Меня, могущего,

оставаться без спиртного не более двух часов, поразило высказывание: «У меня шестьдесят дней трезвости...» Я посмотрел на дивного парня с лежачего положения, как можно более принизив себя, чтобы угодить и понравиться заискивающим подобострастием. Может быть, в то мгновение я, пронизанный духом соперничества, уже поставил перед собой цель...

Мне показалось, что разумнее было бы провалиться сквозь землю, чем впервые принародно назвать себя алкоголиком. И чем ближе подходила моя очередь представляться, тем сильнее я вжимался в кресло, надеясь в него спрятаться. «Алкоголик Анатолий», — ура-ура-ура, окрещен! Легкость наступила необыкновенная. Мой витиеватый монолог выдохнулся сплошной метафорой самообмана. Во время моего выступления братья несколько раз хохотнули, за что я все им простил. После занятий все пили чай, кроме меня. Я почему-то полагал, что кто-то поднесет мне стакан и пряник. За чай я обиделся и много лет мстительно помнил...

Чудесное возвращение

Несмотря на то, что моя жена не могла нарадоваться на мою трезвость, у меня складывалось впечатление, что пьющий я для нее более приемлем. И тем не менее, моя сверхугодливость, готовность все объяснять и оправдываться, детское желание понравиться и производить впечатление давали ей безусловное превосходство надо мной. И тут я в одночасье превратился в мужа молчащего, отстраненного, обидчиво-агрессивного, со всеми перегибами инфантильности переходного возраста. И тут я столкнулся с чудовищной хаотичной эмоциональностью, с энергией, равной ядерному взрыву. И тут я стал тем, из которого вырос алкоголизм — безликой серой личностью, думающей о себе преувеличенно неверно и по-детски горделиво.

Самое страшное заключалось в другом: моя жена меня не устраивала в трезвой жизни во всех отношениях. Во-первых, я перестал ее замечать и бояться. Во-вторых, во мне начали происходить глубокие духовные изменения, повлекшие за собой сильные изменения в личности. Короче говоря, жена предстала предо мной со своей идиотской стрижкой, какую я не замечал назло ей. Моя супруга являлась мне источником раздражения.

А вечерняя близость ужасала мое соображение сомнениями: а вдруг не получится?

Поздно вечером я лежал рядом с женой и мучительно вспоминал сексуальные моменты из моих измен, чтобы как-то воспламениться. Я мучился чувством вины, страхом, теряя уверенность в своей мужской силе...

Слегка протрезвев, я начал избегать тех, с кем пил. Точно вор, я выглядывал из подъезда, быстро шел вдоль стены дома в противоположную сторону от того места, где еще вчера считался заводилой, организатором пьянок.

Как всегда мои приятели маячили на лобном месте, ожидая чуда опохмеления за чужой счет. Как всегда, их присутствие вызывало чувство незащищенности. Причем ощущалось настолько остро, что при виде собутыльников я с детской непосредственностью приседал за куст, дабы не попадаться им на глаза.

Сосед по имени Пашка по привычке заруливал ко мне в первом часу ночи. Его поздние звонки звучали укоровенно и я, напоминая побитую собаку, с чувством вины перед дочерью и женой, плелся отпирать дверь, чтобы объяснить Пашке положение дел, чтобы еще раз оправдаться.

На другой день моя интеллигентная половина затащила меня в гости. При виде гвардии бутылок я потерялся, а последней каплей прозвучала реплика хозяина: “Если Анатолий не выпьет, то и я не возьму в руки фужер...” И следом мое счастье добавило: “Он у меня теперь непьющий. В тот миг я понял, что ненавижу свою жену, трезвость и все мировое движение Анонимных Алкоголиков...”

Чудесное желание

Я удобно устроился в кресле Пашки, моего бывшего напарника по алкоголизму и вкатывал ему в уши идеи трезвости. Он пил холодную водку, хрустел грибами, смачно жевал мороженое сало и соглашался. Мои рассказы, верно, забавляли его. К тому же бутылка была еще обнадеживающе полна. Когда спиртосодержащее вещество в бутылке иссякло, он глубокомысленно заметил: “Пора и мне в Анонимные Алкоголики записываться”, — и веско, с отрывкой захохотал, весьма довольный собой. И вдруг спросил: “Вы что, там пьете анонимно? И вдруг засобирался в магазин за какой-то мифической солью.

Я парил по улице, ощущая свою божественную предназначенность вперемежку с манией величия и чувством исключительности. Я находился в уверенности, что через несколько месяцев в городе не останется ни одного пьющего алкоголика. Так я решил спасти человечество от страшной болезни.

Ксендз Владислав, настоятель прихода св. Сымона и св. Елены

Униженный алкоголизмом, измученный вновь обретенной трезвостью и страхами навалившейся на меня реальной жизни я несколько лет не решался войти в Красный костел. Вечерами я подолгу смотрел на его таинственный силуэт, на мерцающие кресты, стремящиеся в небо. И пристально вслушивался в проникновенный речитатив проповеди, несущейся сквозь гостеприимно открытые главные врата божьего храма. В праздничные, торжественные, особенные для духовности народа дни службу усиливали расположенные по периметру репродукторы, делая меня более решительным, унимая мои тревоги.

Загадочность службы и вместе с тем необыкновенная гостеприимность обители господней однажды заставили меня, озираясь, войти под своды, исполненные святости и благочестия. Прошу поверить мне на слово, страх не то чтобы исчез, как бы сказать правильней, его власть надо мной уменьшилась, отчего в душе сделалось тихо и светло.

Имша уже завершилась, прихожане медленно расходились, а я стал искать взглядом того, чье слово звало меня к духовности. Милая и приветливая девушка, скорбная, как Пресвятая Матерь божья, назвалась Марией, предложила немного подождать. “Пробач сейчас будет...”, – вымолвила и принялась отвечать на телефонные звонки.

Почему-то мне не удавалось унять сердцебиение. Почему же я, взрослый мужчина средних лет, так волновался, словно мне предстояло держать экзамен перед самим Богом? Подумать только, я находился у кельи настоятеля, подвижника, ученого человека. Я смотрел на него, выходящего из полумрака лабиринтов и сопоставлял его благородное чело с портретом Иоанна Евангелиста на картине Сандро Боттичелли. Только на шедевре итальянского мастера, хранящегося в берлинском

государственном музее, легендарный богослов изображен с огромной бородой и усами.

“Слушаю, пан...”, — весьма любезно после взаимных приветствий спросил служитель костела. Если бы, однако, кто-нибудь зафиксировал эти блистательные тирады — о чем бы ни шла речь — они были наполнены магнетической силой слова. К тому же священник говорил на чистейшем литературном белорусском языке (когда я узнал, сколько языков он знает, мне стало не по себе), к тому же в его речениях духовно пировало глубокое знание предмета.

Решив, что мне снизошло чудо (оно является тому кто заслужил), я напрочь позабыл о цели своего пришествия. Я собирался просить помощь в создании новой группы Анонимных Алкоголиков. Выталкивая свою витиеватую мысль, я вдруг почувствовал: мои словеса от слишком вольных с ними обращений обезбожились (словесное “чего-угодничество” в конечном счете — начало эрозии души, ума, духа). Мне казалось, я убеждаю, но чувство подсказывало обратное, мне мнилось, я логично и аргументировано живописую состояние дел, но ощущения кричали об ином. А мой глубоко духовный собеседник — слушал, слушал и слушал. Он делал это так мастерски, что я невольно вспомнил чье-то изречение “умейте слушать, и вас поймут”. Он еще ничего не произносил, но я уже понимал, кто находится передо мной.

“Костел для всех, пан, этот вопрос я решу, зайдите...” — и он назвал день, когда мне следовало появиться. Ни за что не догадаетесь, о чем я тогда подумал: “Он подчеркнул, помог осознать мне равноценность различных временных отрезков пред вечностью...”

Позже он благословил многие мои книги стихов накануне выпуска, осеняя благостью крещения. “Его авторитет в наших кругах непререкаем...” — поделился со мной один деятель искусств. Я вспоминал его мысль, сидя в костеле, слушая духовного пастыря: “Путь к Богу — это мучительный путь человека к самому себе...” И вдруг я начал осознавать свой смысл и значение. И вдруг понял, Ксендз Владислав помог мне найти то, что я мучительно искал всю жизнь — смирение...

Черная слива

Я воровал всегда. Вначале — деньги сестры, спрятанные за печкой, после чего моя единоутробная возмущалась так громко, что шатались стены дома, а свет покаяния блистал надо мною столбом. Затем в магазине на станции Весовая я вытаскивал из дощатых ящиков пиво. Я и мои приятели, примостившись на рельс (поезда, груженные углем, ходили редко) — утоляли жажду “Жигулевским”. Я видел себя смелым и значительным.

Я “очищал” доступные огороды до тех пор, покауда один хозяин за выемкой у моста не стрельнул, убив насмерть малолетнего похитителя георгин. Я выковыривал мелкие монеты из родительских заначек и переводил их в свои карманные деньги, столь нужные в том возрасте. За спиной у зазевавшейся учетчицы я похищал распираторы — комплект самозащиты для шахтера. Мы убежали по лабиринтам — на пустырь — за террикон. Там мы кроили резину, качественную и эластичную, рогатки из нее получались — будь они не ладны.

По-видимому, воровство — мой крест, а крест дается для чего-то свыше, мол, задумайся, найди признаки духовного неблагополучия. Я вообще все делал воровски. Мне было проще что-то взять тайком, нежели попросить. Даже в овощном магазине, при наличии достаточных денег, я раскладывал товар так, что усталая к вечеру кассирша обязательно пропускала то копеечную халву, то малюсенькую шоколадку, как бы случайно положенные хитро и незаметно.

Дело в том, что я таил мстительную обидчивость на “овощняк”. То и дело мне отпускали среди прочих то гнилое яблоко, то несладкий арбуз. Всегда мое психическое отклонение, мое несориентированное “хочу” хотело больше, чем ему полагается или отпущено небом...

Сливу я заметил сразу. Я не мог оторвать глаз от чуда, привезенного из далекой Испании. На ней виднелась прозрачная пыль жаркой страны и охлаждающий всяческий порыв космический ценник. Я выхватил из ящика фруктину, искоса взглянул на занятую расчетами кассиршу, двинулся за лоточный ряд, уходя из зоны видимости, и вонзился в сочную мякоть. Слива оказалась большой и невкусной, и бесконечной, как божье наказание. Я, пригнув голову, трогал ненужный мне

лук, чеснок, капусту и чувствовал себя более чем ужасно. Я не ощущал ни вкуса, ни удовольствия и лишь страх того, что может получиться, если меня схватят за руку, уносил меня в ужасные фантазии.

И наконец, мои страдания завершились. Я быстро сунул косточку в карман, взял для приличия пару огурчиков, направился к кассе. Удивительное свойство нечестности, думать, что все написано на лице. Я отогнал это поганое чувство, хотя внутренняя спешка гнала меня скорее рассчитаться и выскочить на улицу. Я быстро выложил деньги из кармана на блюдечко для сдачи и остолбенел. На тысячную купюру нелепым уродищем приклеилась золотистая сливовая косточка...

Фроттеризм

В переполненном автобусе №50, перевернутый с ног на голову, зажатый ягодицами нескольких представительниц прекрасного пола, я нисколько не страдал. Я не злился на прижавшуюся ко мне из-за спины даму, мне было уютно, как будто в чреве матери. Чувство защищенности и любви, неразвитое родителями, окутывало меня божественной плевой. Автобус, подобно зыбке, убаюкивал меня, унося в состояние, близкое к забытию. Как бы случайно, как бы произвольно, скользя по поручню вниз, я опускал кисть к девичьей руке с необыкновенно длинными пальцами. Почти касаясь, останавливался в опасной близости, исподволь наблюдая за реакцией девы, при этом глотая чувство страха, волнения, помня, как при подобной ситуации одна самодостаточная женщина отчитала мужчину почтенных лет. Наши руки почти слились, под пальцами девушки перемычка, ей некуда скользить. Мне думается, она тоже страдает моим заболеванием. Как бы там ни было, мы, обуреваемые похотью, пребывали в царстве грез, в уюте скоростного пятидесятого маршрута. Минута непередаваемых ощущений мне гарантирована.

Я, не умеющий любить, реагирующий на лишь бы баба — образ, собирал великое чувство по крупичкам, ища свое, неповторимое творение, не зная, что же мне надо искать, на кого смотреть, на чем остановиться. Может быть, поэтому моя жизнь бездарно протекала в похотливых связях с замужними женщинами. За чужих жен не нужно отвечать, а в случае

неудачи, можно ретироваться, сбежать, спрятаться в нишу. Ведь для того, чтобы строить отношения, основанные на сотрудничестве, интимности, заботливости — требуется мужество, которого я лишен в той мере, в какой могу прозябать в своей ущербности, бесцельности, не видя перед собой той женщины, того облика, какой мне нужен, какой я ишу.

Из детского сексуального воспитания запомнилось неприглядное женское белье, вызывающее чувство брезгливости, вечные папины пьяные подарки — рейтузы маме и сестрам и гостящая у нас тетя Поля. Я сновал между мамой и соседкой, ползал по полу, мяучил, выделялся неестественно, обретая чувство причастности через унижение. Я тайно подглядывал под юбку маминой приятельнице, видя, опять же противные розовые рейтузы.

В отрочестве на танцах сверстники приглашали девушек, я же изображал равнодушие, продолжая хотеть, увеличивая “хочу”, и оно разрасталось до неимоверности, и сегодня мое “хочу” хотело уродливо, неостановимо. Обострялось заболевание “фроттеризм”, близкое к сексопатии. Я страдал от навязчивого желания прикоснуться в девушкам, женщинам, бабам, шлюхам, ангелам, лишь бы “она”.

Вот так и влачил дорожное существование, крепко прижатый со спины теплой женской грудью. Незаметно поправляю волнующийся деторождаемый орган, отмечаю, что еще одна остановка, и та, волнующая меня дама, выйдет на проспекте. Холодная, отрезвляющая реальность “наступает на уши” голосом водителя, фыркающей дверью, выскользнувшей кистью девы, исчезновением дамы бальзаковского возраста слева, отшествием от меня незнакомки. Возвращением на грешную землю. Навоображав, я успел увлечься романтическим существом. Не выдержав, я оглянулся, уж лучше бы я оставался в неведеньи. То, что создавалось в фантазиях, оказалось старухой неопределенного возраста, оно смотрело на меня глазами скорее смерти, нежели жизни...

Волчий вой

“Что за странный звук слышится в офисе?”, — спросила меня, изнывающего в печали, одна из наших работниц, скоро зацокала каблуками по плитке, удалилась в сторону нашей

евростоловой. Весьма занятый, измученный преодолением материи времени, реальности, я кивнул головой в знак согласия, звеня страхами, погребенными в подсознании, цепко ухватил информацию и тут же присыпал ее хламом бытвой информации.

“Что за шум, Толя?”, откуда он, — через минуту ко мне обратился коммерческий директор.

Медитативное пространство потеряло очертания, зыбкие границы промоленной духовной атмосферы спутались. Движимый любопытством, тревогой, я двигался методично и последовательно. Прослушал комнаты арендаторов, заглянул к вечно занятому шефу, ворвался в непроветриваемый кабинет коммерческого директора — ни звука.

Ноющий, режущий, пронизывающий, похожий на утробный рык, не имеющий названия, захлеб перекачивался то ли под искусственными сводами потолков, то ли как гудящий сквозняк низовый.

Финансовый директор как всегда пригвоздила земным: “Толя, в офисе пахнет чем-то неприятным...” Я возвратился на землю, выпал из ангельства, заспешил в комнатку финансового директора, мысленно отмахнулся от невидимых темных образов. Хлопнул ладонью по воющему радио, заглянул в тумбочку, по-собачьи схватил курагу, мгновенно плотнул, отметил мед и кофе. Перешел-потоптался в шумной экспедиции, не прислушиваясь к профессиональным разговорам, обратил внимания на сильный ветер за окном

Конечно же, ветер, а что еще, дует, издает мелодию, всех переполошил. Ан-нет, показалось. Перебирался к холодильнику, хлопнул дверью, как собака, потянулся за бутербродами, оставшимися со дня рождения, один за другим несколько штук проглотил, не прожевав. Побоялся, кто-нибудь зайдет, увидит, уличит, что-то подумает. Осенило! Вентиляция, как же я сразу не догадался! Буквально побежал в дальний предбанник, прихватив еще один бутерброд, сунув его в карман дорогого, подаренного шефом пиджака. Нет же, здесь дуло-продувает ровно и монотонно, ну и слава Богу...

В бухгалтерии, я испытал чувство страха перед бухгалтерскими зубрами, услышал тот же вопрос от нервного главбуха. “Ну что там у вас рычит?”, — сказала таким тоном, испугала,

испортила настроение, возмутила мстительность и зависть. Уж очень я не люблю тех, кто больше меня получает, уж так ненавижу их, что просто спасу нет.

Так бродил я, вертя головой вниз-вверх, так вчувствовался внутрь, мучаясь непонятными ощущениями, пока, наконец, не осенило. Ну, конечно же, это моя душа воет по-волчьи против ветра, стонет от боли, страдания и несправедливости. Так и доложил, ничего обнаружить не удалось, посторонних волков в офисе нет, а кричит, конечно, моя душа.

И успокоился, и развеселился, и развалился на стуле, независимо, аки волк, агрессивно...

Встреча с одноклассниками

“Папа, тебя к телефону”, — позвала меня к аппарату дочь Светлана, и я услышал незнакомый мужской голос. “Не узнаешь, — проговорил он раздраженным тоном, — Науменко! Голос принимал все более обидчивые тона, — друг называется, всех нашел, кроме меня...”

В недавнем отпуске, томимый печальными чувствами воспоминаний, я переходил мост, ведущий на станцию Рутченково. Лицом к лицу столкнулся с одноклассником Витькой Хоменко. Тот возвращался с работы с приятелем, как выяснилось потом, с Сашкой Засидкевичем, с которым мы не виделись около сорока лет. Зася отсидел определенный срок уже в почтенном возрасте, я хотел с ним увидеться и вот — Сашка, эмоциональный, инфантильный, не ведающий, кто я. Хом не долго маялся, не выдержал, пробубнил: “Зася, ты знаешь, кто это перед тобой? — Не ожидая ответа, сдал меня, — Толян Сендер!” “Е-К-Л-М-Н, — выдавил из себя Засидкевич. Мы обнялись, и понеслись воспоминания.

Узнав, что я не прикасаюсь к спиртному вообще, Зася твердо произнес. “Я тоже пить не буду...” На что мудрый, спокойный и самодостаточный Витька мгновенно среагировал: “А я не откажусь, Зася, иди, купи мне “маленькую”.

Мы врзались в узкий проулок частного сектора, выходя к воротам, едва скрывающим Вальку Додину. Издалека Витька (он вполне мог на ней жениться) закричал: “Валька, ты. Толика Сендера помнишь?” Что тут началось! Мы не встречались с Додиной столько же, сколько и с Заськой. Я предложил наза-

втра собраться у нее без спиртного. И с нетрезвыми мужиками потащился дальше. Заська юркнул домой. Витька балагурил, размягченный водкой. У любимой школы Витька Сычев (из нашего класса) хлестал самогонку с друзьями. Увидев меня, он пытался общаться, но лишь утомил нас. Дальше мы постояли с Малыгой (она осталась на второй год до моего прихода в 79 школу), забрели к Витьке. Я, будучи трезвым, немного пообщался со школьным товарищем и был таков.

Утром я отбегал дежурный воскресный футбол (температура воздуха — кошмар — 37 в тени, мы вновь обыграли молодых, и они, а не мы, “старики”, попросили закончить игру). Притянулся к маме, принял душ, отдохнул и, набрав в огороде груш (чтоб не покупать гостинец), двинулся на встречу.

Явились-то всего три женщины. Люба Паленкова (совсем не изменилась) говорила больше других. Лена Богдан вспоминала, как я за ней ходил, ухаживал, следил, с кем она гуляет (при всем при том добавляла трогательные подробности, неведомые мне самому). Наверное, так виделось мое поведение со стороны. Валя Додина замуж не вышла, она замечательный человек и хороший товарищ. Ей бы такого мужа, как я. Но не могу же я жениться на всех одновременно.

Я пил кофе, с чувством вины ел конфеты, жевал печенье, приняв решение в следующий раз непременно прикупить что-то значительное и реабилитироваться щедрым гостевым подарком. Потом, когда Ленка и Любка откланялись, Валя сетовала: “Зря Паленкова несколько раз напомнила о своем высоком сыне, у Лены-то мальчик маленький...” И мы вместе попереживали за Богдан, сочувствуя ей по-человечьи.

Я не мог объяснить Толе Науменко по телефону, что мне с ним общаться будет не просто, потому что он захочет выпить сто граммов, а трезвый пьющему не свинья, гласит малоизвестная пословица. Он кричал в трубку, “И Додину нашел, и Паленкову выудил, и Богдан встретил! Вот бери билет и приезжай обратно, совести у тебя нет..” Я так же не мог просветить Анатолия о сути трезвости, о новой духовной жизни. И о том, как я в течение часа увиделся практически со всеми одноклассниками. Как хорошо, что на встречу не явились те, кто не может жить без веществ, изменяющих сознание. Много лет назад без водки не мог существовать я. Я оправдывался

перед Науменко (Толя сильнее меня в психологическом плане) и чувствовал себя при этом очень и очень глупо...

Александра Александровна

Я звоню по телефону в отчий дом, младшая сестра, как всегда эмоционально и радостно приветствует мои дальнейшие планы, звонко и пронзительно шутит. Она приглашает рядом стоящую мать, я слышу, как она подталкивает к креслу восьмидесятичетырехлетнюю мою единственную и любимую маму Веру Никитичну Сендер, в девичестве Новикову.

“Здравствуй, сынок, — вкрадчиво и любяще звучит ее неизменно молодой голос, — поздравляю тебя с внуком...” Она желает моему внуку Богданчику всего самого доброго, самого лучшего и нежного. Мама произносит теплые слова, льющиеся от сердца, от души и только в неровном дыхании, в чеканности каждой фразы, в безошибочности точной мысли ощущается мудрость, честность и чистота. И вековая усталость.

Но о каком возрасте идет речь? Все в мире относительно. И вообще-то у меня две мамы. Хотите верьте, хотите нет. Если есть желание, читайте о моей сирой и убогой жизни. Часть ее прошла на витебщине, в маленьком провинциальном городке под названием Орша. Временами я наезжаю в уютное местечко увидеться с друзьями моей уже далекой молодости. Я останавливаюсь у моей второй мамы Тети Шуры (Александры Александровны Долгой), мамы моего друга и соратника по футбольной команде Витуна. “Так, твоя мать еще молодая”, — рассуждает тетя Шура, узнав о возрасте донецкой мамки. Она произносит космические цифры прожитых лет, в каких и потеря мужа, и блокада, пережитая в осажденном Ленинграде, и смерть всех родственников, и служба в действующей армии. Верно, в очень поздних житейских годах, равно как и в ранней молодости, разница в несколько лет имеет существенное значение. Так же, как счастье и горе.

Так же гостеприимно, словно и не было промелькнувших тридцати пяти лет, меня встретили в доме Долгих в день приезда, меня, совершенно незнакомого, впервые вошедшего в их дом совсем еще молодого человека. Мы ели ароматный борщ, примостившись на крохотной кухне “хрущевской” планировки. Мне нравилось первое блюдо, меня смешили малороссийские

остроты Ивана Лукьяновича, хозяина, отставного капитана, ронявшего в мир перлы великого украинского юмора, проносясь нам, отправляющимся на танцы “Уже пишлы, тильки дитэй робыть...”

Точно так мы встречаемся сегодня, храня длящуюся во времени цепь дружеских отношений. Точно воспроизводим сокровенно пропущенное через себя футбольное время. Я воздвигаюсь на пороге их дома — всегда желанный гость, спустившийся из столицы в утлую лодчонку, в коей можно еще спасти душу. Я чувствую точно и определенно, звоня в заветную дверь, обнимая медленнодвигающуюся Александру Александровну, подшагивая навстречу Витуну, грузно поднимающемуся с дивана. Мне уютно, как в отчем доме. Мне хорошо и спокойно. Тетя Шура, как и свойственно уроженцам Ленинграда, высококультурно, вполне поэтически излагает любую мысль, что, вероятно, передалось Витуну и его старшему брату Коле. Слушать их не менее интересно, чем Ираклия Андронникова, а воспринимать их повествование одно удовольствие.

Об этом и прочем рассуждаем за столом, костим косноязычие некоторых товарищей (наших общих знакомых), вдыхаем дым невозможно много курящего Витуна, переходя на околофутбольные, любимые нами темы, утомляя мою вторую маму длиннотами, специальными подробностями и приключенческими разнообразиями.

Назавтра я исчезаю так же быстро, как и возникаю. Людям в очень почтенном возрасте не нужна лишняя суета. В этом и состоит гостевая наука или гостевая мудрость — “не докучать, соблюсти меру пребывания”. В этом и состоит жизнь во всей ее противоречивой полноте, ежемгновенной печальной учености, которую никак не удастся поставить позади смирения. Но я радуюсь тому, что уезжаю вовремя, сохранив добрые чувства, не наскучив второй маме...

Кошелек

Жизнь, в которой преобладает один из смертных грехов, когда хочется больше, чем полагается, полна горестей необъяснимых. Спасение от них — молитва, прощение, слезы, подвижничество, служение идее. Но прежде тысячадневная подробная исповедь не в общем смысле, как практикует

церковь, а покаяние каждого отдельного фрагмента. Т.е. вторичное проживание судьбы. Т.е. проделывание того, что уже известно, пройдено, прочувствовано, но как бы в ускоренном темпе. Иными словами, просто освещение прошлого яким светом, просто перечисление той правды, которую очень хотелось бы похоронить, чтобы ни одна душа не проведала о твоих проделках. Что-то вроде лечения исповедями. Но для всего исповедального процесса нужен некто, гуру, учитель, наставник, предуведомитель, дающий определенный уровень, являющийся ретранслятором, голосом небесной канцелярии для выполнения равноапостольской миссии. Ибо человек, умеющий привести к Богу несогласного и противного, равен первосвященнику и может быть сам собою рукоположен. Ибо значительно тяжелее вести к вере и смирению одного крайне несмиренного, чем руководить многими миллионами верно-подданных религии.

Перед вами наиболее короткое объяснение того, чем я сегодня занимаюсь, того, чем я сегодня излечиваюсь от наиболее трудного порока человеческого — клептомании, воровства, может быть, это как-то связано с алчностью. Рискну сказать, воровство практически не излечимо, так как сей вид порочной человеческой деятельности можно в равной степени назвать и разновидностью искусства, фокусничеством, ловкостью рук, направленными не на созидание, а на разрушение.

Дело еще вот в чем, я нетривиальный вор, может быть, вор классический. Главное мое отличие состоит в моей исключительной образованности, в высокой духовности, позволяющей мне, собственно, за счет исповедей не желать чужого имущества. Как, например, у человека, не испросившего помощи у Бога супротив преобладающего чревоугодья нет шансов подняться из-за стола с чувством голода.

Но ничего не могло удержать мои алчные устремления, помыслы и антимолитвы в поезде. Ничего не мог поделать я, борясь, а затем и сражаясь с диким, первобытным и необузданным желанием “взять что-нибудь из плохо лежащего кошелька”. Что только не вытворял лукавый, зная о моих сомнениях и мучениях. На какие только хитрости не шел он, чтобы заполучить мою чистейшую душу, пораженную неизлечимым смертельным заболеванием. Некий Виктор, попутчик

по купе, сразу осаженный веским и убедительным “я не пью”. Добрый и неисповеданный Витек, спортсмен времен социализма, положивший здоровье, как и я, за талоны, за идею, едва ходя на больных ногах.

Витек, как специально, выкладывал мне тайну за тайной, многократно подогреваясь глотком водки. Ты ведь не знал, что я работал с тобой в школе “ангела”, это когда я перевоплощаюсь в собеседника и говорю о том, о чем ему говорить боязно без моего стимулирующего личного монолога. Ты ведь откровенничал на уровне первого класса, но какие глубины ты затронул, часто убегая курить, уже не пряча кричащий кошелек, просящий меня взять его, подержать в руках, заглянуть в него по-дружески.

Венцом твоего творения, уважаемый Виктор, снизошло опьянение, потеря бдительности, кошелек, видный из-под брошенной одежды, надзирающий всю ночь за моими действиями. Кошмарные ночи, как правило, очень длинные. Я отсекал помыслы словами, неуместными в жизни, я гнал размышлениями похотливые мечты. Кошелек был неумолим. Он свисал с края постели, за спиной отвернувшегося и от души храпящего Виктора. Он манил, как безхозное казначейство, до утра издеваясь, щекоча мое забкое, беспринципное “хочу”.

Выходя, Виктор, одурманенный водкой, казалось, вообще забыл о бумажнике, не взглянув на него, он бросил мне “пока” и ушел бы, если бы не божья благодать, спасающая меня, давшая силы крикнуть вслед Виктору и остановить его...

Экономия

Первым просветителем моей дикости и необузданности считается, конечно же, мама.

Я оказался достойным преемником ее традиционно смиренного, осторожного, осознавшего и голод, и холод, и лишения мышления. Увещевания и мольбы, обращенные к голосу разума детей, неубедительны, никогда они не имели успеха. Действует разве что сила примера, вовремя вложенная идеология, какой бы нелепой она ни казалась. Много лет спустя я осознал то великое смирение, подаренное мне матерью, ее непрестанными повестями о том, что войны мы не видели, что они в детстве ели одни лепешки из мороженого картофеля,

что варили суп из травы. Что у них на десять человек водились три пары валенок. И что сегодня очень трудно жить, уголь дорогой, дрова привезли сырые и крупно поколотые, что печки не вытапливают большой и холодный дом.

Таким образом, среди множества прочих я и выпестовался. Основательно предупрежденный о таинственных ворах, шныряющих по улице Юшкова, о том, что кто-нибудь зайдет и заберет в сумку обувь, не спрятанную в веранду, я вложил в свой череп идею осторожности и неправдоподобия бытия. Я внезапно воскресил в возрастной памяти, помнящей мельчайшие подробности времен далеких, жалкие и ноющие упреждения о неэкономном отношении к продуктам, о том, что суп пропадает. Мама усаживалась за стол, осуждая нашу разборчивость, принималась доедать несимпатичное первое блюдо, ворча и причитая “Войны вы не видели...” Мама не могла взять в толк, почему же мы не хотим поесть такой вкусной пшенной каши, вспоминая: “Мать чугунок перловки наварит, так мы аж деремса, пока отец ложкой по лбу не треснет...” Доведя рассказ до логического завершения, вызывая у меня чувство вины, мама вновь совершала разрушительное для моей психики действие, ложку за ложкой, проглатывая слезавшуюся, поблекшую, неаппетитного вида кашу. Продолжая недовольно причитать и воспитывать нас.

Раздробление мировоззрения на множество не связанных уделов довершали воспоминания о правильной экономии во время практики в Малоритском районе Брестской области. “Я куплю всего понемногу, разложу по пакетикам, отложу деньги на танцы, возраст у меня большой был на те времена — двадцать шесть лет, надо скорей выходить замуж...” В таких внутренних раздорах и смятениях, в страхах и беспокойствах проходила моя юность. В таких лишениях, на самом деле не существующих, формировалась моя тревожная душа. Что же я обрел в действительности, достойный сын благочестивой Веры Никитичны? С малых лет отправленный в странные образцы житейской добродетели и осторожности. С отроческих дней возымевший страх перед банальным течением жизни, неуверенность перед завтрашним днем, растерянность перед тем, что еще не наступило и не придет никогда.

Внутренние раздоры в буквальном смысле губительно действовали на течение, прозябание, иначе и не назовешь то, что

происходило со мной в реальности. Я напоминал легендарного скареда, живущего под личиной беспечного мота. Я доедал блюда, пригодные лишь для мусорной ямы. Я воровал на гулянках все, что можно унести в карманах. Я варил борщи и каши на семь дней, хотя дочь протестовала против несвежих блюд. Я с удовольствием ходил в гости на чужое угощенье, делая вид, что не голоден, вскоре, однако, уплетал за обе щеки предложенные деликатесы. Даже то, что мне полагалось съесть за столом, брал воровски, в тот момент, когда хозяин или хозяйка отворачивались, непременно сунув в карман две-три конфеты или горсть орехов, чувствуя себя при этом очень скверно от внутреннего бунта и неуверенности в себе, в том, что я делаю.

Я разламываю зубочистку пополам, неиспользованную часть укладываю обратно в коробочку и ощущаю нелепость бессмысленной экономии, кошмарность желаний, добывающих меня окончательно и бесповоротно. Я с изумлением гляжу на себя со стороны. Моя душа ликует хотя бы оттого, что я как-то оторвался от преследующей меня всю жизнь житейской лжефилософии, в какой, право же, есть доля истины...

Какая честь

Отсутствие смирения довольно болезненно отдается в моей жизни, принося невероятные страдания от мании величия, чувства исключительности, своего божественного предназначения и прочей психоэмоциональной дребедени, именуемой среди психологов, решающих чужие проблемы и не способных разобраться в собственных, шизофренией. Отклонение в душевном здоровье в свою очередь ведет к проблемам физическим, социальным и т.д. Возвращаясь откуда-нибудь, я всегда и очень нехорошо думаю о людях, препятствиями возникающими на моем пути. Я ненавижу вот эту женщину, медленно плетущуюся впереди меня с огромной сумкой, тогда как я опаздываю и мир должен это понять. Я бы не прочь управлять миром, людьми и обстоятельствами, черт бы побрал эту толстуху с огромной сумкой, вдруг остановившуюся прямо у меня перед носом на задней площадке троллейбуса. Вот этот дебил мог бы податься вправо, чтобы не мешать мне свободно пройти вперед к милой девушке. А та рыжая старуха, толкнувшая

меня рыхлым телом, получила в упор метафорку “старая дура”, процеженную с такой ненавистью и отраженную с легкостью первой ракетки мира “на себя посмотри”. Правда отрезвила, огорчила, возвратила меня в состояние “здесь и сейчас”. Правда заставила меня пристальней взглядеться в старуху, вдруг показавшуюся мне ровесницей.

Чаще всего оказывается, что я не нахожусь в истинном измерении. Оттого жизнь моя тяжела и неопишима, словно подвиги затворников, оттого благодетельное направление жизни не желает принимать мою душу. Меня, как не желающего смириться, тут же подхватывают вездесущие силы тьмы и с огромной “любовью” ведут подальше от Господа.

Примерно так, однако, происходили события со мной в данный момент. Убогонький полупьяный старикашка, заорал на меня, убого сидящего: “Уступи место женщине...”

Я поднял голову, я, мужчина почтенного возраста, с огромным желанием засадил бы ему между глаз, но опешил, узрев довольно спортивного деда лет на двадцать старше меня.

Слава Создателю, пролетал момент истины, я сделал жест для меня не характерный, я поднялся быстрее, нежели пассажиры смогли что-то понять. Но как хотелось съездить ему по роже.

Точно так же я почувствовал себя — бесприютно, когда в общественный транспорт ввалился полупьяный агрессор и начал ругать последовательно экономику, политику, социум, употребляя непечатные и более суровые для произношения слова. У меня не хватало мужества сказать ему правду в глаза, потому что только правду признает и правды боится зависимый человек, потому что пьет от страха. Как блестяще сказал мастер трезвости одного дня: “Пьет, значит очень боится...”

И вообще после того, как мои пьяные чувства сменились болью трезвого осознания, я ничего не испытываю, кроме агрессии, злости, страха и чувства вины, кроме алчности и злобы. Недаром народная молва утверждает: “Избегай людей агрессивных и злых”. Стало быть, избегайте меня. Это я только с виду добр и беспечен, весел и бесхитростен. Ничего подобного, мне ничуть не присущи перечисленные добродетели, мне чуждо чувство благодарности, мне кажется, и это правда, я оказываю великую честь миру тем, что благополучно в нем

пробываю. Мой шеф считает, что мне повезло с работой и с ним, и с тем отношением, какое я здесь получаю. Втайне я считаю, что я поднял фирму на мировую высоту только своим явлением, только тем, что оказываю великую честь всем и каждому, общаясь с ними запросто.

Опамятовался я в один миг, повинился перед Богом, выходя из троллейбуса, напоследок саданул якобы случайно толстуху и пьяного, и деда, продрался напролом, поиграл в воображении роль Бога, вышел в пугающую реальность и очень быстрым шагом заспешил по обочине. Потому что так мне кажется безопасней и спокойней...

Стеснение

В числе многих внутренних эмоциональных конфликтов, постепенно забытых, упрятанных в подсознание и ставших причиной необъяснимого внутреннего беспокойства, я бы назвал странное стеснение своей неадекватной фамилии. В тот день, как и обычно, мы без вдохновения томились на уроке глупой и ненужной нам математики. Я вслушивался в юмористический стиль Валентины Михайловны, тщетно пытающейся хоть как-то оживить скуку утомительных цифр, звучащий примерно так: “Здесь мармеладки не налеплены, шоколадки не красуются, зефиринок не выдать...” Уставшие одноклассники просто слушали, я же, боясь училки и желая ей угодить, всхлывал через силу, чувствуя себя при этом более чем скверно. Пожилая преподавательница, сделав паузу, начинала рассказывать об отличниках параллельного курса, приводя в пример Ленку Жаткину, вызвав у меня глупый истерический и весьма неуместный смех. Принимая мою реакцию на счет неблагозвучности фамилии, математичка жестоко осадил меня. Глядя мне в глаза, зная, что я ее боюсь, рявкнула: “Ты думаешь — Сендер — красиво звучит?”, — напаяв на мою неуверенность еще один комплекс. Тогда я не думал, насколько все это серьезно для будущего развития личности. В тот момент непедagogический жест учительницы совершил свое маленькое преступление. Только сегодня, исповедуясь в прозе, помогающей мне отдохнуть от нашествия стихов и засилья Музы, спасая себя для будущей Нобелевской премии (тот, кого выдвигает уважаемая конфессия, еще услышит мое

слово), я получаю спасительную благодать, чувствую настоящее душевное облегчение.

Как известно, тот, кто единожды ощутил милость небес, будет пытаться искать ее всю жизнь осознанно или по наитию. Чувствуя приближение земного предела своей жизни, во всей силе мужества я обращаюсь к исповедальности, зная о ее целебной силе, исцеляющей от любых недугов. Я все время ощущаю некую неловкость, внутреннюю ущербность, душевный гнет, когда люди произносят мою фамилию вслух. Я не принимал образ и во времена футбольные — тогда дикторы объявляли состав команды по микрофону, усиливая звук на все континенты. Что-то глупо шевелилось у меня внутри при обращении ко мне по фамилии, при озвучивании состава команды в раздевалке. А ласковые, доброжелательные, рассудительные начальники отделов кадров, паспортных столов, ЖЭСов, невнимательные кассирши, глуховатые сотрудники отделений связи, друзья приятели, величающие меня не по имени, гундосые соседи, говорящие про наш род непоэтично “Сэндэры...”

Постепенно сформировалось правильное отношение к неправде, смирение перед старшими, ласковость и приветливость ко всем, означилось в душе милосердие. Последовательно младенческое добродушие соединилось с пылкостью сердца, но неприятие своей фамилии по-прежнему донимало меня. Некто маленький, востроносенький испуганно вздрагивал, отзываясь на неизменный вопрос: “Повторите еще раз, после “с” “е” или “э”?” Или “У вас какая-то необычная фамилия...” После чего я спешно оправдывался, объясняя корни происхождения надуманными образами, боясь еврейского оттенка.

И наконец, мое внутреннее негодование прорвалось. Я завел неприятный разговор со своей старшей, а потом и младшей сестрой. Мы пришли к выводу: у нас потрясающе поэтическая фамилия. Мы с гордостью озвучили то, что все мы с долей стыда носили в сердце. Как выяснилось, все мы испытывали одинаковые чувства, в известной степени смущаясь чудесной, одной из самых благозвучных в СНГ фамилий: “Сендер...”

Теперь я, то рассеянный, то пылкий, то негодующий, то искренний по тому или иному поводу комплексующий, с гордостью уверяю, я не сделаю того, что много лет мне хотелось

втайне исполнить, я не поменяю свою фамилию на очень красивую мамину — “Новиков”. Хотя такой вариант едва не исполнился...

Великое заблуждение

Пройдут десятилетия, пролетят века, промчатся тысячелетия, но, вероятно, еще многие смертные попытаются сделать то, что сейчас вытворяет наш заместитель генерального директора по строительству. В самом деле, не творит, «вытворяет». А что бы вы сказали о человеке, в зрелом и почтенном возрасте ищущем доказательств отсутствия Бога? Думаю, ровным счетом ничего. Пусть себе раскапывает и доказывает недоказуемое. Пусть себе тешится на старости лет удовлетворением атеистических амбиций. Пускай безупречные учителя святой бедности и нищенской святости, помещенные великим Данте в рай, будут ему единственными судьями и беспристрастными оценщиками. Пусто было бы на земле без атеистической логичности, без их тошнотворной аргументации.

Наш строитель вызвался помочь дочери с одной статьей атеистического толка. Истоиво и самозабвенно просматривал он разные источники, надеясь найти что-нибудь основополагающее. Предполагая остановиться на «Мифах народов мира», он обратился ко мне как к книголюбу. Я любезно предоставил в его распоряжение издание «Религии мира», где он завяз окончательно и надолго. Блуждая в числе иных замечательностей, в мертвоватых уплощенных копиях, снятых исследователями с туманных мифических героев прошлого, наш друг окончательно обосновался в изобилии легендарных течений, в хаосе примитивных верований, в монолите восточных и основных религий.

«Я почти доказал отсутствие Бога...» — восторженно восклицал строитель, будучи воплощением социальных добродетелей, оставаясь народолюбом и демократом, но не правоведемником коммунистических начал, а просто хорошим нормальным мужиком и своим парнем при любых обстоятельствах. Он же герой, противоположный религиозным фанатикам. Я отворяю дверь комнаты переговоров: «Ну что, Валерий Константинович, нашли доказательства отсутствия Бога?» Он оживает, но, не испытывая любви к Богу, вспыхивает в мертвом атеизме

логики, инстинктов. «Да, конечно, есть много интересного», — он тут же пламенеет, загорается и полыхает эксцентричной идеей, такой атеистический праведник, чуждый мистически символического ощущения бытия.

Я хорошо знаю тревожность, опасность подобных игр с небесной канцелярией. Естественно, я отмалчиваюсь, не высказывая никакого мнения, вернее, не имея никакого мнения по данному поводу. Я рассеянно внемлю, не слыша народного праведника, как отметили бы историки, ведущего родословную отнюдь не от богословов. Дело в том, что я не представляю, как следует отвечать на подобные выпады сил реакции жонглера божьего.

Я, препоясанный простым вервием, я жених госпожи Бедности, друг божьего прощения.

Мне нет никакого дела до реформаторов-санитаров, пытающихся произвести всеобщую санацию божественности. Да мало ли что еще...

Через свой созерцательный и чувственный опыт я обращаюсь к самому проверенному методу спасения собственной души от скверны. Улетаю в медитационное состояние к воображаемой цели и обращаюсь к свету. Вспоминаю, как Раймонд Луллий дерзко ответил «Бог не часть, а Все...» Наблюдаю, как отяжеленный грубой реальностью, наш друг ступил на опасную тропу. К тому же он предствлял определенную опасность для меня, находящегося в процессе формирования запоздалой или поздней духовности.

Я держу ухо востро. Я никому не позволяю трогать дорогое и близкое для меня чувство чуда и удивления, чувство счастья и цели, чувство смысла и восхищения. Как говорится, рефлексия разрушает мистическое состояние. Поиски Бога ведут к безверию, если эти изыскания проводятся путем поштучного прощупывания. Бог — это комфорт души, ее потреба и боль. Бог не требует внешнего закрепления — в догмате или же в символе.

Только ничего не ответил я строителю, только помолился и смиренно промолчал...

Письмо к известному поэту РБ

Итак, вы оказались в избранной толпе, вы закружились в вихре перестройки, вы одурели в своей «всепитейной» ис-

поведи. Вы совершили подвиг, превратившись в бродячего монаха, отринув хмельные страсти отныне и присно. Угодив в замечательные своей новизной, трезвые правила грамматики, какие вы ощущаете времена? Какие тиски трезвого склонения способны выдержать Вы, заключив веселье, плач и песню в новую, непонятную Вам жизнь? Да, теперь вы распеваете, поскольку «распивать» не приходится. Да, забыл представиться, специалист по трезвому мышлению и поведению, мастер по изменению трезвой личности, дабы тот, кто оставил вещества, изменяющие сознание, не чувствовал себя трезвым дураком.

Да, я не оговорился, именно, чтобы он не ходил трезвый, как дурак. Это довольно точное определение того состояния, из которого трудно вырваться на новое качественно мышление. Это могила для – просто трезвых – не прошедших болезненные личностные изменения. И как вы себя чувствуете в этой братской могиле, живя одиноко и желчно, любя раздраженно и неумело. Как вы заставляете искомый смысл, который дан вам изначально, сноровистым образом присутствовать в способе – приеме, сработанном из слов?

Каково же вашей душе присутствовать в этом приеме, сращенном с прошлой жизнью узами брака.

То, что вы смогли стать на новый путь развития, говорит о вашей внутренней силе. То, что вы продолжаете творить в новом качественном состоянии, говорит о недюжинных способностях. Но как же вы можете жить, оставаясь на неизменном поэтическом уровне так много лет? Я говорю вам вещи чрезвычайной важности! Помните, Марина Ивановна

Цветаева пропела «Сказать вещь». Вероятно, вещь как смысл. Впрочем, вы не поклонник русской поэзии. Вы ярый поборник и защитник белорусской культуры. Прошу вас, умерьте свой пыл, успокойтесь, на великую национальную культуру Беларуси никто не нападает. Скажу больше, никто не собирается растлять ее в дальнейшем. Добавлю, и врагов у нее нет. Так что успокойтесь, говорю вам еще раз.

Коль уж речь зашла о вашем волнении, то скажите правду самому себе (не так давно я читал ваши стихи в «Гомоне»), признайтесь самому себе, найдите в себе мужество. Вы же смогли отказаться от спиртного? Так сумеете оценить себя по достоинству, пребывая на одном уровне вот уже много тысяч

лет. И вы ни за что не сможете прибавить, не изменяя себя. Таковы законы развития трезвой личности. И творческой личности тоже. Вы не сможете прибавить в мастерстве, не проведя болезненных личностных подвигов. Вы находитесь в состоянии поэта, взявшего в руки перо. Представляете, какой путь ему предстоит пройти, прежде чем он поднимется к той черте, выше которой начинается настоящая поэзия. Так вот к чему я клоню. У вас, возможно, еще есть шанс видеть редкое зрелище, присутствовать при встрече с настоящей Музой. Она ждет вас в толпе и многолюдстве, она всегда рядом, но не с вами, я читал ваши сочинения о «мове». Дело, конечно богоугодное, но типичное для поэтической глухоноты. Сделайте усилие, будьте скромнее, не выпячивайтесь на всякие там премии, включая Нобелевскую. Есть люди более талантливые, чем вы. Есть поэты, прошедшие настоящее страдание как таковое, понимающие суть любви и справедливости раньше красоты окружающего мира. Но они скромны и сдержанны, у них нет парадно выстроенных стихосложений, величавого и жуткого чувства избранности. Отмечу также ваше оцепенение и духовное напряжение, которым вы заражены, если так можно выразиться.

Постояв несколько минут у ваших творений, я скажу, они великолепно догматичны.

Именно догматизмом поэтическим. К сожалению, он трудно преодолим. Посему примите мое сочувствие: поэт-символист, король рифмы и техники стиха, Анатолий...

Концертные пьесы

Как забыть ночные бдения с шестиструнной гитарой? Как не вспомнить спасительные занятия по Агафошину или по Ларичеву. Как же не сказать ни слова о Карулли, гитаристе-виртуозе, оставившему благодарному человечеству блестящие пьесы, школу игры на шестиструнке. Дивные и чудные мастера, что делал бы я без ваших блистательных этюдов, открывших мне возможности гитарной техники. Как почувствовал бы я легкость в пальцах без взыскательных упражнений для техники правой руки. Нет, я не выжил бы в нескончаемые ночи с нелюбимой женой, не будь ваших изящных произведений. Не от них ли чудятся мне поныне ночные сонные голоса, незведомые, неземные аккорды.

В армии меня научили исполнять диковинную цыганочку. Каждый гитарист, встреченный мной на жизненном пути, оставлял мне несколько вроде незначительных штрихов, музыкальных хитростей, новых возможностей гармонии. Но чего-то не доставало. Чего то не хватало для полного гитарного счастья. Душа требовала чего-то принципиально нового, отличного от предыдущего опыта. Я находился в роли личности, попавшей в тупик, безыдейность, недоумение. Даже ночью я спал скорбно, как человек, лишенный пути. В той гитарной жизни я достиг цели. Мои беспорядочные видения, противостественные реакции в реальности подтверждали тревожные догадки. Я взялся за ноты.

Таинственные знаки занялись моим молчаливым руководством. Жуткая поспешность, какая случалась со мной на всякой новой жизненной стезе, вновь овладела мной. Я пробежался по нотной грамоте, будто по бульвару, приноровившись упрощать сложные моменты. Спешка с работоспособностью творили двойное действо. Я быстро рос в мастерстве, но оставался не изощренным в нотной грамоте, укоренив не хорошую привычку.

Я располагался на нашей неопрятной кухне, «жрал» кофе литрами и до первых петухов повторял и повторял концертные пьесы Джулиани. Спешка и страх, которые можно объяснить лишь с точки зрения психологии, довершали свое дело. Семь-восемь часов упорных тренировок, повторов, гамм, быстро давали о себе знать. Пальцы довольно скоро начали летать по грифу. Квартира наполнилась гитарной классикой. Любимая дочь слушала сказочные истории о королеве и молодом принце, танцующими на балу, и вслед звучал трогательный менуэт. И следом моя сентиметальная дочь, помечтав, крепко засыпала. А немилая супруга часто заглядывала на кухню, перебивая музицирование одними и теми же вопросами: «Сендер, иди спать...» Она называла меня по фамилии. То ли боялась, то ли не верила, что такой красавец — ее муж.

Я не чувствовал запаха молодой весенней травы, доносившегося в открытую форточку.

Я не видел нежно-зеленого склона, расположенного напротив окна. Я не замечал осветляющих склон первых солнечных лучей. Я тихо отдыхал от сонаты Ре-мажор того же Джулиани,

повторяя ее несчетное количество раз, почти запомнив, как хорошо выученную сонату того же автора До-мажор. Я не мог легко сыграть простенькую мелодию, но заучил концертные вещи, длинные, грандиозные. Тогда я по-настоящему ощутил неограниченные возможности старинного инструмента с шестью струнами. Тихое утро ничем не омрачалось. Не растраченное душевное тепло и отправились по иной дороге, воплощаясь в небрежное исполнительское мастерство, в возможность произвести впечатление. Хотя бы на себя. Я думаю, у меня это получилось.

Супруга вновь появлялась на кухне в прозрачной ночной рубашке и напоминала скорее привидение, чем женщину. Запах сотен сигарет исходил от штор, потолка и обоев. Меня не умиляли женщины с сигаретами, такие, как моя жена. Она сделала себе ранний кофе, по-сиротски присела на краешек углового дивана. Я сжалился над ней, гоня глубинные мысли о бессмысленности жизни с этой женщиной, легко и душевно заиграл отрывок из Джулиани...

Иди к черту, Чертков!

Когда же дело доходит до позитивного мышления, случается вот что. Я начинаю проводить моральную оценку чужой позиции, вместо того, чтобы сосредоточиться на своей.

Ревностный богослов (он пытался изменить меня) советовал так не думать, простить брата заблудшего. Но до всего этого мне пришлось очень долго готовить себя к освоению духовной учености. Подготовить себя — мстительного и обидчивого — к встрече с вещами значительно более тонкими, нежели поэзия или музыка.

Как видим, мое время напрасно потрачено на вынашивание, на вскармливание греха. Градация ответственности перед самим собой, меры вины, степень наказания. Чем не муки адавы? Правда, я выискивал обходные пути, минуя рвы и ямы. Правда, наука эта еще горше, чем кажется. Много лет ненавидеть и не иметь представления о прощении. Смешно только со стороны. Я прохожу мимо дома Чертковых и плюю в их сторону. Можно подумать, это и есть подлинная жизнь. Разумеется, нет! Совершенное безумие злиться на крепенького старика, цепко схватившего тебя взглядом. Он-то здесь

причем? Он паркует машину, оценивает тебя с ног до головы, естественно, не узнает.

Он находился рядом и неотлучно с сыном. Он сопровождал чертенка на тренировки.

Иногда мы ехали на занятия в ДСШ вместе, вроде бы сдружились, так же сообща возвращались, ругались, мирились. Проходили месяцы и годы учебной футбольной бытности.

Я занесся и считал себя пристойной Сорбонной, чертенка же — базарной бурсой. Я высказал ему правду в глаза, а правда, как известно, глаза колет и не только их, но и создает угрозу действию инстинктов. А это самое страшное и всегда опасное мероприятие, имеющее обычно неинтеллигентные последствия. Я ни с того, ни с сего сделался попроще да поглубей с “чертом” (его тамошнее прозвище). Ему, крайне самолюбивому, проще было бы выполоскать рот мочой, съесть несколько пилюль из дерьма. Рога у него пошатнулись и только, а следовало бы сбить полностью. Возможность имелась. С позиции футбольного значения чертик числился на побегушках даже не шестеркой, прислуживал за столом, чистил одежды, ваксил обувь. Словом, унижительные контрасты, едва ли не богохульные, низвергающие чертика с вершин воображаемого величия.

Он набросился на меня, когда мы двигались в пустынном месте к стадиону “Шахтер”.

Он заговорил, расслабил, “открыл” меня, кроткого и немогущего. Он ударил меня, отведя прямую правую руку далеко в сторону. Внутренняя часть довольно крепкого кулака угодила точно между носом и верхней губой. Вполне содержательный урок. За излишнюю болтливость. И поделом мне. Голова бросилась назад, едва не оторвавшись, кровь, слава Богу, не брызгнула, ногдауна не случилось. Я мгновенно сгруппировался, бросил тело на обидчика, коварного, как татарин. Но черт оказался не менее ловок, чем я. Да и люди появились там и тут.

Каждый год, как и сейчас, я так или иначе оказываюсь рядом с домом ненавистного мне черта. Какие сцены мстительности я только не строил в воображении! Каких друзей не привлекал на свою сторону в своей беспокойной умозрительности, ничего не делая в реальности. Чем не безумие, чем

не шизофрения. Мышление весьма далекое от реальности. Единственное, чего я достиг, в любой момент спора с самим собой, прервать его, заключив хотя бы и временный союз со смирением.

Я наблюдаю за смотрящим в меня старшим Чертковым и чувствую, время прощения еще не наступило. Я даже не готов поговорить с отцом, боясь сорваться и наговорить дерзостей и впасть в грех осуждения. Стало быть, час прощения действительно не пробил. Должно быть я в действительности и в реальности не располагаю достаточным смирением, чтобы сделать один-единственный шагочек. Прежде чем совершить первый шаг к примирению. А не петушиться, не обнажать ежесекундно шпагу спора, клинок словесно аргументированного человеческого характера. Но скоро я останавлюсь и скажу: “Разрешите вас на пару слов...” И мы проговорим с его отцом до позднего вечера, и я успокоюсь...

Сестра моя любимая

Так что же, звучит крепкое и прочное слово чувства, творческое и образцовое? Неужели такое возможно в нашей семье, в наших братских отношениях? Позже историки нашей фамилии найдут где-нибудь на обломках цивилизации мои чувственные, несгораемые, неистребимые воспоминания. Они отличаются от умных рукописей тем, что еще и не исчезают. Как божии свитки, как чудотворные иконы и мощи. В них и прочтут “Я, мастер слова, пишущий о чувствах впервые произнес слова любви маме, сестре...”

Это равносильно тому, что мусульманин забыл мусульманство, буддист отвернулся от Будды, христианин осквернил имя боже. Это я предал ложь и возвратился к честности.

После пятилетнего отсутствия, все еще боясь водочных изделий, еще не веря в то, что произошло, я наконец засветился на пороге сестры Валентины. Мы долго не виделись, давно не общались по родственному в новой жизни, свободные от предрассудков, страха и алкоголизма. Я испытывал жуткое чувство вины, стараясь не утомить своим мельтешением. Я завтракал, смущаясь ее щедрых блюд, полных любви и солнца. Я плохо себя чувствовал во время вручения мне денежной купюры на дорогу. Я приходил попозже, чтобы не надоесть.

Осмелюсь неловко заметить, мне уже пятьдесят лет, я сам в состоянии о себе позаботиться. Но втайне я ощущал, приятно иметь в кармане дополнительную банкноту. Порой казалось Валя делает то, что не довершили в воспитании родители. Они относились к подобным ситуациям достаточно безответственно или просто невнимательно по занятости своей.

Я делал жесткий массаж спины Валентине, болтал без умолку о жизни, вспоминая те или иные эпизоды нашего далекого детства. Удивительно, но старшая сестра помнила совершенно другое. Она видела все в ином, непонятном для меня свете, под непонятным мне углом. У меня сердце падало вниз от сострадания, когда я узнал, в какой обуви она ходила в техникум. Мне стало стыдно и досадно за такие промашки родителей.

Иногда в квартиру влетал сын Вали Леша. Молодой, сильный, несобранный, он всегда хотел кушать, всегда рассказывал какие-то несусветные истории. Сестра обязательно совала Леше деньги, наставляя, поучая с любовью. “Лешке я не уделила достаточно внимания...” — сетовала Никифоровна, вероятно, испытывая крайнее чувство вины.

После смерти нашего общего любимца Саши, старшего сына Валентины и моего первого и самого дорогого племянника (вечная ему память), сестра только сейчас пришла в себя. Она крайне удивилась, отметив: “Вспоминаю Сашу и уже нет слез...” Произнесла с горечью, сухой горечью, наполненной тихими слезами безысходности. Саша умер на Крещение в день рождения сестры. “Преподнес мне сынок подарочек...” — отметила и потемнела в лице. У блаженного Саши случилась сердечная недостаточность. Родственники жены и его дочери, настроенные против отца, на похоронах вели себя ужасно.

В день приезда младшая сестра Галя повела меня на рынок, чтобы показать то место, где торгует Валя. Радость встречи омрачилась сестрицыными выяснениями, кто есть кто “Приехал, называется, в гости, — потешалась Валя, — устроили сестрички тебе день знакомства...” Я и в самом деле чувствовал себя не очень комфортно, оглядываясь на людей, не представляя, что делать.

В один из приездов я понял, Вале нельзя раскрывать свои коммерческие планы. Потому что она обязательно старается

оплатить мне покупку. Потому что она окупает мне поездку. Потому что она хороший человек. Поэтому в следующий раз я совершу тайные приобретения. Мне не нужно лишнее чувство вины перед самим собой. Мне не следует обманывать себя. Мне нужно без страха, так же, как и маме, привести сестре поклон из дальней республики и заветные сердечные слова: "Валя, я люблю тебя..."

Дядя Женя и тетя Лариса

Я вторгаюсь в судьбу абрикосового квартального проезда, но не во всю целиком, а в ее временной отрезок. Я не приезжал к дяде Жене и его восхительной жене тете Ларисе ровно тридцать лет. Мне страшно и весело бежать по утренней улице и по-мальчишески срывать желтые и грязные от пыли жердели. Я испытываю чувство вины за затянувшуюся зарядку, потому что тетя Лариса наверняка уже приготовила завтрак и волнуется обо мне.

Потому что мне немного не по себе, что я, как и много лет назад я ничуть не повзрослел.

Я бегу вдоль оживленной трассы, пролегающей по бывшей тихой улочке, кланяясь каждой абрикосовой веточке. Я буквально проглатываю абрикосы целиком, как будто пытаюсь насытиться на всю оставшуюся жизнь. Исподволь, как матерый похититель фруктов ценностей, я внимательно наблюдаю за окнами хозяев, не желая осрамиться.

Я нагрянул в приморский Таганрог по наитию, по напоминанию свыше. Стыд и срам, столько лет не видеться с дядей, младшим из рода моей мамы. Мне почувствовалось что-то, захотелось увидеть двоюродного брата Володю. В конце концов накупаться в Азовском море, напиться айвазовщины для будущих стихов да и вообще, все смертно. Надо радоваться в текущей жизни, поменьше умничать, больше чувствовать там, где прежде приходилось рассуждать. Впрочем, не помешает обрости тиной и лечебной грязью, маллюсками и водорослями ленности и безделья.

Надо отметить особо, младший из Новиковых, брат моей мамы не узнал любимого племянника. «А вы кто», — поинтересовался семидесятилетний крепкий пожилой мужчина. После объяснений мы обнялись. Я выложил скромные гостинцы,

выставил бутылку водки, медленно осознавая, что этого делать не следовало. У дяди виделась проблема.

Тетя Лариса появилась скоро. Меня встретили тепло и сердечно. У меня даже создалось впечатление, что я племянник жены Евгения Никитовича, а не наоборот. У меня появилось ощущение, будто меня ждали в гостеприимном доме все тридцать лет.

Ежегновенную печаль чувствовал я, слушая воспоминания бывшего старшины сверхсрочной службы, бывшего шахтера, некогда работника металлургического завода, рано ушедшего на пенсию по горячей сетке. Драматическое напряжение возникало при воспоминании об ушедших братьях и сестрах его, моих родичах. В живых остались старшая сестра, моя мама и самый младший дядя Женя. Я, слава Богу, не стал сочувствовать родственнику и его другу алкоголю. Они явно находились в долгом драматическом томлении друг по другу. Да кто разберет мелкие звенья, сцепленные в длящуюся во времени цепь судьбы? Кто скажет, молитвы привели его к чудо-женщине, каких больше не найти.

Тетя Лариса кормила меня божественным супом, ароматным мясом с вермишелью. А после того, как я насытился, изрекла: «Чай попьешь у Володи...». Страшное это дело двойкие чувства. Я обрадовался встрече с братом, и одновременно я испугался позднего угощения. Я знал, что чревоугодьё властвует надо мной, чуял, что не смогу отказаться от кофе и пирожных. Так оно и получилось. Бисквитные изделия были из лучшего в городе магазина, жена гостеприимна, брат умен и тонок, рассудителен и мудр, дочь — красавица.

Мы очень хорошо пообщались, я объелся, увидел дивные цветы, распускающиеся прямо у нас на глазах. Брат у меня молодчина и мастер на все руки, я на такое не способен.

Я ворочался в душной постели, перегоревший на солнце, напитанный морскими пейзажами и обожравшийся от жадности. Меня донимала изжога. Искреннее раскаянье, посещающее человека во времена настоящей боли, явилось в сознание. Я вновь дал себе слово, не садиться за обеденный стол после восьми часов вечера. Мне снились высокие волны, бесконечное море, отражающее ослепительное солнце и марево жары, очевидно связанное с треклятым перееданием.

Утром я спросил у тети Ларисы: «Может быть, я храплю?» В ответ услышал: «А я ничего не слышу, я крепко сплю...». В дорогу тетя приготовила мне короб еды. Дядя Женя с трудом завтракал всухомятку. Брат Володя провожал меня на вокзал...

Меж четырех директоров

С точки зрения японского понимания производственной психологии, мне полагается довольно приличная зарплата, более чем солидные премии и продолжительный отпуск. Вредные условия труда обусловлены непосредственной близостью начальства, их постоянным присутствием, свидетельствующим, впрочем, все о той же трудности профессии. Как преподать себя объективно с лучшей стороны, как исхитриться воплотить себя во всеобщий опыт, как представить себя значительной фигурой? Таковы вопросы на службе государевой, таковыми предполагаются и ответы при решении этой, поистине евангельской сверхзадачи. Словом, донести обыденные перипетии моей офисной жизни. Выплакаться в контексте, воспроизвести фрагменты, вызывающие стрессы и несоответствия.

Как, например, в первое время я глубоко страдал от частых замечаний финансовой головы. «Толя, ты долго говоришь по телефону...» Заметила, отметила и была такова. Зацокала каблучками по звонкому полу, заронила мне в душу обиду и мстительность, досаду и горечь. Как хотелось какую-нибудь правду бросить ей в глаза, что-нибудь обличительное обронить ей на красивые сапожки. А правды и вправду не было, обличать было не в чем, вообще ничего не было, кроме борьбы в воображении, кроме придуманной ирреальности. А какой удар по моей низкой самооценке, страдающей хроническим недоумоганием? А каково мне, великовозрастному дитяти, слышать упреки в сторону моей забывчивости. «Он вообще ничего не помнит...» Ну, это я вам никогда не забуду, вспомню в монологе, унижу в строфе, чтоб потомки смеялись.

А слово, как гонец вечности, призывало меня к прощению. Мстить слишком низко, ненавидеть глупо и себе дороже. И я начал бояться шефа. Я вскакивал при его появлении, как будто видел новые улики на следствии. «Толя, кто есть в офисе, — интересовался генеральный, — Маргарита на месте?»

Видит Бог, я только что помнил о ней, знает Бог, я уже почти склеротик. И легко воскрешаю в памяти вплоть до подробностей события тридцатилетней давности, но тут же забываю, кто, где, когда. И, представьте, у меня благодушное настроение, как личность я свободен. Но вот открывается дверь, и на пороге возникает шеф. Вроде бы ничего не происходит, а я не в себе, мне беспокоенно. Я начинаю неестественно острить, производить впечатление, угождать, произносить то, что и в голову мне не пришло бы в его отсутствие.

Но, как уже сказано, меня окружает много заместителей Сергея Леонидовича. Он мудро, сдержанно защитил меня от нападков главного строителя по одной личной претензии. «Толя всегда внимательно относится к своим обязанностям...» — вежливо отказал шеф строймастеру. Я, разумеется, это запомнил, перестал смотреть в его сторону, затаив склоки и обиды. К тому же, строительный начальник располагается у меня за спиной, ко всему он довольно образован и поэтичен. После недолгих препираний мы, можно сказать, сдружились, положим, скорее, начали приятельствовать.

Отмечу, сполохи его слов мгновенны, сюжеты его остры, а мысли сюжетно заострены.

Именно в данное мгновение впечатаны глубокомысленные реплики коммерческого директора. Наш мыслитель зафлаживает меня слева. Коммерческого я не боюсь. В последнее время ощущаю свободное мышление в присутствии практически всех директоров. С одним беседую о смысле жизни, с Маргаритой — о душе, со строителем — о бренности бытия, с шефом — обо всем. Тем не менее, мне хотелось бы убедить их в том, что я говорю чистую правду насчет морального ущерба. Что четырехкратные психологические перегрузки с точки зрения японской производственной этики — физическая реальность нового времени, к сожалению, неоплаченная, но оплакиваемая. А я тоже хочу хлебать щи с мясом, кушать нежную свинину с овощами и быть...

К деду

Пересказав личные поступки, перечислив житейские примеры и, как принято, чудеса, я устал производить впечатление на домочадцев и принял решение поехать в гости к деду. Отец

моего отца пустил корни в Кировоградской области, Новомиргородском районе, в селе Мартыноша, взяв в жены женщину-молдаванку. Дед держал пасеку, грамотно следил за своим здоровьем, не перерабатывался при советской власти, во всем соблюдал умеренность и спокойствие. Мой предок, отнесенный Богом в разряд должителей, сформировался во времена до-революционные и, конечно же, большевиков и прочую рвань и дрянь, потопившую Россию в море крови, погубившую великую страну, не жаловал. Дед всю жизнь оставался по сути своей дворянско интеллигентным и образованным штабс-капитаном царской армии. Он гордился своей принадлежностью — белая кость, голубая кровь — к великому дворянству, но не выделялся по одной причине. Дед происходил из немцев, отчего страдал во времена сталинско-репресссионные, во времена, пропитанные подозрительностью. Отчего зазор между именем и тем, кто им наименован, делался вполне ощутимым.

Я претерпел суету отъезда, порадовался удачным попутчикам, толстяку-супругу и его красавице жене. И принялся рассматривать быстро темнеющий небосвод с многоугольниками желтых звезд. Поезд отправлялся очень поздно, пассажиры быстро укладывались спать. Высокое небо, густо усеянное блестками, перестало меня волновать, глаза смежались сами по себе, сознание отключалось под мерный перестук колес и железной дороги.

Я улегся на правый бок и наткнулся на взгляд супруги толстяка. Сон мгновенно улетучился. Женщина смотрела на меня, обжигая манящим, волнующим полымем. Последнее слово оставалось за мной. Я протянул руку к ее свесившейся руке и как бы случайно прикоснулся. Наши пальцы сцепились, желая одного и того же. Мне хотелось стать на колени у изголовья этой ветреницы и целовать ей ладони. Медленно и неловко перевернулся на верхней полке ее муж. Она отпрянула от моей стороны, я быстро убрал руку под простыню. Убедившись, что муж находится в глубоком сне, моя женщина приняла прежнее положение, перехватив мои персты. Мы ехали и томились от желания и похоти, мы смотрели в глаза друг другу под вагонным столиком, лежа в полуметре друг от друга, боясь преступить заветную черту из-за чертового мужа.

Она вдруг взяла мою руку и приложила к своей обнаженной груди. Полная луна слишком ярко освещала спящих пассажиров. Петруха храпел на втором ярусе. Я принял решение. Мы соединились под одеялом и замерли, вслушиваясь в ночную тишину. Лишь речитатив барабаниющих колес выводил свою однообразную бесконечную мелодию. Лишь спина и толстый зад мужа опасно свисали с вышины божьего страха.

Я настойчиво просил ее оставить мне свой киевский адрес, обещая приехать при первом случае. Она же советовала забыть случайное приключение, проведя меня взглядом при выходе из поезда рано утром.

Я прыгал на ухабах, летя в обитель дедушки на рейсовом автобусе. Водитель хохотал на весь салон, спрашивая: «Козлы есть...», имея ввиду остановку под странным названием. Задумавшийся молдованин с большой полной торбой рассеянно вторил «Есть...» и он сейчас же оправдывался, и весь салон заходилась смехом. А я отвлеченно разглядывал людей, смутно представлял дом деда, запомнившийся с далекого детства соломенной крышей, кусающимися пчелами, моим плевком в колодец с последующим наказанием.

Я медленно шагал по подобию дороги, прыгая через лужи. Справа от меня тихо двигался силуэт той незабываемой и взбалмошной женщины, перемежаясь с тенью красивых придорожных деревьев, не отпуская мои растревоженные думы до самого порога...

Наташка

Она поглядывала на меня как на кумира молодости, которого, наконец, встретила. Она шла ко мне, как мастер влечется к Богу, часто произнося: «Для меня все очень серьезно!»

Она вежливо, романтически называла меня «Толенька», и мне нравилось нежное чувство. Ее слова ложились мне на душу легко и привольно, и не было в ее речах ни снисходительности, ни иронии. Она рассматривала меня, стоящего с видом провинившегося школьника, чувствующего себя братом ее, может быть, сыном. Наталья говорила медленно, вдумчиво, с толком и расстановкой. Она произносила свою правду легко и доступно: «Толенька, я люблю тебя...»

Она досадовала, что мама не дожила до сегодняшнего дня, она сетовала, что мама не смогла порадоваться вместе с ней — за нас двоих. Я слушал ее и боялся доверительных чувств. Я хотел слышать то чувственное, неозвученное моими женами, невысказанное мамой, недополученное в первой любви. Оказалось, я не готов брать воду из родника страсти. Возможно, я не мог отдать нежность, возвратить тайну природе. Почему же в таком случае я не нашел в себе способности принять щедрость небесную? Зачем я оттолкнул, прогнал, растоптал настоящее человеческое отношение, еще раз озадачивая ангелов, щедро сыплющих мне под ноги бесценные крупички человеческого счастья?

Мы топали в никуда, люди, достигшие цели, найдя друг друга. Мы вместе были светом, мы не отбрасывали тени или же оставались отблеском небесным, направляясь туда, где отсутствует мрак. Сыпали пухом тополя, плевались от пуха прохожие, самопроизвольно покрикивали густые кущи голосами прячущихся внутри любителей любви и алкоголя. «Толенька, ты замечательно мыслишь, я слушала бы тебя бесконечно...» Именно так нужно говорить со мной. Кажется, она знала какой-то секрет человеческих отношений, произнося укрепляющие эмоциональные фразы. Донося словосочетания прямо к подножью моей души, к изголовью моего сердца, что не изобразимо, духовно и божественно. Мы продвигались по солнечной улице, и нас нельзя было увидеть. Нас могли бы об наружить на слух лишь люди, обладающие духовным зрением.

«Толенька, давай еще немного постоим». — Наташа проживала тепло первой любви, с ее безумной каруселью несоответствий. — «Давай пропустим еще один троллейбус и ты поедешь на следующем, я отпущу тебя, я обещаю тебе...» А я не мог воспринимать муки подвижничества любви, я желал брать, не отдавая, потреблять, не производя. Я научился лишь красиво рассуждать, пусто и звонко причитать о запределье, верещать во вселенские пустоты в надежде на эхо. Я предлагал себя всем, кто захочет, кто пожелает услышать. Но ведь свершилось, чудесный адресат нашелся и отозвался. Вселенская мелодия оказалась не пуста, чувственные развлечения не пустым звуком.

«Толенька, я чувствую, ты не со мной!» — громким шепотом звучала боль ее сердца. «Ну почему ты знаешь, почему ты так считаешь», — сопротивлялся неожиданно разоблаченный я. «Толенька, я это чувствую...»

Я буквально впихивал ее в троллейбус, пряча мину недовольства, скрывая раздражение.

Я спешил к другой женщине, и она знала об этом, не зная. Я бежал на другое свидание, и она видела меня насквозь. Она шла за мной, плача внутрь, по-детдомовски, с надеждой смотря мне в глаза, отвечающие лишь бегаящими зрачками, лживым взором, находящимся у другого сердца, такого же любящего, такого же обманутого.

Когда мы расстались, она несколько раз спрашивала меня, не понимая причины моего холодного отношения к ней. «Толенька, я тебе не нравилась как женщина?». И напряженно ожидала ответа, не отводила пристального взгляда, не опускала глаз, исполненных тем же солнечным теплом, той же материнской влюбленностью и безответной нежностью...

Во имя человечества

Я пристально взгляделся в Юлю и понял, вот на таких девушках надо жениться, и тут же озвучил легкую утреннюю мысль на всю кухню, улыбаясь, ища поддержки у стоящего рядом Валентина Аркадьевича. Кухонно напряжение сошло на нет перед расудительным перевозчиком. Опытный мужчина кратко поставил меня на место. Он напомнил о прошлом (мы с Валентином почти ровесники), он ревниво убрал меня как конкурента и поклонника Юли. Открытым текстом он преувеличенно показал мне мое безнравственное прошлое и, признаюсь, он попал в самую точку. Он оказался прав в том, что я так обращался ко всем и так обманывал девушек в молодости.

Я не чувствовал восторга, но понимал, осадил меня вполне справедливо. Я ощутил прилив негативных эмоций, приступ глубинного раздражения. Я поспешил скрыть свое недовольство, переключаясь на другую тему. Я поступал так всегда, когда приходилось открыто выражать негативные эмоции, когда предстояло отстаивать свою позицию. Я переключался на смешную или грустную тему. Я начинал уходить от пробле-

мы в бесследно ушедшее прошедшее время, превращая его в неожиданную метафору любопытства.

Я покидал кухню с чувством неудовлетворенности, с ощущением пораженческой незавершенности. Но ничто не должно уходить бесследно. Как сказал бы мастер слова, таков категорический императив культурной истории. Я же добавлю и человеческих отношений. Я все же не смог просто так унести напряжение в сознании. Я подумал, равновесия нужно добиваться сию же минуту. Не теряя ни секунды, я заговорил о бывшей жене, превращая тему в дешевый фарс, с прослойкой издевательства.

«Аркадьевич, ты пойми, благодарное человечество еще не оценило мой гражданский подвиг во имя людей. Я женился на самой ленивой, на самой неаккуратной тетке в мире».

Прозвучало с превеликой горячностью и поспешностью, свойственной отрокам и юношам. Ляшук мгновенно включился в мою тему. Моя бывшая жена осмеяна всенародно и повсеградно. Равно как придворный щеголь и суеслов, верещал я недостойные речи не в пользу ненавистной супруги. Я въехал в тему, жил в ней, все больше, все глубже впадая в невысказанные, непроговоренные претензии. И такова сущность самодуров, без особенных причин опирающихся на собственные домыслы, выступающих от имени человечества. Печально, но я, не приводя доводов разума, стремился к вольному толкованию жизни.

Юля молча внимала. В дверь звонили и, верно, злились оттого, что я не открываю. Валентин помогал мне выплескивать отрицательные мысли в адрес бывшей супруги. Я уверен, вы посмеетесь, даже пожалеете старого женоненавистника. Вы признаете подобное толкование жизни вздорным и нелепым. Представьте, вы абсолютно правы. Я покидал кухню и своих коллег по работе с нехорошими чувствами. Я топтался у своего стола с тяжелым сердцем, думая: «Когда же это кончится? Когда уйдет неприязнь к нормальной женщине, с которой, если заглянуть в конец жизни, я был счастлив?» Для пушей ясности, мне хотелось поторопить время, заглянуть в будущее, осознать, что же останется от всех негативных чувств. Я влачил производственное существование, пребывая в развенчании, осмеянии глупых разукрашенных слов, не назначенных теперь

ни для каких смыслов. И я захохотал раблезианским смехом над своей непосредственностью, граничащей с детством. Помня о том, что высший образец смирения звучит банально и наивно, нелепо и непосредственно: «Не слишком задирай нос...»

Мужские слезы

Мужики начинают выносить гроб с телом отца, и меня захлестывает волна чувств. У меня в горле сбивается ком, становится трудно дышать от всего происходящего, от большого количества выпитой водки, от первого осознания боли. Я быстро прячусь в дальние сени, мистически воспринимая происходящее. Густая темнота никогда не освещаемой комнаты скрывает меня, мое заплаканное лицо, позволяя оглядеться и стереть следы предательски льющихся слез.

Я примчался на похороны в темный и глухой вечер, освещенный расцветшим свежим маем. Мне пришлось тащиться через Луганск, ибо прямой самолет на Донецк вылетал только завтра, а похороны — мероприятие скоротечное, не терпящее отлагательств. Я спешил из местного аэропорта на автовокзал, ощущая миг печали, делясь с таксистом своим горем. Много раз я видел подобные сцены на экране, глядя на героев, несущихся проститься с покойным, и в моей душе воцарялась таинственная тишина. Я как бы погружался в ветхозаветную ночь, острожно, до плача внутри сотрадая, сопереживая. И вот теперь я находился в такой же роли, и мой протяжный голос звучал осторожно и отдаленно. Моя душа искала поддержки, понимания, участия. Чуть позже я медленно тащился в рейсовом автобусе, благородно останавливаемом у каждого столба. Моя плоть стонала, жаждающая водки, а душа ждала доброго слова.

Неподалеку от дома я увидел играющую детвору, беснующуюся в неглубокой яме. Боже, среди них болталась моя почти четырехлетняя дочь. Я страшно разозлился на свою непутевую и ленивую жену, и вместе с ребенком медленно пошагал к родным пенатам.

Я намеренно замедлял шаги, подсознательно боясь предстоящего свидания с покойным. Жену, бросившуюся к нам с радостным лицом, я грубо осадил, пожурив: «Ты должна

смотреть ребенка, здесь без тебя справятся...» — слабо слушая ее плачи об усталости, о невозможности отдохнуть. Вообще-то эта тетка очень мало меня интересовала. Я уже давно понял, во что я угодил, и просто не знал, как от нее избавиться.

Среди страстных и горестных лиц, среди вразной рыдающих родственников, соседских причитаний и признаний в искренней любви, в духоте наглухо запертых комнат я намеревался совершить один акт исцеления. Согласно народной молве, покойник может забрать с собой любой недуг, если прикоснуться с больному месту рукой усопшего. У нашей дочери тянулся бесконечный хронический насморк. Дело усложнялось присутствием скучных недоброжелательных старушек, терпеливо высиживающих у гроба Никифора Степановича, ни за что не желающих отлучиться хоть на минутку. Бабки томили нас своей ненужностью, неуместностью, мешая преодолеть и без того громадный страх перед суеверным обрядом. Я долго, возбужденно крутился вокруг покойного, ощущая враждебность в зорких старушечьих взорах. Оправдавшись перед ними, объяснив, что к чему, я взял левую руку отца (правую он потерял в шахте), приложил к носу дочери. Насморк-таки не оставил маленькую дочь, может быть, потому что десницы-то у отца не было.

А тем временем кто-то дал команду, и мужчины взялись за сосновый ящик, обтянутый черно-красной материей. Я отпустил дочь к жене, бегом исчез из поля зрения народного, боясь естественного проявления нормальных человеческих чувств. И все же скорбь (хотя и нетрезвая) потекла, закапала, выдала меня с головой. Больше всего меня удручило то, что мой скорбный плач видела жена. Она как нарочно потом рассказывала знакомым, как истинная деревенская баба: «Я впервые увидела Толика плачущим...» Она всегда и все выбалтывала, как на базаре, позоря меня, позволяя совершенно посторонним людям заглядывать в мое нижнее белье. Более я не доставлял ей этого удовольствия. А вскоре я сделал лучшее, что можно было сделать в этой жизни, я разошелся со своей женой, а чуть позже по согласию бывшей супруги дочь навсегда переехала жить ко мне...

На тракторе

Благородный, живой юноша изнывал от ничегонеделанья на забытом богом участке малой механизации крупнейшего строительного управления столицы республики. От избытка реального времени кто-то выделял изящные ножи, другие мастерили кое-что для дома, третьи (к ним относились почти все) коротали день отшеством от реальности при помощи плодово-ягодных изделий. Я же перебирался от токаря к механизатору, от бригадира к плотнику, от цеха к фабрике по переработке вторичного сырья, ища спасения от самообмана, ища, чем заполнить великую пустоту нескончаемых дней.

В сущности, я напрасно корчил из себя интеллигента, ссылаясь на курс журналистских наук, пройденных очень нечестно и притом заочно. По сути своей я был плоть от плоти слесаря или тракториста. Я был кость от кости своего отца, человека простого и не очень образованного. Дед, правда, числился штабс-капитаном царской армии и, может быть, там зачинались истоки моих амбиций, желания и страсти прожигать бесцельно и бессмысленно жизнь. В принципе я чувствовал себя неким революционером, жаждущим славы, пылкой деятельности, опьянения себя невиданными выделками, розыгрышами, шумом дружеских пьяных компаний. Не исключаю, что я являлся настоящим интеллигентом, чурающимся пошлых нетрезвых шуток, примитивных росказней, плоских мыслей. Я прятался от всех, представьте себе, в трактор. Потом начальник участка Валентин Иванович Королев намекнул мне: “Давай, осваивай технику, в случае чего, не нужно никого просить, сел за баранку и действуй...” И я забыл о своей избранности.

Я носился по территории на добитом механизме, окончательно уничтожая издыхающую технику, взмывая на ухабах, развивая крайнюю скорость на ограниченных просторах участкового бездорожья. Я совал нос во все дырки, вызываясь перетаскать прицеп, вырвать тросом зажатый агрегат, подвести негабаритную деталь. Что побуждало меня, рискуя жизнью других (прав у меня не было), заниматься, как сказал однажды Королев, “Этим грязным делом...”. Что вызывало во мне неподдельный интерес в скучной, непоэтичной, неароматной работе? Я не могу ответить на такой вопрос даже самому себе. Но я транжирил свои необыкновенные способности на такое познание

мира. Но я охлаждал жар молодости ветреной метусней, мчась между сварочным агрегатом и компрессором, расположенными в десяти метрах друг от друга. Я умудрялся цепляться за все на свете, за все, что попадалось на пути, утомленный разрушительным действием алкоголя.

Несомненно, я плакал внутри от восторга, я искал иных путей. Наконец, ко мне пришла свежая мысль, а не съездить ли мне на стадион, не произвести ли мне впечатление? И я почувствовал, мне надо окунуться в горнило страданий, высидеться над всеми, выделиться поступком. Когда начальник укатил на планерку, я газанул в сторону трассы.

Ощущение, испытанное мной на оживленной автодороге, можно вызвать несколькими рюмками водки. Но нечто радостное и задорное вдруг сменилось трезвым мышлением.

Я понял, мне не на что опереться, наступил момент истины, меня охватил жуткий страх.

На безсветофорном и очень сложном перекрестке я совсем растерялся, не зная, кого пропускать в первую очередь, я застыл как вкопанный и вовсе упал духом. Восьмисотметровая пробка, где ее сроду не знали, привела к приезду ГАИ. Ужас моей души прогрессивно подействовал на мышление. Я представил возможные последствия, завел технику, медленно протиснулся между Икарусом и машиной скорой помощи, напрямик по зеленой зоне, в арку стоящегося многоподъездника. С горем пополам возвратившись на участок, я поставил трактор на место и больше к нему не подходил. “Да что с тобой”, спрашивал у меня начальник... — не понимая, что могло произойти такого, если я раз и навсегда откестился от механизаторства...

Красное удостоверение

Давно нет в живых Анатолия Ивановича Божка, одного из моих замечательных учителей, журналиста, редактора отдела новостей областной газеты “Минская правда”.

Давным-давно промелькнули дни нашей дружбы — учителя и ученика, восхитительные фрагменты ненаставительного поучения, от которого челюсти дрожат, сводит зевотой, от которого душу разрывают крайние, противоположные чувства, возбуждая амбиции, желание протестовать и мысль поменять наставника.

Мы отдыхали с мудрым и несравненным гуру в его уютном кабинете с окнами, выходящими на скучный дворцовый пейзаж с блеклой оградой. Анатолий Иванович запер дверь, помальчишески реагируя на текущие рабочие стуки. Он отвергал всякие попытки внепланового вторжения в наш мальчишник, полный анекдотов, водки и закуски. Мой мудрый друг в конце концов пощадил меня и после третьей рюмки достал-таки из внутреннего кармана червоное чудо. Пурпурный переплет, слегка отражая дневной свет, мягким стуком озвучил неловкую тишину, соблазнительно застыл на столе. Я не решался прикоснуться к восхитительному документу, пока еще недоступному мне.

“Бери, — назидательно и ответственно произнес старший товарищ по журналистике, — с моего, так сказать, благословения, и смотри, он сделал паузу, поднял указательный палец вверх и рука его застыла на месте, — перед милицией не размахивать, ты представитель обкома партии, смотри, чтобы мне не пришлось краснеть перед редактором...”

Я слушал старого журналиста с открытым ртом, все еще не веря в то, что чудо уже произошло, что у меня в кармане то, о чем я не мог и мечтать. Потому что в “Советской Белоруссии” такую ксиву не дали бы. В других периодических изданиях у меня не было постоянного отдела, куда я мог вот так запросто прийти и пообщаться по старому русскому обычаю, за бутылочкой водочки, выговориться накоротке, быть самим собой.

Конечно, такое событие, как получение удостоверения литературного сотрудника областной газеты, мы не могли обмыть всего лишь одной бутылкой водки. Анатолий Иванович пригласил меня в гости. Мы расположились в живописной кухне, увешанной картинками, всякими интересными предметами, обычно вызывающими интерес обывателя в любом новом месте. Пока я осматривался, замечательная супруга журналиста приготовила нам стол. Мы “съели” еще одну бутылку водки, кажется, сверху намешали пиво, кажется глотали что-то еще спиртосодержащее и горячительное.

И все же мне не терпелось похвастаться классным удостоверением, ставшим событием того исторического времени в его дальней близости. Его странной естественности, прошедшей сквозь меня живой незавершенностью тех, кто уже

все написал, кто уже свое сказал. Я спешил найти новых слушателей, которым тоже есть что произнести и ответить достойно. Так как не пресекался род людской, проживающий в живом общении с теми, кто был, есть и конечно же будет, с прошлым, будущим и настоящим. Я выложил книжицу перед женой, но это существо не могло оценить моего восторга. И я позвонил Ларисе.

Обойдя полгорода, мы заблудились с женщиной на кладбище и восторженно целовались в самой гущине непроходимого кустарника. Наряд милиции, прошуршав, возник, как произведение искусства. Сержанты застыли в недоумении, полагая увидеть перед собой бомжей. Они рассматривали интеллигентно одетых, блестяще выглядевших молодых людей с некоторой растерянностью. Я быстро преодолел смущение, легко и небрежно, как представитель обкома партии, достал всесильное свидетельство, сунул его в лицо представителю. Сержант отступил в ухаб, моя женщина застыла на месте, а ситуация наполнилась радостным оживлением и пониманием. Все логически завершилось. Главное заключалось в том, что Анатолий Иванович Божок так и не узнал, как я испугал милицию красным удостоверением...

Букет цветов

Тогда еще некое глубинное брожение греха преобладало во мне, рассудок только-только освобождался от хаоса первобытности, от будничной ограниченности и небожественной суеты. Тогда еще я мыслил не связанно, а преобладало во мне бродяжничество и юродство, бунтовщичество и радость смирения, и высокопарная словесная чувственность. Тогда я приобщался к служению в костеле, преодолев страх и чувство неуверенности. Я с благоговением и великою честью совершал свое паломничество в храм небесный, одолев неодолимую тягу к веществам, изменяющим сознание с помощью благодати небесной. Я искал защиты сверху, я строил защитное покрывало из человеческого участия. Я устал от вечной потребности хмельного безумного праздника, я искал спасения. И чувствовал, алчность отступает, сдает свои позиции, но с муками великими.

Я ходил по костелу и разглядывал огромные картины. Я вглядывался в иконы, пытаюсь постичь их потаенный смысл.

Я сам себе казался маленьким ребенком, отправившимся познавать мир. Ксендз Владислав внимательно и уважительно обходился со всеми без исключения. Хотя мне думалось, я имею какое-то особенное значение, в отличие от других. Поэтому мне хотелось особенного внимания, чтобы рассказывать иным, не решаясь и на пушечный выстрел приближаться к настоятелю прихода св. Сымона и св. Елены.

Я, еще вчера протестант, бунтовщик, исполненный ненависти и презрения к действительности, ступил на тропу самопознания. Я, презирающий людей и окружающий меня мир, я, возомнивший из себя бог знает что, сейчас мучительно искал путь к рассудку, постигая тайны ускользающего смирения. Я вовсе не думал о Боге, я мечтал найти путь, ведущий к самому себе. Я не принимал на слух блистательные проповеди ксендза, но выуживал в них спасительные для меня мысли, идеи, вспышки метафор, пронзительные словосочетания, могущие соединить мой разрозненный и мятущийся дух. А дух мой, пораженный алчностью, и рассудок мой, бессознательно подточенный гордыней, мечтал о личной прибыли, о первенстве и власти. И терзала меня несостоявшаяся моя самобытность, исчезающие остатки просвещенности, обретенные в ранние бдения иноческие.

Как известно, на самых трагических руинах, остается лишь вера и вновь, и вновь произрастает, и не одолеет ее и самый ад. Так, в моих развалинах погибло все земное и человеческое, все временное и брнное, но, подобно купине, душа моя тлела, душа алкала света осознания, душа, воскресшая из могилы в буквальном смысле этого слова.

Но к моему ужасу и позору, грех преобладал внутри меня, одолевая помыслами, точа искушениями. Грех поразил меня, как библейская проказа. Я двигался среди священных предметов, не зная, как справиться с искушением воровства. Это можно сравнить с вездесущей чумой, и нет от нее спасения нигде. Мои руки сами тянулись к одиноко лежащим четкам священников. Мои завидующие глаза видели только то, что можно легко взять и положить в карман. А главное, в том жили мои убеждения, в том варился мой хворый дух.

И я от страха, переполняющего меня, и я от непонятого смятения, овладевшего мной, украл букет цветов, мило поздно-

ровавшись с девушкой, служительницей костела. Я с трудом втиснул охапку сиреневой красоты в узкий пакет и впервые в жизни ощутил, как же в самом деле сильна человеческая греховность. Я нес протестующее растение, словно говорящее мне о чем-то покаянном. Мои ноги не шли, люди, казалось, смотрели на меня осуждающе. Я понял, как на воре горит шапка. И я отринул бесстыдство. Я еще с большим стыдом возвращался в костел, боясь, как огня, ксендза Владислава. Я молил Бога только об одном, хоть бы никто не встретился на моем пути, хоть бы никто не узнал, как низко я пал. И Бог услышал мои молитвы, никто мне не встретился. Так же не по-людски, как и при воровстве, я быстро поставил букет в пустую вазу. Я скоро выбежал на улицу, летя домой, легко и свободно...

Тайная борьба

Я с трудом высиживаю за столом свой бесконечный рабочий день, не имея никаких сил преодолеть роковую, вождленную черту. Я, мятущийся взрослый ребенок, нахожусь на высоченном пороге, за которым такая влекущая, такая увлекательная и странная взрослость. Как объяснить своим работодателям, задающим бесконечные вопросы, непрестанно достающих меня, отвлекающих меня от внутренней борьбы, что мне страшно в реальности, что невозможно всем угодить, что я не в состоянии запомнить свои права и обязанности, что я порой не помню даже своего имени. Как урезонить трудовой коллектив, без конца снующий то на перекур, то в туалетную комнату, то на ксерокс. Как унять их неудержимый поток, пугающий меня, заставляющий вздрагивать при любом мало-мальски незначительном вопросе. Причем, я инстинктивно хватал в руки первый попавшийся предмет, будь то ручка, карандаш или мобильный телефон, и начинал судорожно перекладывать из руки в руку. При этом мне хотелось только одного, чтобы все вокруг поняли, что я старательно работаю, изнывая от жажды принести пользу фирме и Отечеству.

Особенно тяжело и безотраднo мое положение в дни высокой эмоциональности. Я веду себя точно маленький ребенок, громко и шумно доказываю свою истину, оправдываюсь во всем по-детски и очень наивно объясняю свою невинность

и тут же нелепо пытаюсь произвести впечатление и угодить, особенно директорату.

Не менее печальна моя участь в дни осенние, депрессионные. У меня леденеет душа, у меня плохо произносятся слова, я чувствую, будто начинаю сходить с ума. Правильнее сказать, я не понимаю, что со мной происходит. Народу у нас много, я ощущаю стыд перед каждым работником, внутренне вскакивая с места, готовый мчаться куда-нибудь, лишь бы избавиться от чувства вины, от несобранности и внутреннего безобразия.

Стыдней всего мне было перед Наташей Владимировой, обращающейся ко мне с обычной производственной просьбой — сообщить ей о приходе шефа. Я, со своим рассеянным мышлением, почему-то помнил то, что произошло сто лет назад, но мгновенно забывал о текущей просьбе. Разумеется, женщина полагала, что я не помню или же я специально веду себя таким образом. Наташа врывается на мою территорию и криком шептала: “Толя, почему вы мне не сказали, что Сергей Леонидович на месте?” И она исчезала в свой отдел, свободная и крепкая, вогнавшая меня в чувство вины и не знающая о том. Разные оттенки переживаний проносились в моей душе, страхи будоражили мое сердце.

Страшное иго неуверенности в социуме поработило меня. Коллеги мелькали, двигались вокруг, меняли расположение. Шеф бесконечно донимал простыми вопросами: “Где Новолаев, где Маргарита Александровна, где Хвалюк...” И, не церемонясь, едко шутил, отпускал пронзительные шутки, разил остротой, смущая меня претензиями.

Еще более страшной оставалась незавершенная борьба с самим собой, превратившаяся в часть жизни, в невидимую реальность, вытворяющую внутри меня геенну огненную, с которой впору было бы списать потусторонние ужасы нездорового воображения. Она заключалась в позднем, запоздалом взрослении великовозрастного мальчика, пока еще борющегося с самим собой. Еще не понимающего своих чувств, сомневающегося в своих решениях, думах, поступках. Еще бы, шеф предложил мне на пятидесятилетие выбор подарков, а я едва не сошел с ума, как жадный ребенок, предъявляющий немислимый перечень желаемого деду Морозу. Вот так и мучился я от блаженного головокруженья, борясь с жизнью,

пытаясь объяснить шефу трудность моей миссии, моего бытия, вызывая улыбку окружающих, с насмешливым любопытством слушающих невразумительные байки о какой-то борьбе с самим собой...

Влюбленность

У Людмилы оказался необыкновенно милый образ, с превосходными, удивительными чертами. Удаляясь от прожитых и пережитых отношений, я тайно, словно любимую иконку, воскрешаю в воображении ее чудесный, исполненный очарования облик и к всеобщему удивлению моих смятенных чувств все более думаю о ней.

Между тем великая влюбленность возникала буквально на ровном месте. “Аптека, улица, фонарь...” — завершал я скорое и короткое чтение блоковских строк женщине, сказочно смотрящей на меня из-за аптечной стойки. Пока никто не мешал, я пытался произвести ухаживательное, очень важное впечатление. Именно на основе первого восторга, именно от первого впечатления произрастает древо любви. Она, совершенно очаровательная в халате и в белой шапочке, смотрела на меня с вниманием и восторгом, слушая мою глубокочувственную бредь. “Я пришел для того, чтобы перевернуть всю вашу жизнь”. И мы обоюдно тонули в глазах друг друга. И мы недоуменно поворачивали наши взбалмошные головы в сторону шумящей старушки, досаждающей каким-то аспирином.

Через несколько недель наш бурный многотомный роман развивался вовсю. Мы подолгу высиживали в кафе и растили, нежили первые ростки хрупкого романтического сада.

“Я так рада тебя видеть...” — шептала она и бросалась мне на шею в прихожей квартиры.

Моя жена не умела так любить, и поэтому у меня голова шла кругом и не останавливалась.

Мы рискованно оставались на всю ночь, уповая лишь на Бога, надеясь, что муж не возвратится с рыбалки в эту дико прохладную осеннюю ночь. Веря, что каждое срабатывание лифта после полуночи — происки влюбленных или поздние возвращенцы со второй смены. “Мой друг, мы сможем так часто встречаться...” — мягко осаживала Людмила мой неумный пыл юного Ромео. Она называла меня именно “Мой друг...” с

какой-то радостной спешкой, очерчивая границы осторожности, верно, чтобы во сне не назвать мужа моим именем. (Жена Гришки в сонном смятении назвала — Генка, милый...).

Утром всюду блеснул яркий солнечный свет, отражаясь в лужах, делая мрачноватую сырую осень неожиданно светлой и яркой. Утреннее возвращение было для меня самым трудным моментом. Помимо вранья, имея глупый вид нашкодившего кота, приходилось с большим трудом выводить запах редких в то далекое советское время французских духов. Моя первая жена нос имела самый что ни есть звериный и учуяла бы живучий парфюм за три версты. Поверьте, у меня накопился довольно редкий опыт борьбы с неистребимым ароматом. И представьте себе молодого человека, стоящего по пояс в разнотравье и трущего себя и свою одежду чем попадая, нюхая поминутно руки после растирки ладоней пижмой. А жене я говорил разное, например, сочинял стихи, задумался, упал в какой-то овраг, объясняя таким образом зеленватые следы на руках и одежде.

Идею Людмилы взглянуть на мою жену я встретил без восторга. Не стоило прекрасной женщине после утренней зари разглядывать мою благоверную. Но Людочка с подружкой нагрянули в мой дом, сославшись на молву о гадательных способностях моей половины. Они ей заплатили, что-то там выслушали, быстро распрощались. Я сидел в соседней комнате с дочкой и не находил себе места. “Лучше бы она у тебя занялась порядком в квартире...” — только позже вывела моя душа. А я мучился безденежьем, я не знал, как поступить, где взять лишнюю копейку, чтобы поздравить Людмилу с днем рождения, пригласить ее в то же кафе.

А потом, скажу простосердечно, я влюбился в юную жену художника и очень жестоко отстранился от моей доброй женщины. У меня не достало мужества сказать ей всю правду, впрочем, нормальные зрелые люди так не поступают. Потом мы гуляли с женой и маленькой дочкой и столкнулись с Людой. Разойдясь, обернулись и я покрутил в воздухе пальцем, мол, позвоню. Она утвердительно кивнула головой. Я вновь соврал ей. И только, встретившись через много лет, мы с печалью проговорили незавершенный по моей глупости роман.

Сумка

Это желание что-нибудь взять, что плохо лежит, сведет меня в могилу. Впрочем, воровство и следует отнести к разряду смертных грехов, предполагающих смертельный исход частицы духа. Прочь пагубное и темное желание, уйди, мысль лукавая, но желание великого «хочу» всеильно и незыблемо. Коль получил «хочу» от Вседержителя, то небеса и проси о спасении. Молись о том денно и ночью. Нет другого лекарства от клеptomании, кроме единовременной помощи свыше. Чтобы получить подмогу, нужно о ней попросить. Легко сказать, не трудно рассуждать, хорошо советовать. Только нужная мысль приходит не вовремя в трясущемся скоростном автобусе, в вечно переполненной пятидесятке. Толком до определенного места и не проедешь. Справа давят в ребро, слева крепкий, рослый молодой человек поминутно топчется по новым ботинкам, за спиной пресс входящих пассажиров вдавливают меня в стареющую нехорошо пахнущую тетку. И ничего не поделаешь против кажущегося беспорядка, против желания протянуть руку, почистить вроде бы ничейную сумку.

Поистине, и в зрелых годах преобладают одни и те же желания, воистину, нет от них никакого спасения. Буквально, ничего в мире не существует, кроме бесхозной и явно забытой кем-то сумки. Мне даже удобно, что мужики, болтающие между собой о повышении цен, громко и заразительно хохочут о чем-то своем, отвлекая меня от усиливающегося страха, помогая мне сосредоточиться и оглядеться. Обычно такие особи возбуждают у меня крайнюю неприязнь, нажимая на осевшие в подсознании клавиши беспокойства. Особенно этот коренастый, чем-то напоминающий отца. Но в данную минуту мною всецело владеет великая клеptomанская идея, она ведет меня на привязи вот уже половину пятидесятого маршрута. Скорей бы центр города. Там можно опоределиться по сумке, осмотреться, не ловушка ли, не сидит ли сбоку рассеянный хозяин, беспечно размышляя о своем горе.

В первые годы трезвости я столкнулся с полным пакетом всякой всячины на одной из остановок. Я минут сорок тряся, делая независимое лицо, изображая полнейшее равнодушие. Наконец, я дождался, пока на скамеечке никого не оказалось, пока алчность превозмогла страх. Я небрежно взял вещи, спря-

тался в первый попавшийся троллейбус. До самой конечной остановки я пребывал в стрессе, пока водитель по селекторной связи не напомнил мне о конце маршрута. Я летел домой и лелеял мечту о неожиданном кошельке, наполненном долларами, о дорогом сотовом телефоне, о бриллиантовом колье небывалых размеров и цен. В свертке оказались две скатерти и пара пустых пакетов.

Происходящее сейчас большое и страшное событие с виду вроде бы и не заметно, вроде бы совершенно самодостаточный мужчина спешит на работу, пребывая в думках.

Никто не чувствует мою лживость и притворство. Никто не замечает, как я будто бы случайно подвинулся к заветной сумке, как плотно закрыл ее от посторонних взглядов.

Никому не приходит на ум, как трудно мне бороться с лукавыми помыслами, преобладающими над здравомыслием. Никогда не увидать меня более неискренним, нежели сейчас, я — само притворство, сама ложь мыслей и чувств. Я тупо смотрю в одну точку, но это всего лишь отвлекающий маневр. Быстро пустеющий автобус под моим строгим воровским контролем. Обгоняющие авто просматриваются на случай войны, не хозяин ли сумки встрепенулся да частника нанял? Дикое сердцебиение, которое, кажется, ничем не унять, в унисон мерно звучащему двигателю широко расшатывает общественный транспорт. Скорее бы вышли те неспешные ребята, быстрее бы выползла та тучноватая женщина. Слава Богу, водитель смотрит в сторону, р-раз и поехала сумочка в моей дрожащей руке, р-раз и нырнул мой взор в ее соблазнительный зев, наполненный тремя пустыми пятилитровыми емкостями для питьевой воды...

Шизофрения

Вы думаете, я лично не ищу себе никаких благ? Совершеннейший вздор, чушь собачья. Хотя духовное развитие у меня стоит на первом месте, хотя бы осознание своего места в мире, хотя бы понимание своего истинного человеческого предназначения. Но вы подумайте и о том, как пропитать свое грешное тело, святой водой ладони окропив. Как правильно расчертить небо, как отделить запредельность и реальность, как, зарабатывая хлеб насущный, не потерять зависимость от

неба. Уповая на источник премудрости, чему обязан я страсти, предаваться алчности, пребывая в злобе, ее неизменном спутнике. Кому взбрело в голову утопить меня в жажде золота, тщательно скрываемой под маской самопознания? Под прикрытием исповедального плача, изнываю от тайной алчбы и стяжания.

Вы думаете, перед вами стою я? Напрасный труд, думайте так и дальше. За смыслом и верой, умением быть в собственном личном опыте, изранив себя словесностью, выплавав сердце до самого дна, истерзав воспаленный ум, я болею душой лишь за жалкий рубль.

Отчего же я несвободен от страха? Отчего же я помню только то хорошее, что связано лишь с деньгами. Я начальнику точно так сказал, более всего мне запомнились дни увеличения зарплаты. Еще врезались в память щедрые начальниковы подарки, денежные подачки, неожиданные и бесплатные угощения. Я люблю деньги больше Родины, Отечества, Отчизны. Я вам доложу, милостивые государи, что вы меня, по сути, не видите, вы меня, по существу, не знаете.

Каковы же мои чувства, хороши же мои ощущения, о которых я непрестанно трезвоню на каждой странице, если единственная цель моей жизни, единственный смысл моей дороги превратиться в богатого человека. Причем в один миг, чудодейственным образом, не прилагая ни капли усилий. Лучше по-большевистски забрать все деньги у очень богатого человека, еще лучше отнять награбленное у всех и править миром. А собственное действие по спасению своей души как же? А никак! Вы же видите мою уравновешенность и авторитарность, слившиеся воедино, вы же замечаете уязвимость мою и агрессию. Мне бы взять за груди министра финансов, встряхнуть его хорошенько и спросить с «огромной любовью» с позиции финансовой перспективы: «Где мои деньги? Вы очень симпатичны мне и моему народу, но я бы хотел уточнить, почему мне не достает на прожить?» Так нет ответа. И не будет. И не предвидится.

Хорошо, давайте считать. Я получаю четыреста двадцать три тысячи. Отнимаем коммунальные услуги, раз, остается триста тысяч. Делим на тридцать один день, выходит чуть меньше десяти тысяч в день. Вам напомнить, сколько стоит один обед по-человечески?

Да, да, еще нужны носки и трусы, часы и проездные документы, моющие средства и зубная паста. Продолжу перечень просто по-обывательски, но, сочувствуя, не хочу докучать вам, господин главный финансист. И коль уж быть откровенным до конца, извольте выплатить мне недостачу в заработной плате из расчета сто условных единиц за месяц.

Далее, умножьте количество отработанных месяцев и возвратите мне кругленькую сумму.

Извините, я оговорился, считайте с начала перестройки, прилично сэкономив на разнице. Восстановите справедливость хотя бы в моем лице, внесите свой вклад в демократические процессы нашего общества, следите хоть немного за личными страданиями отдельной личности, и вы окажетесь в непосредственной близости от народа. Но давайте улыбнемся, ведь улыбка никому не мешает, давайте отбросим шуточки в сторону, хотя без шуток и даже без шутовства жизнь скучна и однообразна. Давайте, господин хороший, владетель всебелорусских финансов, не забудем умножить полагающуюся мне сумму на два, памятуя о моральном ущербе, который, как известно, идет один к двум по отношению к нанесенному ущербу. Засим подписываюсь я, едва не умирающий с голода, сидящий на дешевых кашах, кефире и свекле, алчный и злобный, хитрый и расчетливый, истрадавшийся и смиренный мещанин Анатолий...

Энергия

Между прошлым и настоящим пролегла бездна, обозначая лишь то, что началась принципиально новая жизнь, вернее, ее пролог, стелющийся странно, как-то по-детски, неестественно наивно. Вначале меня радовало такое положение дел. Чуть погода, я услышал от людей бывалых, будь осторожен, потребуются много усилий для изменения личности, а кажущаяся правильность, размеренность, эйфория лишь поначалу приемлемы и легки.

Я вертелся в многолюдстве микрорайона. У меня из головы не выходили слова аксакала, претерпевшего значительные изменения в личности. Я начинал ощущать известные неудобства нового мышления, нового поведения. Я чувствовал себя настолько несобраным, насколько может пребывать в избытке

эмоциональности ребенок с соответствующей психикой. Я исколесил все продовольственные магазины в округе, купив по списку жены заказанные продукты. Я выполнил многочисленные поручения дочери, переворошив хозтовары целого региона. Я остановился, город остался позади, на меня устал-вился сосновый облик лесного чудища.

Я отпрянул от сосонника, как от наваждения, понесся в противоположную сторону выполнять чреду навалившихся на меня жизненных обязательств, недоделанных дел. Я не умел быть явленным, новорожденным, получив в свое распоряжение необычно податливый материал. Но как большинство людей, резко изменивших собственную жизнь, я не мог приспособить зрение и слух к новому миру, чтобы просто видеть и слышать. Я перестал понимать обычную прозрачность жизни, составляющую ее искусство, проходя мимо, насквозь, терзаясь, о таком ли я мечтал? Хаос мыслей, эмоций, чувств, ощущений свалился на мою горемычную голову. Я шел мимо дочерниной школы и не замечал учебное заведение. Я переходил дорогу, боясь автомашин. Я получил бытие в лучшую его пору и чувствовал себя умным дураком, богатым безумцем и рабом.

Мне подумалось, не все так хорошо в новой жизни, в которой я поменял место работы, место жительства, жену, убеждения, сбросил тридцать килограммов веса, отказался от общения со многими, утопающими в алкоголизме приятелями, и растерялся. Мне почудилось, я еще что-то не завершил — домой возвращаться не хотелось — и я метнулся к сберкассе, разобрался с платежами. Я завернул на почту и заплатил за телефон. Я пробежал к рынку, наполнив сумку доверху фруктами для любимой дочери. Некая несогласованность царила между мыслями, чувствами, вкусами реальности и моими запросами и потребностями, между мечтой и реальностью. Я не усматривал своего привычного материала в чистой, окружающей меня художественной потенции. Я не мог разобраться, что же это за благо, я не умел лицезреть его. Наверное, самое нелицеприятное заключалось в другом — я не знал куда двигаться, в какую сторону света направить неугомонные стопы.

Старший товарищ, упреждал, ты будешь иметь дело с неуправляемой высвободившейся энергией. Если ты не сможешь преобразовать ее в действия, ты не получишь того желанного

чувства удовлетворения. Старое мышление возвратится и уььет тебя прежними привычками. Я оказался слепым, ничего не умеющим сказать о красоте, я не соображал духовными категориями, т. е. я не мог воспроизвести прекрасное чело справедливости, терпимости, более прекрасные, чем, например, полыхающая заря.

Смятение чувств, телесное зрение, очи души, мелькали в уме высокие категории, когда я осознал, что почему-то иду пешком на девятый этаж, более того, я почти бегу, как будто и не было за спиной двенадцатичасовой реальности, проведенной на ногах, преодоленной в движении без единой паузы или остановки. Как будто тайная власть обрушенной на меня энергии направила мою брентную душу в идею неосуществимости полноты любви и счастья. Я переживал новшества со всей силой новизны, сомневаясь в ее законности, постигая новое виденье вещей мира...

Аппетит приходит во время еды

“Так и назови рассказ”, — подсказал мне Сережа, после того, как я поблагодарил его за идею тревоугодья, которую мы с ним периодически обсуждали, встречаясь у ксерокса в чередe производственной суеты. Сколько чувств вызвала в душе тема обжорства! Этому смертному греху, преобладающему в моей личности среди прочих отклонений, отвечали и вторили накопившиеся во мне глаголы. Тревоугодью внимали съедобные строки, плавно льющиеся в кулинарные изделия. Соблазнительные выпечки валились на меня с неба божественной амброзией. Пища невоздержанных в отличие от пищи богов, насыщала, уничтожая плоть, властвовала над разумом, искусно теребя тучное “хочу”.

Иногда Сережа останавливался рядом с моим рабочим местом, и мы вновь обсуждали волнующую меня проблему. Он как бы обнажал мою заветную мечту научиться умеренно употреблять любую пищу. Смех смехом, но в такие минуты откровения я щедро угощал его тортом, принесенным шефом на всех. Я разрезал пирог “по-честному”, угостив его заместителей половиной того, что им полагалось по-человечески. Безбожно отхватив третью часть убийственно вкусного изделия, я схоронил сладкую массу подальше глаз.

Сергей вроде бы воззвал меня к совести, сам того не предполагая. Вообще-то трудно предположить, глядя на Сережку, что у него есть склонность к полноте. Кстати, фамилия у него Прокопенко. К слову, он племянник известного и талантливоего футболиста минского “Динамо” времен советского периода, эпохи блистательного чемпионства. Если бы у меня в роду числился такой знаменитый дядька, я бы вел себя пофарсистей, поамбициозней. Сережка у нас вполне интеллигентный человек, специалист по компьютерам, любитель биллиарда и такой же, как и я, сладстена. Короче говоря, как ни жалко мне расставаться с большей частью шефова подарка, угостил я Серегу. Он все-таки неплохой мужик, советом поможет по компьютеру, на машине в баню подвезет. Тем не менее после моей необъяснимой щедрости в душе образовалась пустота, шевельнув алчность.

Я подождал, пока мой товарищ уйдет заниматься чревоугодным самоистреблением. Я боялся, что в приступе щедрости отдам остатки вкунятины, и бросился доедать остатки, не находя сил подождать до завтра или хотя бы до вечернего чая. Что делал я над собой, живой, сильный, благородный, но беспечный в очень важных жизненных вопросах? Зачем разбазаривал остатки бесценного сокровища по имени “здоровье”. Разве мало мне того случая с кочерыжками? Разве недостаточно мне тех девятнадцати отбивных, съеденных после девятнадцати выпитых рюмок водки на свадьбе, после чего я едва не испустил дух? Неужели меня не научил уму-разуму случай в гостях, где я, трижды пообедавши, не знал, как вызвать рвотный рефлекс, стесняясь гостей и родственников?

Я хватал торт так, будто перенес тяжелую болезнь, будто неизвестный вирус уничтожил божественное чувство меры и увеличил чревоугодное “хочу” до гигантских размеров. Я со страхом прислушивался к шагам, не желая никого видеть, не думая ни с кем делиться. Если бы кто-то сейчас посмотрел на мои щеки, он со смехом отметил бы: “Чистый хомяк...” Мои щеки напоминали склад готовой продукции фабрики бисквитных изделий и действительно слыли хомякообразными. Я глотал сладкое месиво кусками, подражая крокодилу, забывая о хроническом гастрите. Я не помнил о мягком наздании доктора и жены: “Острога, жареного, соленого по-

меньше, пища должна быть хорошо приготовлена”. Я даже не успел расстроиться, заметив жирный кусок, упавший на новые брюки, превратившийся в расплывшееся пятнышко. Но я задумался, Сережка Прокопенко подвиг меня к размышлению и действию. Потому что я почувствовал себя совершенно беззащитным, как лист на ветру, как первобытный человек перед мордой голодного хищника. Я доел сладости и принял решение что-то делать с обжоством.

Школа ангела

Игорь организовал статью по психологическим проблемам реабилитации химически зависимых людей. Материал включал в себя мини-интервью с группой лиц, значительно продвинувшихся по этой стезе. Мнения высказывались разные и хорошие. Каждый человек, принявший участие в создании панорамы выздоровления, в меру своего понимания и видения вопроса поделился своим опытом преодоления мук духовного роста.

Корреспондент позвонила и мне. После нескольких незначительных фраз девушка с приятным голосом принялась расспрашивать меня, как с моей колокольни выглядит тот или иной этап изменения человеческой личности. Надо добавить, в мире, исследуемом представительницей периодической печати, я чувствовал себя исключительной, даже выдающейся личностью, можно сказать, владеющей миром. Разумеется, подобное мнение можно считать большим преувеличением, но я изучал последовательность развития исцеляющейся личности с психо-эмоциональными отклонениями с завидным рвением. Я жил по вере, т. е. по тексту. Я следовал каждому абзацу с преданностью крайнего фанатика. И я не ошибался в своем фанатизме по причине потенциально смертельного заблуждения. Тупиковые ситуации возможно решить лишь стопроцентным смирением.

Сто пятнадцать страниц духовно-психологического текста, изложенного в последовательности выздоровления, хранят и передают опыт тех, кто прошел путь от могилы до способности жить и сохранять эмоциональное равновесие, двигаться целеустремленно при любых условиях. Я бы рискнул назвать его религией для смертельно больных людей. Да простят меня

ревнители религиозных конфессий! А религия требует, именно требует непрерывного личного усилия для понимания и принятия заложенных в ней принципов или божьей воли, если хотите. Говоря словами одного теолога, двенадцатиэтаповая подготовка нового мышления дает возможность по частям увидеть и принять то, что есть все.

Собственное действие по спасению погибающей личности завершается личным примером и ничем более. “Мы что-то вроде ангелов, превращающихся в тех, кто рядом с нами, вызывающих их на откровение исповеди своей честностью и открытостью...” Довольно путано и сложно делился я с моей собеседницей из серьезной газеты. “У вас там религия в самом деле? — вопрошала удивленная незнакомка, — насчет ангелов вы хорошо сказали”.

Мой исповедальный плач нарисовался в периодической печати дословно и в полном объеме. Мой друг Игорь показал-таки предел своего смирения. Мой духовный брат, прочитав статью, сразу же позвонил мне, пробубнив своим ясельным интеллектом: “Ты уже заносишься, надо советоваться..” Он, видно, имел ввиду самого себя. “Мои действия не обсуждаются...” — отрезал я зарвавшегося недоучку, этого самодовольного индюка, в которого мне не удалось вложить даже полдуши, и бросил трубку.

Необыкновенную силу школы ангела я почувствовал сразу же, как только начал наставничать с молодыми реабилитационщиками. Я вызывал их на откровенность, лишь делая вид, что я только им могу выложить самое сокровенное. И я озвучивал тайны души, словно брал аккорд, позволяющий оркестру чувств взять нужную тональность. Я давал ему возможность выпустить первый, пустой, не главный пар, чтобы освободить место для высшей милости, дающей новое смирение и мужество преодолеть страх. И он уже произносил следующие истории, все больше и больше доверяя мне. Он, еще вчера сжавшийся комок, сегодня, спустя несколько месяцев, превращался в самую открытость. Главное, он должен думать, что это он мне помогает. Я же плакал и плакал о прошлом, о том, как легко мне с ним делиться прошлым, вытаскивая из прожитых глубин еще более болезненные темы, предупреждая неизменный кризис учителя и ученика.

С лучшими из лучших я беседовал примерно около восьмисот раз без единого перерыва. Включая телефонную терапию. Что свидетельствовало об их нравственной мощи. У тех, кто прошел школу ангела, не произошло ни одного срыва...

Тяга

Что же делает с человеком тяга к веществам, изменяющим сознание? Тяга бесконечная, тяга неостановимая, равная тьме и тьмою управляемая. Врачу легче: он витийствует вещанием общих моментов и теоретических обоснований. Мне же, испытывающему влечение, ставшему образом зависимости, вещью тяги, остается также витийствовать о себе. Но уже настолько глубоко, настолько искренне и мастерски, как это может сделать человек, сросшийся с проблемой настолько же тесно, как улитка с раковиной. Итак, я лично явленный, в каком-то смысле художественный артистизм — мастерский артистизм той незабвенной проблемы. Уж и родину люди меняли, и родителей новых обретали, и от убеждений отказывались — и с таким багажом тихо-мирно проживали свой новый век.

А вот, идя по старой улице Маяковского, не нарушая правила приличия, как пройти мимо тех мест, правдами и неправдами зазывающих в свои уютные алкогольные бездны. Как не слышать пугающе-шипящих агоний отверстых бутылок шампанского? Как не вдыхать всепроникающий и вездесущий запах портвейна, аромат смертельно разящего коньяка, вкус визуально витающей в атмосфере водки? Что за необъяснимый закон, действующий неукоснительно, неумолимо? Он вступает в силу лишь после жалких и тщетных попыток освободиться или хоть как-то ослабить тягу. Закон наливания всеми и всюду. Закон предлагания выпить теми, кто никогда не предлагал. Закон нахождения спиртного там, где его оборонили, положили, спрятали специально для, как будто для твоей растленной души, точно задним числом услышали твои темные просьбы силы тьмы.

Господи, доколе? Господи, доколе ты будешь вспоминать мои прежние неправды? До каких пор будешь насыпать чад неразумных, к обильному питию меня ведущих? Я говорю, рыдая в горестном сокрушении сердца. И вот из соседнего магазина зазвал меня голос отрока, по стакану выпить пред-

лагающий. Голос то ли мужа, то ли мальчика повторял одно и то же: “Сделаем, брат, по стаканчику красненького?”

Закрыв уши, бежал я вдоль дороги, куда глаза глядят. Забрался в другой конец города, за кольцевую дорогу — в дальнее Уручье. Колесил по улице Руссиянова, спасаясь от наваждения бесовского. В тон моим обильным чувствам и дневному солнцу гудел Сережка Николенко? “Пойдем, чего-нибудь выпьем...” Я рванулся к присутственным местам, а сила влекла мои стопы в ликеро-водочные палестины. Я спрятался в дом, но и там сила в образе жены предлагала мне жить-быть вопреки хронологическому порядку. В тоне басенно-морализирующего, наставительного свойства. Как и подобает учительнице.

Не правда ли, странный способ действия тяги, уходя, оставлять некое глубинное влечение, не поддающееся объяснению? Ускользя от сути решаемого вопроса. Так вот и супруга в гости позвала. Полагала, я почувствую бодрость необыкновенную. Я от переживаний почернел, как тот цыган после пяти ярмарок. Я ухаживал за женщинами, я занимался мелким бизнесом, я выхаживал пешком значительный километраж. Все одно мне хотелось, страсть как хотелось выпить водки. Я довел свое пешее хождение до крайности, неизменно двигаясь до вокзала пешком (десять остановок на метро). Я старался не смотреть в сторону отделов по продаже спиртного. Я награждал себя обилием сладких блюд, заморских фруктов, влюбленностью. Меня тянуло к проклятушей водке.

Исколесив столицу республики, пройдя на своих двоих (на одиннадцатом маршруте) от камвольного комбината до Кунцевщины, не срезая дороги, я даже не обессилел. Приятель по имени Славик сошел с дистанции и попросил пощады. Я притащился в дом, щелкнул телевизор. Там показывали рекламу спиртного. Позвонил Славик, сетуя на боль в ногах. Отзвонилась половина моя, уточнила, идем ли мы в гости. Из-за холодильника водочной этикеткой глазела в мою душу пустая бутылка из-под водки. И эта тяга — нет от нее спасения, видоизменяясь, не хотела меня оставлять...

Обеденный перерыв

Бутерброд был довольно большой, он сам просился в желудок, привлекая трехслойным навершием и толщиной

лоснящейся ветчины. Лакомый кусок частично отвлекал от текущей заморочки, от бесконечных телефонных звонков. Мерно гудящая печ СВЧ тепло лелеяла банку, наполненную бульоном вперемешку с хорошо проваренной курицей. Чересчур шумный гул печи раздражал тем, что невозможно услышать звонки в дверь. Отчего непонятная суета и спешка не переставали терзать ароматную предобеденную прелюдию.

Специфичность моей работы, моей деятельности и заключалась в вечной привязанности, прикандаленности ко входу, к телефонному аппарату, к текущему процессу. Непрерывающаяся смута в душе длилась всегда и тихо, незаметно для постороннего глаза, не ощутимо, на первый взгляд, для меня. Сотрудникам как-то не приходило в голову подумать о моих проблемах, о моем чувстве защищенности. Естественно, ко мне обращались ненормированно, невзирая на мою занятость, не представляя, что у меня пять отделов, живущих автономно, ожидающих своих гостей, свою почту, свою зарплату.

Хотя логика в самом деле очень важная вещь, коллектив не утруждал задуматься над тем, что я, как личность, иногда устаю, хочу кушать, что мои силы не беспредельны. Тот, кто только что позуммерил в дверь, не посмотрел на часы, не отметил обеденный перерыв. А я превратился в вольного, беззаботного нейтрала и со сдержанным удовольствием вслушивался в настойчивый сигнал, призывающий отпереть дверь. Я стоял, уставившись на мерные часы, установленные на печи, и мстительно держал фигу в кармане. “Звонят в дверь, кто-то пришел, — подсказала предупредительная Алла Михайловна, — Анатолий, там ломятся в дверь...” Сказано в самую точку. Я не выдерживаю напряжения, спешу ко входу, теряя аппетит.

Почтальону нет никакого интереса помнить об обеденном времени. Женщина с крепким остаточным запахом вчерашнего или утреннего спиртного рассеянно подхватывает мои реплики, ориентированные на перевоспитание всех и вся, напоминающие, назидательные. Валерий Константинович по своей строительной занятости вообще забывает о желудке, а его вездесущие строители тут как тут. И Леонид Ефимович как назло, вздумал разыскивать бухгалтера, надо было мне поднимать трубку! Жена тактично набрала меня по мобильнику — не следовало прикасаться. “Ну как, в обед можешь со мной

немного поговорить?” К тому же Саша, наш водитель, просит помочь ему размножить документы на ксероксе, обращается ко мне так вежливо, ни за что не откажешь.

Начинаю угождать всем одновременно, вспоминая о давно забытой обедне. Вспомнил и разозлился, представив, как кто-то из наших выставил мой золотистый бульон. Обиделся в воображении на холодное первое блюдо, теряя аппетит, гаркнув на всех неожиданно и неуместно, бросился на кухню. “Толя, ты не видел Костю?” – прерывает мой путь Виктор Михайлович. Тактично приостанавливаюсь, не могу же я проигнорировать коммерческого директора, тем более почти писателя и единомышленника.

К кричащему мобильнику лечу по инерции смиренного мышления, читаю на табло имя шефа, испытываю небольшой стресс, нажимаю кнопку. До первой фразы генерального директора успеваю пролистать нечестные действия и поступки, вдруг что-то не так сделал? Решаю вопрос Сергея Леонидовича, считываю ему нужные телефоны, вновь выпустив из головы нить перерыва. Вдруг слышу по телевизору слово “бутерброд” и уже без аппетита, без интереса, словно кусок резины, жуя, начинаю выполнять важнейший из древних обрядов, совершаю акт приема пищи вяло и безобразно. И вновь проклинаю постылую сухомятку, выпустив из головы свежий и ароматный бульон...

Нобелевская премия

Испытав нечеловеческие муки, я начал испытывать совершеннейшую радость и почувствовал себя личностью. Как мистический поэт средневековья Франциск Ассизский и певец радости совершенной. Как поэт-символист, эстет формы, отчасти фавист. Пройдя горнило страданий, чуждых мистерийной театральности, притворства и декоративности, я ощутил необходимость выдохнуть внутреннюю радость, скорее напоминающую блаженство. Пребывая в ее жизненной сказанности, я пристальней всматривался в бытие, но еще чаще вслушивался в себя. Меня и мои легкие летние одежды оведал свежий вечерний полевой ветер. Ранняя луна едва пробивалась зыбкими серебрящимися контурами. Сладко пахла липа на окраине селения с поэтическим именем “Поляны”.

Я направлялся в гости к Пекарским, приехав сюда “вечерней лошастью”. Мне предстояло пройти три километра через две деревни по большаку.

Я двигался намеренно медленно, вдыхая вечернее июльское тепло, запоминая низкую лунность, звуки жаворонков, происки грачей. Я вырвался из жутко душного города. Температура не опускалась ниже двадцатипяти градусов тепла даже вечером. Горизонт отчаянно пылал, предвещая закат. Не отрываясь, я смотрел на щедрые краски земли и неба, чувствуя в себе силы подавать пример великой святости и доброго назидания. Мне хотелось познать все языки, все писания и даже пророчествовать. А также лечить ото всех болезней и даже воскрешать мертвых. Частично я уже познал язык ангелов и движение звезд, и многие свойства на свете. Я научился обращать в веру Христову — нет, не неверных, не сомневающих, а идущих в другую сторону. Единственное, в чем я заблуждался, так это то, что я забыл о Боге.

Негоже похвалиться божественным предназначением, не моя, не только моя в том заслуга, скорее, вовсе не моя. Собственно, так и выглядит госпожа Гордыня. К тому же она еще и ложна. Да, я обрел кое-какие навыки в сфере знаний, данных исключительно словом. Но как прекрасна сиюминутно творящаяся жизнь! Эта луна, все яснее проявляющаяся за черными полями. Эти, пока не густеющие вечерние, может быть, еще не сумерки. Эти запахи гостеприимных и хлебосольно открытых крестьянских дворов. Веселые смеющиеся подростки, липовые тени на поляне, пугающие меня коровы — зримы, подробны, значимы. Они жизненны и очень убедительны. Именно здесь начинала расцветать моя совершенная радость. Ей не доставало знания в слове, жизни самой по себе. А мне не хватало чего-то. Вероятно, добыв радостный образ бытия, исстрадавшийся, я все же не сумел отрешиться от себя — ценою великого унижения и тем возвыситься.

Смятенные мысли одолевали меня, мятежного, ищущего бурю, точно так, как искал ее известный лирический герой поэта Лермонтова. В точности невероятной двигалась моя душа в гибельные для нее страдания. Радость-то заключалась в свободном выборе, позволяющем причислить мои мучения к разряду добровольных и считать их доподлинно моими. По-

сколько ничьими больше они не являлись, только ими я мог похвалиться. Я спотыкнулся о торчащую веревку. Мне было до того легко и благостно, что я не клял чертов местный уклад, не чертыхался на хозяев-недотеп, разбросавших у дома проволоку. Меня не раздражали роящиеся, донимающие мириады мошки.

Неужели мое чудо — это боль преодоления боли, возможность обрадоваться боли, выпустив с болью девятнадцать сборников стихов. Пребывая в личной скорби, в слезах, дорогих сердцу подробностях жизни, создавать роман души в муках живущей, души светлой, праведной, хорошей. И тут я увидел хутор Пекарских. Я смотрел сквозь него, захваченный великой идеей. Я принял решение выдвинуть себя на соискание Нобелевской премии в области литературы. А почему бы и нет. Обязательно и в пику белоусскоязычному поэту. И я это сделал. И моя совершенная радость сделалась осмысленной, логически завершенной и вполне реальной...

Кофе

Совершенно замечательный урок с разгадкой в конце получил я накануне Нового года. Что и помогло мне поменять нелогичное мышление на мышление ясное и открытое, как эмблема. Я усвоил без морали. И принял к сведению и осознал. А прежде, пользуясь доверием шефа, я карабкался ему на голову, ведя себя в социуме согласно плебейскому происхождению. Но как устроен этот, полный коварства и лжи, кишащий притворством и лезвием, состоящий из угодничества и двуличности человек? А устроен он вот как.

Напиток, повышающий тонус, изменяющий сознание и влияющий на давление, шеф принес неожиданно. “Будем пить кофе...” Так точно и сказал. Могу поклясться на Библии. Владая языком ангелов, я ответил что-то угодническое, отметив широкие возможности, появившиеся в области горячих бодрящих напитков. Шеф практически открыл мне все блага земные, облекая большим доверием. Думая, так оно и должно случиться, я принял нормальное человеческое отношение за должное и обязательное мне благо.

Дело не в том, что я жил естественно, как лист на ветру, как роса божия на траве, как птица, вдале летящая. Дело в том,

что я не мог принять нормального доброго отношения. И что же такого я сделал? Ничего особенного. Просто-напросто покрсытничал, хотя вполне объяснимо. Ведь шеф произнес членораздельно, на чистом русском языке: “Будем пить кофе...” Нормальные люди, даже если им разрешили в чужом доме пользоваться холодильником, все же сдержанны и тактичны. Нормальные люди. Но только не я. Я крыса. Что в этом зазорного? Кто еще из многих миллионов людей способен сказать правду о себе? Очень немногие. А я раздеваюсь и психологически предстаю перед миром, аки младенец, наг и нищ. Мне остается только каяться, смиренно склонив голову.

Чтобы растроганный и огорченный шеф простил меня, неразумного, ворвавшегося в кофейный заповедник. Прежде следовало бы стать человеком. Прежде, чем корчить из себя существо божье. Думая, что жизнь у меня легко складывается, простодушная, как у ребенка. Шеф позволил, я в кофе нырнул, одни круги пошли по кофейне. Не Анатолий, а прямо-таки жонглер-эксцентрик, некий веселый вагант-бродяга. Упаковку — раз — разворотил, зернышек в аппарат кофейный сыпанул (в отсутствие генерального), водички подлил, дверь комнаты переговоров поплотнее запер, свет выключил. Чтоб не слышали уши любопытные, не видели глаза сторонние. Гудит кофемолка импортная, далеко гул разносится, а дверь захлопнешь, едва шум доносится, на крик далекой электрички похожий.

Пьешь кофе быстро и тайком, каждое движение сопрягается с чувством вины. Провались пропадом такая нечестная жизнь. Утомила она меня до чертиков, до коликов в душе, до аритмии в сердце. Как ступить на стезю честности, как не лезть в притягательный пакет, как не думать о нем? Покаявшись, гляди, не твори греха! Знал? И не только. Даже проповедовал мысль о покаянии на определенном этапе духовного развития. Бог, сие безобразие видя, ангелов-то и наслал с проверочкой. Сквозь грех проступила жизнь. Громыхнула реальность. Шеф пребывал в таком гневе, не для всех, конечно. Без выволочки за нерадение пробрал до дрожи одним гневным голосом. Напугал до смерти. Заставил заявление на увольнение написать. Я не мог предположить, потроша кофе, что шеф вздумает отнести кофе в качестве подарка. Я же, проныра, упаковку степлером аккуратно прошил по краям. А тот, кому предназначался пода-

рок, оказался профессионалом. Он увидел мою работу и задал прямой вопрос. Плохо было шефу...

Потерял я доверие. Не получил новогодние премиальные. Чувства разные отрицательные испытал. Главное, чувствовал себя глупо. Пришлось на покаяние идти, страхи друзьям проговаривать, по-идиотски объясняться в том, в чем нисколько не виноват. Потому, что кофе — вещество, изменяющее сознание. Потому что я неадекватно реагирую на химические вещества и поистине бессилён перед ними...

Теологический спор

«В основные мировые религиозные конфессии ворвалось одно духовное учение. На его основе сформировалось мое мировоззрение. На его духовных принципах высветлился путь, улеглась интеллектуальная разбросанность, на второе место отодвинулся интеллект. Зачалась и возросла жизнеутверждающая позиция, позволяющая обрести чувство опоры в том, что происходит, при любых создавшихся условиях. Признание и решение собственных проблем позволило избавиться от страхов, главного источника жизненных проблем...» — я давил редактора в доме баптизма, где продавали диковинные библии, редактировались будущие книги и смиренно принималось происходящее. Я выступал так горячо и самозабвенно (так мне думалось), что редактор и работники отдела отмалчивались, не находя никакой возможности противостоять моему эмоциональному натиску.

Здесь, в Минске, в районе улицы Чихладзе, в нешумном покое частного сектора, я свергал авторитеты и рушил вечные устои. Здесь дребезжали стекла не от проезжающих автомобилей. Есть ли на белом свете существо человеческого вида, более многоликое, нежели я сам? Здесь купил по номинальной стоимости десять священных книг для последующей продажи. Здесь с превеликим трудом удержался от соблазна украсть один экземпляр. Мне очень, очень хотелось быстро спрятать красивую книгу в сумку, сделав честное — постное лицо, удобнее расположиться в кресле, ожидая возвращения главного товароведа. Их привалила целая гурьба, сдержанно переговаривающаяся, топающая по многокомнатному дому, полному прекрасных религиозных чувств.

Они двигались с сознанием своего призвания, сознанием своего человеческого достоинства. Я не любил баптистов, но, положив руку на сердце, их прекрасные лица светились верой. Самое главное, на мой взгляд, в них отсутствовали признаки сомнений. Я же чувствовал себя как космонавт, покинувший корабль и перешедший в измерение невесомости. Мое зыбкое состояние усугублялось страхом перед бесконечностью. Мне очень не хотелось бы затеряться и пропасть в пропасти неопределенности. Поэтому тоненькая ниточка духовности, связывающая меня с небом, показалась мне особенно важной в ту минуту. Я не мыслил себя без невидимой пуповины, рамки просто необходимы для меня, но беда заключалась в том, что я не ведал своих границ.

Я слыл носителем чужой учености, учителем туманно понимаемого предмета. Я преодолевал рамочные пределы, меня влек предмет моей ученой сосредоточенности. К смыслу хитроумных, лихо выстроенных собеседований. К учености диспутов, к суетному работорговству, и я оказывался у разбитого корыта.

Вот таким хаосом обрушился я на бедную редакцию, в противоположность их тихому несуетному бытию веры и неколебимости. Разумеется, я почти поссорился с ними, хотя заметить разногласия или возмущение по их сдержанности было невозможно. Весьма серьезные люди, редактирующие и готовящие к изданию известного белорусского классика Я.Купалу, показали мне множество чудеснейших томиков в твердых переплетах, демонстрируя образцы печатной продукции. Я принялся распоряжаться новенькой библиотечкой, тревожа книжицы и вороша их классический покой.

«Вы можете издать мою книгу стихов?» — оgoroшил я редактора прямым вопросом. Как восхитительна его сдержанность, подумал я, как стройна и легка его речь и тверда убежденность. Как бы там ни было, его ответ сводился к одному: «Вот если бы вы посещали занятия баптистов, тогда бы мы с вами могли разговаривать...» Его благородство и высокий строй мыслей ничуть не повергли меня в смущение. Тем паче, спор на основе разногласия — не хитрая вещь. Тут я выложил перед ним свой главный аргумент: «Вам предписано помогать сирым и убогим, независимо от вероисповедания. Помогите выпустить

книгу для наркоманов и алкоголиков!» И прекрасный мой порыв завяз в молчании и безмолвии, где дело обстояло куда решительней и куда консервативней...

Дневник

Вместо того, чтобы заниматься дурным пустословием, я веду дневник эмоций. Я вычитал в исторической книге, что цари тоже вели дневниковые записи, что это удел хорошо образованных, мыслящих, культурных людей. Я распросил знакомых, осторожно наводя их на интересующую меня мысль. Оказалось, некоторые из моих друзей также фиксируют на бумаге важные жизненные события, имеющие определенное значение в их личной жизни, в их судьбе в целом. Я задумался, взвесил “за” и “против”, преодолел страх перед новым начинанием, отряхнулся от стресса и занялся учительством для самого себя.

Конечно, научились, поверили этому дневниковому начинанию, этому божественному подарку не многие. Лично я оказался в их числе. Я не долго терзался сомнениями, я больше мучился приступом жадности, покупать или взять общую тетрадь из фирменного канцелярского имущества. Алчба, преобладающая в моей душе, победила и я незаметно взял сшиток из имущества нашего завхоза Константина Соловьева. Я согласился с тем человеком, изрекшим: “Нет ничего прекрасней чистого листа, нет ничего страшнее нового листа...”. Я разверз листы будущего молчаливого и безответного собеседника, взял ручку, немного подумал и принял решение исповедаться самому себе, начиная с момента, едва не завершившегося отшествием в небытие.

Я не то чтобы решил просветить мир только собственной жизнью, нет, я устал от долгого лживого молчания. Все живое может долго безмолствовать, но потом рано или поздно следует поведать миру о чувствах и помыслах, одолевавших израненное сердце, беспокойную душу, брэнную плоть. Пришел час рождения дикого, затаившегося крика, внезапно проснувшегося, взбудоражив зыбкость зеркального благополучия. Неожиданно голос, напоминающий скорее шелест дождя, нежели грохот грозы, зазвучал и не осекся. Цитируя, ретранслируя: “...Итак, сии, оставив немедленно все свое, отказавшись от собственной

воли, освободив руки свои и оставив неоконченным занятие свое, послушной стопой поспешают делами своими за гласом приказующего, и точно в единый миг веление наставника и исполнение ученика, — то и другое, окрыляемое страхом божьим, — совершается одновременно, наиболеестрейше”.

Я принялся говорить долготерпеливой бумаге о ненависти к миру, живущему не по моим законам. Я начал выплескивать чувство недовольства зарплатой, зыбкостью и неопределенностью социального положения. Иная, вовсе не смиренная, не человеколюбивая позиция обнаружилась в моей сути, раздираемой противоречиями. И если перефразировать Пастернака, изрекшего: любовь — “единственная новость, которая всегда нова”, то во мне не обнаружилось главной божественной искорки — любви и страсти. Как я ни ворошил свое прошлое, как ни перелопачивал я свое житие, прожитое с расчетом и по расчету преодоленное, я не находил божественного огня. Наши семейные традиции, пропитанные ненавистью, недоверием, грубостью и насилием, таковыми не являлись.

И тут меня обуял новый страх. Как сохранить запечатленное, если оно может стать достоянием праздного любопытства. Ведь в нем жила моя жизнь, в нем пребывала моя судьба. Слово словом, но опыт души не должен сводиться к безлично-всеобщему чтению. Вот чего я боялся, вот что неустанно бредило мое разволнованное нутро. Я не верил в истину и справедливость, не доверял миру, сомневался в благости небес. Я прятал тетрадь за семью печатями, хотя никто никогда ею не интересовался. Я колебался на грани веры и неверия. Я хоронил тетрадь глубже кашеевой смерти, выше небес обетованных, дальше тридевятых земель. Я истерзал себя излишними подозрениями в адрес наших работников, случайно бросивших взгляд в сторону моих творений. Я думал лишь о том, как бы не оставить заветные откровения на видном месте. Абсолютно лишенный самобытности, я обретал ее, я нес миру свое слово. Но чувство неуверенности росло соответственно объему написанному. Однажды я забыл тетрадь откровений на работе. Думы одолевали меня два выходных дня. В понедельник я порвал тетрадь и разбросал в разные урны...

Сестра Галя

Удивительно трогательные чувства посещают мою душу в пять часов утра у окна поезда, замедляющего свой ход перед станцией Рутченково. Малоснежная зима, безлистые посадки акаций и пестрые вспаханные черноземы видны в местах моей юности. Двухминутная стоянка коротка. Саша Лелеко не встречает меня. Я специально его не беспокою, не хочу дергать друга детства, юности и футбольной молодости в такую рань. Я быстро договариваюсь с частником, даю ему двадцать гривен, выходя у отчего дома.

Сестра Галя проснулась согласно заведенному будильнику, а я уже тут. От великого гостеприимства и радушия она пытается накормить меня досыта. Мама отлеживается, уж очень много ей лет исполнилось в нашей брэнной жизни. Уж очень нелегко ей уживаться с властной, красивой, певучей, умной сестричкой, в которую, это очевидно, вселился дух покойного отца. Собственно, два капитана — корабль тонет, две хозяйки в доме не к добру. Житейская мудрость, практичность и самодостаточность женщин двух поколений встретились в неравной борьбе. И мама уступила. А что можно поделаться в таком случае? Поставьте себя на место Галины, поживите в одном доме с очень пожилым человеком восьмидесяти пяти лет. Все не так легко и просто. “На все есть причина..”, — отметил первый поэт Белоруссии Анатолий Аврутин (вторым поэтом я считаю себя).

Я с большим трудом отбиваюсь от галиных хлебосольных излиятий, мне в самом деле не хочется есть. Мне бы выпастыся, сердцем к маме прикоснуться, выслушать ее. Но я хорошо знаю правила. Гале не нравится мамина откровенность. Она не любит, чтобы сор выносили из избы. Как химически зависимая, моя сестренка скрывает главное, говорит лишь о второстепенном. И обязательно использует подвернувшийся повод для легкого употребления небольшой дозы спиртного.

Даже после десяти лет воздержания у меня по прежнему при виде водки происходит прилив слюны во рту. Понятно, речь не идет о первой или единственной рюмке, но алкоголизм коварен, думается мне между глотками кофе совершенно ненужного желудку в шестом часу утра. Галя же на автопилоте проглатывает еще одну рюмку. В ее взбалмошной эмоцио-

нальности рождается безусловная и свободная идея отложить принятие смены в магазине еще на один день, а мой приезд — повод, чтобы ничего не делать.

Галя, рожденная для духовной миссии, легко торгует. Сестра, пришедшая в мир вещать об истине, очень рано вышла замуж, убегая из постылого и неудобного отчего дома. “Куда пошла”, — кричала мама вслед пятнадцатилетней дочке, получая в ответ благодарные фиги несогласия и глаголы не-смирения. Спустя несколько лет ранняя семейная жизнь по разным причинам покатила наперекосяк. Однажды сестра скажет мне: “А что же вы мне ничего не сказали, ничему не научили?” Будто можно вразумить отроковицу, обуреваемую похотью, захлестнутую страстью, так похожую на настоящие человеческие чувства.

Понятно, с течением времени положение дел усугубилось. Ревнивый муж преследовал Галю. Они укатили на север. Галя сбежала от него вначале домой, потом к нам в Минск. С новым мужем жизнь тоже не заладилась. Случилось несчастье, у красавицы сестры во младенчестве умерла дочь Леночка, вечная ей память. А муж, милиционер по призванию, угрозами (по рассказу Гали) заставил ее отказаться от претензий на квартиру.

Мама расположилась в кресле напротив и слушала, и смотрела на меня. Я аккомпанировал на гитаре, Галя пела. Несостоявшаяся София Ротару, называю я талантливую во многих сферах дочь Веры Никитичны. Она получила от небес поистине божественный голос и абсолютный слух, сказочно привлекательную внешность (мужики делали предложение на третьей секунде), пылкий и острый ум и неразвитое духовное начало. Возможно, я своим примером привлеку ее на стезю самопознания и смирения, так необходимого ей...

Воровские мысли

Не приведи Господь, ангелы расскажут о моих мыслях Создателю. Упаси Боже душу мою от страстей греховных. Избавь же, Творец, очисти помыслы мои от скверны воровской, преобладающей во мне даже в минуты пребывания в святом храме. Не молитва высокая звучит во мне, не смирение послушническое глаголет истинно. Поверьте, я в отчаянии, услышьте, я в бессилии. Я, отрок, невинно убиенный смертным недугом,

Провидением от болезни спасенный, ангелами из могилы вытащенный обнаружил в сердце затаенное преобладающее семигреховье. Я думал, что я очень хороший, я полагал, что они во всем виноваты, они явились причиной моих неудач. Я так устал от греха осуждения, я накопил столько гнева, что гнев принялся оборачиваться против меня.

Вначале я бросился к психологам. Я терпеливо и, надо сказать, с удовольствием высиживал групповые занятия по гештальт-терапии. Я слушал талантливого Сергея Александровича Мартыненко и диву давался, до чего же умны эти психологи, до чего же все запутано у меня внутри. “Яркий искрящийся поток льется на вас, на темечко, на плечи, на руки. Вы сами начинаете излучать свет, вы – светящийся шар, ваши ладони источают тепло...” Примерно так говорил талантливый специалист, работая с нашей группой. Я превращался в нечто бестелесное и легкое. На несколько минут я возлетал ангелом, не ощущая ни тела, ни удручающих меня разбросанных помыслов. Медленно и постепенно врач выводил нас из состояния транса, нас, группу смертников, возвратившихся из плена потустороннего мира, болеющих тем потенциально смертельным заболеванием, которое в статистике здравоохранения стоит рядом с раковыми опухолями и сахарным диабетом.

Прошло немало времени, прежде чем я разобрался в происходящем. Психотерапия, жаждущая денег, ищущая деньги, не властна над отклонениями нездоровой души. Потому что душа выше всех соображений этики, потому что душе чужд акт помощи, выраженный в финансовом эквиваленте. И я доказывал Мартыненко отрицательное влияние психотерапевтических методов, не говоря о их вредности, а хитроумным мышлением пытался показать свое всемогущество. Думаю, выглядело и звучало мое участие в мировом процессе выздоровления более чем наивно. Думаю, я не поколебал убеждения мастера терапии, но отошел от него, принявшись решать все же свои, а не чужие проблемы.

Проблемы не уходили. Я обращался к православным священникам, они только поучали и давали советы. Я заглянул к баптистам, с теми дело обстояло еще хуже. Я нашел приют у католиков, где мне предоставили самому разобраться в том, что происходит в моей душе. Никто не тащил меня в католичество,

никто не вызвал ко мне. Вот почему меня в минуты смятения тянуло в костел. Но отчего, откуда засилье воровских мыслей? Откуда дикое желание взять все, что не так лежит, что смотрит на меня.

Мое внимание тогда привлекли книги — двухтомное издание — жизнеописание папы Иоанна Павла 2. Не мог же я предположить, что в скором времени ксендз Владислав, настоятель прихода св. Сымона и св. Елены, предложит мне и другим совершенно бесплатно взять себе несколько двухтомников. Каково же мне было смотреть ему в глаза, когда я вчера унес в сумке четыре книги, испытывая при этом дикое желание провалиться под землю, лишь бы никто не узнал. Один человек все же проведал о моем грехе — я сам, я, Анатолий, не совладающий с навязчивым желанием воровства.

Я делился к ксендзом своими проблемами, не столько раскаиваясь, сколько испугавшись преобладающего во мне желания “взять”, “схватить”, “утащить”. Воровство оказалось значительно сильнее моего духа. Я слушал ксендза и не мог оторвать глаз и внимания от чудных янтарных четок. Я бы с удовольствием спрятал их в карман, но что-то уже начало происходило во мне, исцеляя и раздирая изнутри необъяснимой болью...

Пятьдесят долларов

Кто объяснит появление на дороге лукавой зеленой бумажки с портретом Дж. Вашингтона, в самом видном месте, на глазах у изумленной публики? Кто указывает место, где эта купюра покоится до поры, до времени, пока не придет тот человек, какому денежная банкнота назначена свыше? Тогда я подумал, наверное, мои деньги никто не возьмет.

И сказал об этом другу Саше в контексте нашего общего и плавно текущего разговора. Александр Фомичев, истинный образ смиренного человека от Бога, как всегда, слушал меня внимательно и терпеливо. За редкое умение слушать я прощал Сашку все на свете, хотя прощать было нечего. Таилась в нем некая неизъяснимая духовность, отпущенная очень немногим людям на смиренных складах небесной канцелярии. Жила в бывшем спортсмене, мастере спорта по дзюдо и хорошем боксере непостижимая разумом кротость и покорность воле

божьей, она-то и делала Сашу притягательным и добрым собеседником в кругу знакомых и друзей.

Мы шли, а рядом с нами с беззаботной удалью внутренне агрессивного человека метался одинокий человек. Мужчина вызывал у меня чувство незащищенности притворной неловкостью, снуя со всех сторон в поисках пьяных приключений. Мы явно игнорировали сноровистого мужа, что не нравилось взволнованному больному. В его лице, в его довольно обширной плоти просыпался дикий бизон, жаждущий крови. Саша продолжал спокойно говорить о своих делах, а я слушал и внутренне боролся с непредсказуемым мужиком. А тот выждал и пружинил, как мастер единоберств перед боем. Вдруг он издал то ли крик, то ли рык и неожиданно исчез, помчавшись в сторону темной арки дома.

Я подумал: «Отовсюду ужас и опасность, извне — шизофреники, внутри — страхи». Саша вымолвил: «Я думал, придется бросать...» Мне делалось легче, я чувствовал себя воздушнее пуха. С необыкновенной словесной грацией я начинал острить, размахивая руками. С преувеличенной детскостью, крича, я аплодировал Александру за мужество и героизм вот таким неадекватным поведением. Рядом с сильным другом у меня складывалось ощущение, будто мне хорошо известно, что за спиной моей много лет стоит сам Бог. Будто никогда не одолевала меня тоска с отчаяньем.

Боже, как памятны мне наши долгие прогулки от станции метро «Пушкинская» до улицы Петра Глебки. По обычаю, мы доходили до поворота в мою сторону, перемолов всякую всячину мужских переживаний. Подавляющую часть времени болтал я, в таких случаях пишут «без умолку». Положа руку на сердце, я признавал такой грех за собой. Я родился сверхэмоциональным ребенком и, являясь экстравертом по природе своей, нечасто встречал на своем жизненном пути людей, умеющих долго и до конца меня выслушать. Под сумрачными и сырыми небесными сводами чаще звучал мой голос. В напряженной преддождевой тишине мелькали темные старушечьи фигуры, продающие семечки. Молитвенный шепот действующих пьяниц, просящих добавить триста рублей на хлеб, звучал не убедительно.

Прежде чем разбежаться, мы с Сашей решили заглянуть в универсам. На самом видном месте возле ступенек, под

яркими лампочками лежали пятьдесят долларов. И вот они, упавшие навзничь, всеми презираемые (так должно относиться к презренным деньгам), смотрели на меня сиротские и ничейные гроши. Саша не успел глазом моргнуть, не понял, что случилось, как я выхватил волшебную бумажку у него из-под ног и спрятал ее в дальний карман. Я очень боялся, что мне придется делиться с другом. Я переживал, что кто-то специально подбросил злополучные деньги. Я чувствовал вину, что не могу сказать об этом другу, но верил в то, что он обязательно откажется, если я предложу ему половину найденной суммы...

Паспорт

Сумрак сгущался. Чаше и гуще вспыхивали вечерние огни в панельных домах. Ярко сияло здание поликлиники. Я выстоял очередь к своему врачу, закрыл больничный лист, спустился по лестнице в фойе, чтобы получить в гардеробе пальто. У большого зеркала для посетителей справа красовалась обложка темно-синего паспорта. Я расслабленно и небрежно наклонился, спокойно поднял таинственный документ. После этого еще очень долго длилась тишина, хотя прошло всего несколько минут, хотя мне думалось, что все посетители поликлиники только и думают обо мне и о потерянном кем-то паспорте.

Ни одна душа не обратила внимание на мои действия. Никто не произнес сдержанно и строго: “Мужчина, отнесите находку в регистратуру...” Лишь долгое и скользкое шебаршение подошв ответило моим страхам, лишь безмолвный внутренний страж совести неодобрительно крякнул, как всегда смиренный и одинокий. О чем думал я тогда, уже достаточно зрелый и взрослый отец прекрасной дочери, добрый и неверный муж, футболист местной команды, умеющий и знающий в сфере футбола очень многое? Что шептал мне в то мгновение Единосущный? Или же взирал безмолвно, оповещенный ангелами о моей глухоноте духовной? (Духовность и религиозность очень разные вещи, они отличаются, как футбол от фристайла).

Насколько же все это взволновало меня, подростка, даже мальчика в смысле духовном? Сколько в конце концов было во мне настоящести? Во мне, готовому к незамедлительному

поступку, во имя чего? Я открыл документ, удостоверяющий личность и прочел: Анна Ивановна Гостинцева. Красивая фамилия ассоциировалась с гостинцем, и я подумал о будущем вознаграждении. Я столько раз испытывал подобное ожидание. И вот случай предоставил мне редкую возможность реально получить заслуженные дивиденды.

Я шел по вечерней улице, специально игнорируя общественный транспорт. Я обдумывал сложившуюся ситуацию, упорно ведущую меня на окраинную улицу сквозь умирающий вечер. Ни возгласы пьяных подростков, ни пугающие темные фигуры прохожих сейчас не беспокоили мое сердце. Я находился в состоянии глубокого гипноза, именуемого самообманом. Что, собственно, происходило в самом деле? Я нес паспорт по адресу, прочитанному на месте прописки. Моя святая и притворная бедность, призвав в помощники чистую святую простоту, глубоко упрятав алчность и скупость, и мудрование плоти, укрывшись пологом гордости, творила добро. Но у дьявольских и плотских искушений насчет доброты были другие соображения.

Я слышал далекий и милый голос ангела, который приветствовал мой порыв, грозя пальцем за тайные и корыстные помыслы. Со священной готовностью я поднимал к небесам свои бесчестные глаза и, зачарованный, врал смиренным молчанием тем же великим небесам. Ангел же шептал, чтоб не носил я ярких расцвеченных одежд на душе своей, ибо тонки и обманчивы.

У пятиэтажного дома сидели столетние старушки. Над ними странно и поздно пела какая-то осенняя птичка, звонкая и христололюбивая. Она пела о всеобщем братстве, о том, что все одинаково богоугодны. Бабушки дружно повернули головы в мою сторону и также синхронно проводили меня в бездну подъезда. Я поднимался на пятый этаж, чувствуя основательное сердцебиение. Добрые и благочестивые очи очень пожилых женщин освещали грязные ступеньки, хотя на самом деле они были еще и недоброжелательны.

Святая мистерия доброго замысла истекла у неприглядной двери. Обычная серая женщина вызвалась на мой кликуше-ствующий звонок, не удивляясь, не охая по поводу утерянного, приняла мой долженствующий жест. Наверное, так открыва-

ются и закрываются святые врата. Коричневая дермантиновая дверь отторгла меня от Анны Гостинцевой, давая мне еще одну возможность осознать земную слабость и гордость. А мое тайное домогание гостинца так и осталось глупым человеческим упованием пока еще не озаренного благостью сердца...

Поэт Ленид Голубцов

Я помню много слякотных предзимних дней, проведенных на строительных объектах юго-запада столицы. Я помню день, который дал мне самого надежного друга в моей жизни. Тогда грязные оттепели не сменяли веселые снегопады и метели так часто, как это случается сегодня. Тогда наши души не донимало странное, неподдающееся анализу чувство ненужности. А ощущение бесцельности, неуверенность перед завтрашним днем терялись где-то в общей массе стапятидесяти оттенков человеческих переживаний.

Все на свете, равно как и земное существование всех народов мира, влекло нас, захватывало нас, будоражило наши мысли. Мы стояли друг против друга и спорили ни о чем. Мы глаголили о вечной вечности, преподавая самоуроки с помощью вечных глаголов. Я еще не знал о поэтических увлечениях моего нового друга. Я считался мотористом и обслуживал механизмы нашего подразделения. Леонид работал в бригаде, занимающейся подземными коммуникациями. В перекуры, в свободные минуты мы стали не разлей вода. Страсть к высшему виду творчества объединила наши пути и сблизил наши души. Мы творили текст из небесных слов, глубоко личный и вместе с тем всем и для всех.

Я впервые гостил у Голубцовых, диву давался его необыкновенной, созданной для семейного счастья, жене. Галя сносила наши нескончаемые сабантуи. Она с изяществом резала при мороженное сало. Я лишь чувствовал вину, когда она входила и, не глядя на расставленные бутылки, тихо и мягко расставляла тарелки. Я чувствовал себя очень глупо, когда мы с Леонидом одевались и уходили на поиски приключений. Однажды Галя шепнула: «Когда тебя ждать?» «Не спрашивай, а то вообще не придут...» Глобально решал проблему глава семейства. Это вызывало у меня дополнительное чувство вины. В моей семье нормальной семьи с одним «капитаном» не получилось.

Мы последовательно одолели этапы поэтического развития. Каждый из нас выпустил несколько поэтических сборников. Еще раньше мы проговорили и свергли с пьедестала поэтические авторитеты. Наши пути разошлись из-за моей новой жизненной позиции. Я бросил пить и курить, выбрал здоровый образ земного бытия. Леонид за мною не последовал.

Наши встречи стали редкими. Но мы продолжали заниматься, как сказал ученый, «изготовлением плача». Леонид тосковал в одиночестве, изнывал от поэтической неудовлетворенности и всегда ждал моего звонка. Он находился в ощущение невыговоренности, в горечи недосказанности, во мраке нереализованности, в отсутствии чувства причастности. А я, гордый в трезвости, недоступный в символичности, снисходил к другу нечасто.

Как все поэты, обладая даром пророчества, мой лучший друг даже предисловие к будущей книге составил так, будто смерть его уже предрешена, будто она обязательна и неизбежна, как преждевременное действие небес обетованных. В тот день я звонил ему на мобильник. Как всегда, он говорил со мной так, будто жить ему оставалось еще целую вечность. Его брат и мой друг Витя неожиданно набрал мой номер мне во второй половине дня. От растерянности (мы перезванивались редко) я задал первый попавшийся вопрос, который пришел мне на ум: «Как дела?» Витя горестно выдохнул: «Какие дела, Леня умер». Я чувствую глубинную вину, что не смог быть на похоронах. Я чувствую вину, что редко звоню вдове и не навещаю их гостеприимную семью. Порой я открываю один из его сборников стихов и сквозь его простые и доступные образы улетаю в то далекое дружеское время, в каком была настоящая дружба, хороший друг и много доверительных разговоров...

Свидетель

Внук родился дома. Мы пережили стресс. Чуть позже начали радоваться, ведь все хорошо, все нормально. Через месяц дочь сказала о повестке в суд, вызывающей меня для дачи свидетельских показаний по делу «Установленного факта». Я рассматривал повестку и не мог прочесть фамилию секретаря суда. В плавающих цифрах я не мог определить номер комнаты, куда мне надлежало явиться. Рассеянное мышление

и сумеречность памяти то ли по возрасту, то ли от детского недоразвития не улавливали информацию, запечатленную на сером бланке. Моя нехорошая привычка решать завтрашние проблемы сегодня, а не по мере их поступления, вступила в свою силу и начала сводить с ума.

Я нарочно много ходил по офису, живя в воображаемой ситуации, отвечая представителям юриспруденции на мною же придуманные вопросы. «Что-то ты сегодня рассеянный...» — констатировали на работе. «У тебя плохое настроение?» — спрашивала жена. Я не люблю, когда лезут мне в душу. «Ты не хочешь со мной общаться?» — обижались на том конце провода. Я же находился не в себе. Эта повестка, прянувшая неизвестно откуда, совершенно выбила меня из колеи. Я начал бороться с ситуацией — тем маленьким мальчиком, который живет в каждом из нас. Беда заключалась в свалившемся на меня страхе неуверенности. Трагедия душевного покоя жила в нереальности вопроса. По причине его несвоевременности. Помните, девяносто девять процентов всех проблем разрешаются сами по себе, остальные просто неразрешимы.

К сожалению, простые и доступные истины доходят до человека в самом конце и без того короткой человеческой жизни. К великому огорчению для себя пишу, мирный голос небес, разрешающий с любовью внутренние противоречия, слышится после великих испытаний, несносимых болей, больших душевных потрясений. Я, подверженный суете и сомнению, мучительно готовился к делу, в каком не было дела. Я томился вопросом, в каком не стояло вопроса. Я упивался какой-то мистической ситуацией. Ее события не двигались по моему замыслу, и я не хотел их принять таковыми, как есть.

Низкие своды небес опустились на порядок ниже. Тепло и сумрак бесснежной зимы мешались с тишиной и скорбью. Неделя маячила впереди, прежде чем мне предстояло явиться по вызову в суд. Я уже устал ненавидеть систему ценностей, творящую подобную несправедливость. Родился человек, мой внук, а мне нужно подтверждать факт его рождения. Вопиющий факт бесчеловечного отношения к молодой маме, к молодой семье. И стопроцентно выигрышное дело в любой цивилизованной стране, если подать иск за причинение морального ущерба. Уж не вы ли, господа судьи, должны, обя-

заны приехать сами, с огромным подарком от благодарного государства? Родился человек! Не вы ли оторвали от работы шесть человек и нанесли ущерб державе? Не вы ли ко всему прочему взяли пошлину? Не вы ли подвергли рискованным волнениям молодую маму, заставив ее тащиться в сырую погоду, волноваться по многим причинам о малыше?

Едва не сойдя с ума от беспредметной борьбы, я вызвался как свидетель. Все, к чему я готовился, мне не понадобилось. Если не считать огромного страха и чувства вины после вопроса об имени внука. Имя Богдан вспомнилось и произнеслось не сразу. Я думал о том, что по этому поводу подумала госпожа судья. Я свободно вздохнул лишь после того, как зачитали положительный результат. Он вступал в силу через десять дней. Чуть какая-то. Родился человек, а он еще не имеет юридического обоснования и гражданского вида. Ожидая в коридоре, я подумал, что если жениться на судье, то всю жизнь придется доказывать ей, где ты был вчера вечером. Мысль привела меня в восторг. А моя дочь, в эмоциональном плане более взрослая, чем я, заметила: «Наверное, им здесь мало платят, — и на мой удивленный взгляд добавила, — одни женщины работают...»

Учитель

Как ни странно, мне всегда чудилось, будто я талантливее своего учителя. С каждым новым витком поэтического развития я вновь просматривал его стихи. Я ревниво выискивал подтверждение своей правоты. Я сопоставлял свою гениальность и неизменно ставил ее выше учительского таланта, располагающегося в шкале способностей вслед за мной. Я хотел, чтобы он хвалил мои творения, а он был немногословен. Я жаждал признания в его лице, а он, оценивая мои вирши, скупно бросал «мелкотемные». Я чувствовал, что я погружен в ветхозаветную беспросветность. Мне чудилось мировое признание. Шеф стихосложения (я называл его таким образом) совершенно бесстрастно, хоть бы мускул дрогнул, хоть бы эмоция разыгралась, хоть бы чувство вспыхнуло, просматривал мои невыстраданные строчки, лишь добавляя в словесном выражении: «Опять много написал...» Он же не разделял моей радости по тридцати стихов в день.

Что за странное желание — нагнать по количеству написанных строк Лопе де Вега? Что за блажь честолюбия — научиться творить без чувства, предаваясь безудержной гонке в за иллюзией фавизма? А наставник подливал масла в огонь своим философским спокойствием. «Братся за перо надо тогда, когда болит душа...» Шатались пламена свечей, троекратно рыдала душа, беспощадно, подобно бродящему вину, выдерживал меня главный поэт королевства (как только терпения достало). Он довел меня до того, что я опустился до ничтожных тридцати стихов в неделю. Но он оказывался неумолимым.

Голос его звучал по-прежнему тихо. А с той стороны, где развивался я, опять же, как из рога изобилия, сыпались и сыпались рифмованные строки. На какие ухищрения я только ни шел. Я набирал текст более плотно. Я располагал гениальные сочинения в два ряда на одном листке. Качество, как и утверждал учитель, от количества не менялось. И тогда я начал принимать кардинальные меры. Я отошел от рабского служения суете. Я перекроил всю литературу, где можно почерпнуть новые образы и свежую лексику. Я основательно потрудились над качеством рифмы, устранив известные затруднения при развитии образа, мысли, чувства. Я научился приделывать крылья к рифмованному чуду и делать его крылатым. Я переводил стих из одного размера в другой. Я менял размер, и мой тягучий дактиль стремительно преображался в хорею, вопия и просясь в неударимый ямб.

Какого рода навыки требовались мне еще? Я углублял тему, увеличивал крылья, утончал редакторскую музыку, доведя каждую деталь почти до филигранности. А учитель бросал: «Много написал...» Я неплохо чувствовал себя в подмастерьях, снизойдя до одного стиха в день. А глава Парнаса восклицал: «Еще меньше...». И отметил всенародно мою технику. Для начала я все ему простил. Я начал прикасаться к высшему виду творчества единожды в неделю. Краски устоялись, чувства взыграли, страсти забурили. Я поднимался по лестнице, идя к учителю, и не сомневался — несу хорошие стихи. «Я сейчас читаю твои стихи с удовольствием...» За такие слова я проставил бы ему коньяк, но укоренившаяся трезвость и новая жизненная позиция не совместимы со спиртными напитками. Пройдя все стадии символизма, все этапы творческих поисков, я пришел-

таки к своей правде, освободившись от страха быть вторым. Хотя мастер утверждает, что сейчас в моих стихах символизма как никогда много. Ну что ж, символист всегда сможет уйти в реализм, а вот наоборот ни у кого не получится.

И если бы только в таком ученичестве было дело, все было просто, как божий день. И если бы все дело таилось в мастере. Тут дело в умении выпестовать ученика, вложить в него душу. Как удалось Анатолию Юрьевичу Аврутину вылепить из меня редактора собственных стихов, уму непостижимо. Но все же удалось. И вот же можно стать поэтом, имея средний талант. “Я считаю, у тебя не средние способности...” Ответил и ухмыльнулся...

Забывтый сюжет

Я ни за что не вспомнил бы малолюдный осенний парк, блеклую листву, расклеенную на мокром асфальте сырой аллеи, холодную скамью с разошедшей темной краской. Если бы не мое ассоциативное мышление, реагирующее на звуки слов, на музыку словосочетаний, воскресающее в памяти то, что я никогда бы не проговорил...

В пору молодости и неженатости я, естественно, искал свою половину, следуя мощному порыву, заложенному в меня небесами. Я ожидал таинственной встречи с надеждой закомплексованного человека, не способного выражать свои чувства. Я всегда ожидал решительных действий от девушек, я томился, пока объявят “белый” танец, и это тоже давало некую опору и перспективу. Я не мог быть самим собой без вещей, изменяющих сознание, чтобы стать самим собой и произнести главное...

В ту пору я бродил по пустынным и многолюдным местам в смутном предчувствии перемен, в тайном чаянии желанной встречи, не решаясь просто пригласить девушку в кино, просто подойти и познакомиться и признаться в первом порыве юности.

Я двигался по замирающему парку в самом центре столицы. Я увидел ее, сидящую на блеклой скамье, притягательную, как образ одиночества. Образ печали и не мог выглядеть иначе. Скорбный, потерянный, незащищенный, вызывающий сострадание и участие, привлекающий и отталкивающий одно-

временно. Образ едва среагировал на звук моих шагов и снова замер, глядя в одну точку.

Я, колеблемый сомнениями, вдруг преисполнился решимости вновь убежать от реальности, обмануть самое себя, не дай бог, взять на себя ответственность за извечное любопытство. Но похоть, жажда таинственности вдруг сделали меня изначально мужественным. И я опустил прямо на противоположном конце скамейки, полуприсев на самый краешек.

Я выглядел идеалистом, беспокоящимся о судьбах далекой и мертвой запредельности. Собственно, таковым я себя и чувствовал. Напрасно я пытался шевелить извилинами, исполненными страха. Тщетно собирался с решимостью, унимая сердцебиение. И проживал в воображении одну сцену за другой, глупея от бездействия.

Я не смог ничего придумать, достал блокнот, вытащил ручку, принялся производить впечатление молчаливой загадочностью одинокого поэта. В тот период я сочинял стихи не лучше музыканта, впервые играющего на одной струне ненастроенной гитары. Мои стихо-слагательные мышцы тогда еще не могли заниматься высшим видом творчества. Едва моросил дождь, едва кружилась последняя листва. Едва ли нам требовалось еще что-то, помимо любви. Но между нами пролегли бесконечные и проклятые, незримые и неодолимые миллиметры. Минут сорок я терзал почти забытое четверостишие, украдкой поглядывая на светловолосую, миловидную девушку. Мне показалось, она наблюдает за мной. Мне думалось, все произойдет по моему сценарию, мне хотелось...

Наконец, я почувствовал, терпение исчерпалось. Нам оставалось молиться, но, как известно, молодые люди наедине не станут читать “Отче наш...” Я начисто переписал вымученные строки, вырвал лист из блокнота, набрался решимости, ни слова не говоря, протянул записку девушке, держась на расстоянии. И почти бегом понесся, куда глаза глядят, едва услышав шепотом произнесенное “Спасибо...” В последней строке звучало: “До свидания, белая, изваяние, памятник...” Ничего глупее доньше не создавали поэты...

Рано утром

После ночной грозы в комнате стало тихо. Утро проявлялось, как фотография. Зыбкие очертания виноградника, нависшего за окном, в сумраке виделись безличными. Я ворочался на старом диване. Я думал о милой дальней родственнице, спящей в смежной спальне.

Вчера вечером, по случаю ее приезда, мама приготовила гостевой стол. Мы ужинали, как говорится, с горячей прослойкой. Вскоре все начали говорить одновременно и шумно. Я пригласил скучающую девушку в сад. Мы мечтательно дымили сигаретами под шелковицей. Мы смотрели в глаза друг другу и вдруг, так случается в молодости, прильнули — уста к устам — мы застыли в долгом пьяном поцелуе. Разгоряченные огнем самогона, скрытые темной сенью дерева, мы мягко провалились в первородный грех — мы ощутили чудесную сладость похоти, то дивное очарование, похожее на влюбленность.

А где-то вдали мама созывала разгулявшееся семейство, грозя грядущей грозой. Где-то рядом, громко и пьяно, хохотала моя младшая сестра. Лето гроыхало, молния предательски освещала нас, вгоняя в чувство страха и вины. Рано утром, мучаясь похмельем и кляня шумные пружины, я принял решение пробраться к молодой особе. Я изнывал от любви. Я страдал от проделок крайней плоти. Я горел в геенне огненной своего пылающего разума. Казалось, я никогда не соскользну с проклятого дивана. И полы застонали! И полы так завывли в ранней тишине, что я испугался...

Всего один шаг, о Господи, сущий гром, истинная буря. Всего полшага, грохот, оглушительное эхо. Вдруг я вспомнил, через комнату направо располагается лежбище мамы. Вдруг я осознал, родительница просыпается очень рано. Мысль охладил мой пыл, но не сексуальный инстинкт. В жажде предстоящего соития я вновь шагнул вперед...

И вечность прошла, прежде чем я приблизился к затемненной спальне. Прежде чем услышал милый, исполненный волнения шопот: “Кто там?”, — после чего задохнулся от нахлынувшего желанья и счастья. Поэтому я не сразу понял, что за спиной распахнулась дверь. Поэтому я неохотно оглянулся. Поэтому, ничего не понимая, я уставился в удивленное лицо моей бессонной мамы...

Орехи

Всякий раз я привозил из отпуска донецкие орехи, выросшие в отчем саду. Дерево, когда-то посаженное отцом, вовремя «оплодотворили», так по-местному называется процедура — под центральный корень кладут лист железа. В таком случае сила дерева уходит в плоды, и дерево плодоносит несчетно. Мы собирали до семи ведер орехов. По окончании побывки мама отваливала мне неизменных десять килограммов. Отбиваться от материнских щедрот — себе дороже, отказываться глупо, тащить — руки оторвешь. Но я нес сумку с вокзала до общежития, злился на маму, на орехи. Если бы я знал, чем все это кончится, то срубил бы ореховый саженец на корню и не побоялся бы отца.

Орехи созревали тонкокожие, скорлупа легко разымалась, сухие плоды попадались редко. Черви не поселялись внутри из-за обилия йода. Еще во время службы в куйбышевском СКА (ныне город Самара) один матерый прапорщик учил нас: «Ешьте орехи, будет потенция...». Еще люди добрые научили пользоваться незрелым орехом в молочный период среднего созревания. Светлая внутренность в виде кашицы прикладывается к деснам и блестяще отбеливает зубы, не надолго из-за отсутствия йода, желтя губы.

Так мы болтали с Колей Ежовым в общежитии, собираясь на работу. Колька детдомовский, умный, обидчивый. Конечно, как тут не огорчиться, если твой бутерброд меняют в профилактории на аккуратно завернутый брусок. Или разбирают кровать до такой степени, что, прикасаясь к ней, собираясь спать, ты с удивлением видишь разваливающийся у тебя на глазах ворох железа. Или же глотаешь ароматный сладкий чай, почему-то вдруг превратившийся в отвратительную соленую массу. Словом, угощал я друга орехами щедро не только как соратника по слесарному делу, но из великого чувства вины за бесконечные — тайные и явные розыгрыши.

Тридцать минут мы маячили на остановке, пока Колька не нырнул в монолитную массу пассажиров, пробкой торчащих из задней двери. Если бы не сумка, не вписывающаяся в габариты (там лежал дефицитный роман В.Пикуля о Гришке Распутине), дверь захлопнулась бы. Водитель не басил бы в свой микрофон: «Освободите заднюю дверь...» Но выхода не находилось. Колька крикнул: «Беги в переднюю...», — что я и

сделал. Уж лучше бы я опоздал на работу, уж лучше бы поехал на такси. Я шлепнулся на первое сиденье рядом с женщиной. «У вас есть часы», — спросила миниатюрная дама. «Часов нет, но есть орехи», — только и нашелся я и сыпанул ей в ладони горсть орехов.

Так и познакомились, разговорились, раззвонились и вскоре поженились. Женщина она неплохая, да не моя. Радует только одно, у нас родилась и выросла умная, красивая, образованная дочь...

Недавно я возвратился из отпуска. Традиционно меня оснастили орехами. Я угостил Костю Соловьева, нашего незаменимого специалиста по всем вопросам, после напоминания немного сыпанул орехов на стол шефу, хотя плод пошел мелкий. Коле Ежову, если бы встретил, фигу бы показал, а не орехи. И ни одна женщина в мире отныне не получит от меня ни одного зернышка...

Журналистика

Первая жена (мы тогда ждали ребенка) настаивала: «Поступай на факультет журналистики...» Я сочинял стихи, мечтал о литературной славе. Сдав экзамены, я превратился в студента, в сотрудника газеты «Советская Белоруссия».

Редактор отдела культуры Роман Алексеевич Ерохин терпеливо наставлял: «Информацию нужно преподносить с помощью мысли, а не голым фактом.» Просмотрев мои стихи, отметил: «Концовку стиха взрывавай мыслью...» В первой публикации я допустил неточность. Роману Алексеевичу позвонил коллега и сообщил: «Такого объединения в республике нет...» Ерохин, раздосадованный моей невнимательностью, отчеканил: «Ну вот, на всю Белоруссию отметился ошибкой». Первая жена моего рвения не оценила.

Началась погоня за информацией. Я находил в день до двадцати тем. Анатолий Иванович Божок, тогда редактор отдела новостей областной газеты «Минская правда», подчеркивал: «У тебя есть одно из главных качеств, необходимых для журналистской деятельности, ты умеешь найти то, что нужно.» Не выдержав требований Ерохина, я поменял отдел. Я звучал по радио, публиковался практически во всех периодических изданиях республики.

В “Немане” в отделе публицистики мне подсказали: “На большие материалы нужно брать правильное дыхание, как при беге на длинные дистанции...” Правильно и доходчиво объяснить — это дар Божий. Мне страсть как хотелось напечатать в “Немане” стихи. Но там царствовал непробиваемый Спринчан.

Журналистика в целом давалась туго. Надо мной довели стихи, вечно ускользающие. Я мечтал о своем сборнике виршей. А получив в подарок книгу “Снегопад в июле” от поэта Анатолия Аврутина, вообще потерял покой. Но до высокой поэзии крутая дороженька. В возраст осенний пути — сто лет. Можно добраться до заветной грани через потрясения, равные войне, плену, личной трагедии, алкоголизму. Я выбрал последнее. А тут еще началась перестройка. Я остывал к партийной журналистике. Не дай бог жить во время перемен.

Я трудился слесарем на участке малой механизации. Вдруг позвонили из редакции многотиражки Нархоза, чтобы проверить мою квалификацию. Я бродил по аудиториям вуза, получив от главного редактора задание. Прочитав написанное, редактор почему-то отметил, что я мог бы одеться получше, все-таки редакция. И добавил, меня еще нужно редактировать, а значит, переписывать, а ему не хочется за кого-то делать дело. Впрочем, слесарство давалось мне легче.

Тогда для журналиста имел значение партийный билет. Я собрал рекомендации, подал заявление о приеме в партию. Начальник участка Алексей Васильевич Строк не поднял за меня руку, многие воздержались, и меня не приняли. Вот этого партии я никогда не прошу.

Написал в газетенку об отсутствии санусловий на стадионе “Домостроитель”. Партком передернули, профком занервничал, на меня надулись, вот так вам!

Григорий Иосифович Колобов звал меня на СТВ. Сейчас, брошу свою водку и отправлюсь на телевиденье. Сегодня Колобова нет, профессии нет, тренировать футбольную команду не берут, как слесарь я не состоялся, льнопроизводство изучал более чем поверхностно. И ничего в этой жизни не довел до конца. Пишу обзоры по анонимным алкоголикам, чем не журналистика...

Осенний дождь

Ожидая трамвая в осенний полдень и кляня морозящий дождь, я обратился к одиноко стоящей женщине: “Может быть, у вас найдется свободное место под вашим восхитительным красным зонтиком...” Лариса (так представилась незнакомка) словно ждала такого действия, впустила меня под пурпурную балоньевую сень. Мы познакомились, разговорились. Мы встретились, словно два одиночества, и что-то почувствовали. Мы стояли и молчали, нам было очень хорошо, как случается при начинающейся влюбленности. Дождь усиливался, а мы все не могли расстаться, пропуская трамвай за трамваем.

Лариса позвонила ко мне на работу: “Анатолий, вы помните красный зонтик?” — спросил приятный голос на том конце провода. Я не только помнил, но и думал об удивительной встрече. Она пригласила меня к себе домой. Ее муж, известный деятель искусств (сама Лариса преподавала в вузе), как обычно укатил в командировку за вдохновением. А мы плавали в легкой музыке, тонули в глазах друг друга, срывали одежды, освобождая пламенеющую плоть. Огненная дама больно впибалась мне в спину длинными ногтями и шептала: “Я хочу кричать...” И стонала до неприличия громко.

Мы шли с Ларисой по лесопарку, словно молодожены, прижимаясь друг к другу. “Когда мужчина берет меня за руку, — шептала моя любовь, — я уже не могу сопротивляться, если бы мужчины знали об этом... Следуя исповедальному мотиву, я нежно повлек мягкую плоть в глубь осинника и у замшелой осины овладел ею...

Лариса арендовала квартиру у подруги для встреч. Она сама покупала спиртное, фрукты и для нас, и для хозяйки жилища. Плата за предоставленное убежище невелика, но мне, выросшему в традициях отвратительного отношения к прекрасному полу, такая ситуация нравилась. Мне не хотелось тратить на лучшую половину человечества. Я считал, что Ларисе повезло со мной. Поэтому я не заботился о любимой так, как подобает поэту. Поэтому я, словно отбывал сексуальную повинность, сделав таинство с Лорхен прозаическим текущим моментом. Однажды Лора спросила: “Толя, почему ты не даришь мне подарки?” Я ждал этого вопроса, я боялся его услышать. Само собой начало созревать решение — прекратить связь, потому что я испугался.

Лариса обычно звонила мужу, предлагала ему сходить, например, в кино. Деятель искусств непременно отказывался, но его нахождение обнаруживалось. Тогда в относительной безопасности мы занимались любовью, но каждый из нас уже почувствовал — стержень отношений надломился. В конце концов свидания превратились в удовлетворение моей молодой похоти. К тому же я начал поглядывать на молоденькую дочь моей взбалмошной подруги. Я специально являлся в отсутствие Лорхен и учил целоваться глупую девчонку.

Может быть, десятиклассница раскрыла маме наш секрет.

В последний раз мы развратничали в аудитории института прямо на работе у Лорхен. Насытившись сексуальными фантазиями, мы устало сидели на двойной смежной скамейке — спина к спине. Тихим, немного дрожащим голосом прозвучало: “Толя, не звони мне больше...” Она поднялась, не оглядываясь, вышла из аудитории. Ее шаги долго звучали в коридоре, уводя от реальности, пока не затихли. С чувством смятения я подошел к окну. В душе ощущалась звенящая пустота. За стеклами, точно по иронии судьбы, как в первый день знакомства с необыкновенной Ларисой, моросил мелкий осенний дождь...

Сухой счет

После завершения профессиональной футбольной карьеры я влачил свое существование, как тысячи бывших футболистов, брошенных в реальную жизнь. Я трудно выходил из состояния высокой функциональной подготовки, жаждущий либо нагрузки, либо водки, нереализованный, не нашедший места в мире, не попробовав силы на тренерском поприще.

“Возьми чалки и отнеси к тельферу...” — велел мне первый производственный наставник Степан Клиз, произнеся пугающее и красивое словосочетание. Видя мою некомпетентность, повел меня по цеху, дал пощупать то и другое.

Примерно в таком духе вникал я в слесарное бытие, маясь от избытка энергии, ожидая очередного летнего футбольного турнира на первенство объединения.

Вот и телефонограмма пришла, вот и настала пора вновь выставлять команду.

Конечно, полагаться только на своих — очевидное безумие. Рабочие участка малой механизации имели весьма смутное

представление о футбольной азбуке. И тогда во мне просыпался нереализованный футбольный тренер и организатор.

Мы провели предварительный турнир без поражений, обыграв всех исключительно с сухим счетом. Наше начальство удивлялось, соперники недоумевали. Подставные игроки, подготовленные мною психологически, не выпячивались, давали сопернику вначале первым забить гол, а то и два, в зависимости от их квалификации. После чего мы чуть-чуть взвинчивали темп, быстро выходили вперед, но не дай бог с крупным счетом, а в конце второго тайма давали противнику еще раз забить нам мяч в ворота, играя в треть силы.

Накануне финала начальник участка Алексей Васильевич Строк многозначительно улыбался, ожидая дальнейших событий, мы же поговаривали о премии и тихо смущались от разговоров о наших победах. Мы носились по цеху героями, нас не доносили работой, проставляли вино, что для некоторых работников было великим подвигом.

В день финала наш очень сильный соперник привел с собой легион поклонников с барабаном, горном и прочей шумоизвергающей атрибутикой. Их поклонники в количественном отношении явно превосходили нашу более чем скромную команду поддержки. В день игры наши противники из уважаемого 204 строительного управления пригласили все начальство. Глядя на нас, скромно переодевающихся поодаль, они ерничали, острили: “Ну, сейчас УММ нас обыграет...”, веря в свою неодолимость. Скажу честно, в тот день я переборщил с “левыми” игроками. С таким составом мы обыграли бы и более сильного соперника, чем СУ-204.

Настроение у соперника испортилось уже на первой минуте. Не дав им коснуться мяча, мы закатали первый гол, как некогда сделали голландцы в финале чемпионата мира со сборной Германии. Через минуту мы вколотили еще один гол и, отыграв треть тайма, мы вели с тройным преимуществом. Более того, наш соперник вообще не переходил половину поля.

За их издевки, спесь и гордость я ничего не говорил нашим, я никого не сдерживал. Мы крупно выигрывали, я не мог смотреть на лица руководителей управления. Из их лагеря кричали, что напишут протест, но в основном они молчали, униженные и подавленные, а я колотил и колотил голы, вкладывая в каждый из них свои неудовлетворенные амбиции...

Море разливанное

Царство небесное тебе, дитя послевоенной провинции, познавшее и голод, и холод, и суму, и тюрьму, и трагедию безлюбья. Земля тебе пухом, мой бригадир участка малой механизации, Евгений Мартынович Зенькевич. Ты отправлял меня линейным мотористом, спасая от немилости руководства. Ты покрывал сотни моих беспричинных опозданий на работу, отечески грозя мне пальцем, любя и цenia мои шутки, хохоча над ними, за что я просал тебе все. А в знак благодарности я вваливался к тебе с бутылкой водки, и ты неловко шутил, наливая опоздавшей жене рюмку воды, а я чувствовал вину за тебя, за нее, за себя и за весь мир. И жевал, жевал тающее во рту сало...

Я воровал у тебя сухарики, почему-то твой хлеб казался мне вкуснее обычного. Почему-то ты всегда все ведал, все понимал, просчитывал мои ухищрения, хитрости, и мне многое сходило с рук. Ведь по моей вине в компрессоре вырвало клапан вместе с головкой оттого, что я не залил в новый агрегат масла. Аппарат застучал, как стучат в милицию, взорвался, едва не убив блаженных маляров. Ты дело замазал, и обошлось...

Едва мне, слесарю-футболисту, выдали сверло для работы с чугунной камерой, я не закрепил ее, понадеялся на тяжелую громоздкость. Сверло закусило вязкий металл, завертело чугунину, словно пушинку, и, хряснув, переломилось, полетело мимо моих, богом хранимых ребер, аки ядро. Ты тогда мудро изрек: “Я-то знал, что может случиться, но не стал говорить под руку...” Создатель мой, лишь теперь осознаю, сколь многому научил меня Женя, сколь много раз он не “заметил” моих преждевременных уходов с производства.

— Иди, — указал он на крышу нового цеха, — подсоедени к водосливу десятиметровый шланг от бетономешалки, проверь, чтоб без пробок, — предупредил, как в воду глядел...

Утром Евгений Мартынович встречал меня у входа на территорию, чего никогда не случалось да и глаза у него источали тревогу и смятение. Он жестом позвал меня. Мы простучали по лестнице, миновав чердак, выбрались на крышу и я едва не упал в воду. Дело в том, что крыши не стало. То место, где она существовала, превратилось в бассейн размером в добрый стадион. Единственное, что я сегодня понимаю, только чудо небесное сохранило бетонные перекрытия от чудовищной

перегрузки и спасло работающих в цехе людей от верной гибели. Удержав громадину на честном слове Господа Бога. Мы без лишних слов спустились вниз, простучали кувалдочкой шланг, расколошматили сгусток бетона. Сверху со змеиным шипом хлынула податливая и неодолимая, как говорил великий Лао Дзы, струя воды, устремясь в захлебывающуюся ливневку...

Еще с десяток раз я поднимался на крышу в тот день, оглядывая площади, всматриваясь в мутные дождевые воды, ища отмели, но они не появлялись — так много божьей влаги накопило за ночь мое незабвенное море разливанное...

Литровая кружка

Жив ли ты, Михаил Васильевич Гладкий, участник войны фашистами, несравненный моторист, бесконечный курец и сумасшедший чефирщик? Здоров ли мой скупой собеседник, меткий выпивоха, останавливающий после изрядного употребления спиртного машины с надписью “Милиция” и до их явления успевающий исторгнуть в адрес власти все, что тысячелетиями копилось в свободолобивой славянской душе.

Ежели так, то помнишь ли, как, посылая меня за вином, единственного, кому ты доверял, ты наставлял отрока за сварочным агрегатом: “Толя, лисой туда и обратно...” На что я неизменно отвечал: “Так точно, товарищ начальник разведки...”, исчезая в глиняных бурунах смежного завода. А ты готовил свой неизменный чефир в литровой кружке, долго кружа вокруг варева, священнодействуя по-шамански, со смыслом мировой вышины и глубины.

Откровенно говоря, ядовитые, характерные мужики тебя побаивались из уважения к возрасту, от присутствия в тебе загадки или тайны. С лукавым интересом поглядывали коллеги на огромную, всегда ожидающую тебя на одном и том же месте кружку, десятилетиями не мытую. Лично у меня таилось детское желание дотронуться до емкости, сдвинуть в сторону, таким образом утолить любопытство.

Пока я трудился на ниве гонцовской, происходили события, подвигнувшие меня к созданию одного из моих любимых рассказов. Наши слесари указали новому трактористу, ищущему что-нибудь для солярки, на грязную кружку. Парень, честно и добросовестно выполняющий поставленное задание,

хватанул из тенического бачка с поллитра соляры, прежде чем Михаил Васильевич успел осознать ужас происходящего. Медленный, больной, он бросился к невинному человеку так, как, верно, кидался, пленяя языка (служил он в разведке).

По возвращении мне достались отголоски местного скандала, и судя по тому, как мой старший товарищ жадно выпил стакан вина, я понял, событие крепко потрясло старика. Потекли будни. Наши язвительные мужи на том не успокоились. Когда моториста отправили на объект устранять текущую поломку, работники всем миром принялись драть поверхность кружки. И поливали металл соляркой, и терли песком, и проходили наждачкой, снова опускали в техбачок.

Возвратился Михаил Васильевич. В цехе воцарилась искусственная тишина и шпионское притворство. Все так хорошо работали, что становилось противно.

Старый моторист привычно взял пачку чая, подошел к стеллажу, механически протянул руку и тут же отдернул ладонь, как от раскаленного предмета. Кружка слепила, пугала, казалась чужой и противной. Михаил Васильевич длинно и поэтично выругался в неизвестность и брезгливо швырнул уродливую чистоту в ящик для отходов...

Улица Глаголева

Она тянется беспризорно, неухоженно, неопрятно. Лик у нее неумытый, пыль но-осотовый, неприглядно-чертополоховый, лопухово-однообразный, пустырни ково-пыреевый. В печали ее — тоска свалок, трезвого ворья и хмельного воронья. Одесную расположен мой участок механизации. Со стороны проема в ограде, за малым цехом, едва заметной тропинкой на суглиновом взлобке, сбежав с работы, я спешу к фабрике фторичного сырья.

Я люблю газетно-журнальную массу, напоминающую свалку, лежащую повсюду многослойно. Бельмом здесь лишь чудовищно-рвотные испражнения цеха по переработке костей. Я люблю хаос привоза-вывоза, тюкования, суматоху у весовой, мельгешащих заготовителей, автопокрышки, “спасателей” книг, весь тамошний строгий порядок мироздания — гармонии той эпохи с директором, в прошлом борцом, выходившим на ковер со знаменитым А.Медведем.

Я волоком тащу мешок журнальной продукции. Директор, глядя на меня, шутит: — Почему бы вам не вынести мешок обуви с обувной фабрики? Роняет фразу, исчезает и скоро отправляется на небо. Словно извиняется, но впечатление производит товарищ Щербаков. Я спешно прячу журналы, предназначенные для букинистических отделов столицы. Мне по-озорному хохотно, по-детски неестественно.

Наверху меня ожидает Серега, мой приятель и собутыльник по совместительству. Он проверяет журналы — листает — нет ли вырванных страниц. Я учу его такому способу добывания денег. Теперь я злюсь на приятеля, зарабатывающего деньги в обход меня.

Вскоре мы поочередно несем мешок с товаром, ловим такси, посылаем фиги вслед неостановившимся машинам. Мы все время двигаемся вперед вдоль автострады, точно несколько десятков метров что-то решают. Мы торопимся к той свободе, какую дают легкие деньги. Нам не терпится превратить купюры в спиртное. Мне хочется обрести фальшивую высшую силу и мифическую опору. И призрачное счастье. И новое желание — вновь возвратиться на улицу Глаголева, в ее необходимость, тайну и притягательность...

Маргарита

Во время затянувшегося таинства она вдруг прекращала действия, призывая мою разгоряченную плоть к тому же. Она начинала чудить, причем ее чудачества отличались непредсказуемостью вперемешку с завидной оригинальностью. Женщина с долей самоиронии ставила на мою грудь телефонный аппарат, звонила на работу мужу, едва продолжая соитие. От собственного страха и дерзости любимой женщины я задерживал дыхание, боясь шевельнуться. В такие трудно объяснимые моменты ее выходок мне думалось, что ее супруг видит нас или же обо всем догадывается. Меня не покидала мысль, что глава семьи грозно наблюдает за нашими сексуальными кувырканиями и ждет своего часа...

В этих условиях тяжелый, жаркий и душный сон валил нас в царство Морфея. Пробуждение наступало само собой. В подсознании крепко сидела тревога и обязательное условие — покинуть квартиру до возвращения хозяина (я брал ключи у

приятеля). Перед выходом в мир нас, как правило, посещала невылюбленная страсть, выплескиваясь свободно и с выдумкой. Пламя нашей встречи, полыхнув напоследок, затихало, венчаясь любимой выходкой моей красавицы — звонком “дорогому “, ”любимому” и единственному с обязательным прикладыванием к трубке моего взволнованного органа размножения, с неременной игривой фразой “ужинать не буду, я объелась мороженого...”

Обессиленные и смиренные, подобно послушникам, мы влюбленно гуляли за городом, медленно, по плоточку цедея из горла коньяк, ни от кого не таясь, рассеянно слушая журчание реки, несущейся в город. На душе у меня царил непокой от близости собственного дома, от нелепой случайной встречи, могущей произойти с родственниками жены. А пока, согретый коньяком, я безмятежно сминал изумрудные травы, хохотал в угоду очень желанной и единственной даме, самому дорогому (после дочери) существу в бренном мире.

Иногда Маргарита проводила моральную оценку наших отношений, гвоздя правдой. “Тебе бы только переспать со мной, — корила она своего любовника, стыдила, вселяя в отношения смутное начало разрыва, — звонишь редко, а я жду, вдруг заявляешься не в самый подходящий момент...” Этим ворчанием, собственно, исчерпывались личные разборки, сдобренные легкими вспышками ревности. С этим я, смиренен и мал, беспомощен и убог, притягивал к себе желанную плоть (за полчаса до возвращения мужа), и мы овладевали страстными телами, находясь на грани жизни и смерти. После чего мое счастье вновь набирало номер телефона. После небольшой паузы она “радовала” мою беспокойную душу. “У мужа никто не поднимает, мой Отелло на пути к дому...” И совсем уже кроткий, но решительный я отстранялся, выскальзывал в коридор, слушал гул лифта, спускался пешком, лишь на улице облегченно вдыхая сладкий воздух свободы.

Много лет назад сосед Маргариты (одиноким мужчиной) что-то попросил у соседки, пригласив соблазнительную даму в прихожую. Наивная женщина не поняла, как оказалась в постели. Несдержанный сосед попытался взять ее силой, но, видно, вовремя одумался. Марго не решилась открыться мужу, лишь намекнув, дескать сосед делает недвусмысленные наме-

ки. Дальше, по словам моей любимой, произошло следующее. Муж разволновался, бросился к соседу, пообещав просто поговорить. “Не знаю, о чем шла речь, — рассказывало мое счастье, — но, возвратившись, он пообещал “больше этот козел на тебя даже не посмотрит” А я хорошо помнил о скором отъезде мужа в далекие приморские края.

Муж каждый день звонил и писал Маргарите письма с юга. Муж телефонил поздно вечером в самый шумный разгар любви и похоти. Услышав зуммер, она предупредила: “Мужских голосов быть не должно...”, — после чего показала пальцем в стену смежно расположенной квартиры, шепнув: “А мы так шумели”. Она брала в руки мою крайнюю плоть и, держа ее возле трубки, лежа на моем животе, сонно и прохладно ответила супругу. Она потянулась к журнальному столику и молча протянула мне открытку-письмо от близкого человека, которая завершалась словами: “Ритуля, я люблю тебя...”

Мокрые майки

Возвращаться домой не хотелось, машала глубинная, необъяснимая тревога, напоминающая нехорошее предчувствие, известное каждому здравомыслящему человеку. За каждым чувством, как и за всеми вещами мира, что-то стоит. За моей, саднящей душу тревогой затаился смертный грешок в виде сегодняшнего прелюбодеяния, а за похотью съезжился трудно проверяемый обман придуманной командировки. Позавчера я сообщил своей беременной жене о предстоящей поездке в Могилев на очередную календарную игру. Я, собственно, договорился со всеми, условился с тренером на случай непредвиденной жениной проверки. Вечером, как и принято, я долго гладил игровую форму, наводил стрелки на белых трусах так, что в нашей беспорядочной однокомнатной квартире запахло жареным.

Рано утром, прозябая в одной постели с нелюбимой женой, я вскочил раньше будильника, не завтракая, на крыльях влюбленности я помчался на свидание с чудной Татьяной, танцовщицей мюзикл-холла. Странное беспокойство, преследовавшее меня, влияло на мою половую активность, заставляло быть не в себе, раздваиваться и глупо воображать. Чтобы не опростоволоситься по забывчивости и суетности своей, еще до

встречи с милой женщиной, я подготовил главные козыри: у колонки, тщательно облил водой обе майки и ту часть трусов (у резинки), где особенно потеется в игре. С искренним сожалением (жена так долго и трудно отстирывала следы от падений на траву) я потер футболками по суллинку, перемешанному с клевером. Получилась вполне реальная иллюзия, ни у кого не вызывающая сомнений, и вышло осязаемое свидетельство для моей ревнивой супруги.

Как мне тогда думалось, я все предусмотрел, подчистил все хвосты и поэтому гулял с Татьяной по берегу Минского моря почти с чистой совестью, не считая смутной тревоги. Впрочем, я только и занимался тем, что тащил необыкновенно женственное существо за каждый куст, пригодный для занятий сексом, скрывающий нас от редких прохожих “Я признаю только нормальную постель...” — пыталась сопротивляться Таня, но после некоторых колебаний уступала моему напору. И мы вновь шагали по сырому песку, утопая в шуме волн и в бездне любви.

Как известно, влюбленные люди невнимательны. Мы переночевали у Татьяниной сестры (сестра мне очень понравилась) и неосторожно начали мельгешить в суетном городе, кишашем знакомыми и родственниками. Ничего не предвещало тревоги. Может быть, я потерял бдительность, потому что Таня чувствовала себя легко и безмятежно, осыпая меня поцелуями, как это умеет делать влюбленная чужая жена. Изящная, живая, как все танцовщицы, она держала руку у меня на плече с царственной грацией, словно собиралась закружиться. Она чмокнула меня в щеку и растворилась в толпе.

Я поднимался по лестнице, совершенно пьяный от чувства, окрыленный, почти забыв о тревоге. Почти не касаясь замка, я отворил дверь и остолбенел. Моя беременная жена стояла передо мной на скамеечке с петлей на шее, закрепленной на крючке для качелей. Это существо (с ребенком во чреве), оказывается, весь день ждала моего появления, узнав от пришедшей племянницы (эта дура, оказывается, видела нас) всю правду. Потрясение, испытанное мною, оказалось столь велико, а раскаянье столь искренне, что мне даже показалось, что я люблю свою жену. Я рассказывал о давней знакомой, о чьей-то жене, с которой шел просто так, с которой встре-

тился случайно, возвращаясь домой из командировки, чтобы быстрее замочить форму в порошке. Я вспоминал какие-то невероятные подробности и сам начинал верить в их реальное существование. Я вынимал из сумки задохнувшееся белье, специально завернутое в пакет, и складывал на кухонный стол грязно-зеленые майки со следами недавней игры...

Перекур

“Что-то ты приуныл?, — поддержал меня мастер участка Борис Григорьевич, куришь и куришь”, — обращаясь ко мне, сидящему на обрезке доски, приспособленном на глинянном склоне. Я ничего не ответил, я обдумывал неожиданное, неловкое для исполнения, задание. Главное, я не находил никаких вариантов для быстрого исполнения, чтобы освободиться, чтобы скорее нестись, сломя голову, в ликеро-водочную аптеку за вечным лекарством, чтобы таким образом уйти от реальности. Алкоголизм подкрадывался ко мне незаметно, развивая хитроумное алкогольное мышление. Но пока я не знал о своей болезни.

Вчера, например, Борис Григорьевич велел раскидать рамы по пяти этажам строящегося здания. Времени отпустил — три дня. Но голь на выдумки хитра.

Используя систему блоков, мы с напарником за три часа подняли бесчисленное количество оконных деревянных изделий. Семь потов сошло с нас, а мы, как ненормальные, двигались и двигались, пока последний пролет не занял свое место. А потом с чистой совестью опять жрали вонючее винное изделие.

Сегодня нам предстояло выкопать двадцать четыре ямы для столбиков. Сложность заключалась не в количестве, не в глубине выемки, а в узком диаметре необходимого отверстия. Любой строитель знает, как неудобно углубляться на девяносто сантиметров штыковой лопатой при малом диаметре. Потому-то мы долго курили, умясь на глине среди мятого осота.

Оттого печаль моя глубоко поражала сердце, а выпивка откладывалась на неопределенное время. Двадцать четыре ямки — это вам не халам-балам, не шурум-бурум. Я грустил, рвал горькие травинки, автоматически жевал их и, морщась, сплевывал горькую слюну. И думал, думал, думал...

Борис Григорьевич, я почуял его взгляд, окинул меня взором из окна своего автомобиля, укатил на часик по своим делам. Я же включился в бред отношений — начал думать о том, что он подумал о моем долгом перекуре.

Мои извилины зашевелились, реагируя на пылящий пролетающий тракторок с буровой установкой — вот тебе и божья воля, вот и решение. Я живо поднялся, побежал по колдобинам наперерез рокочущему диву.

Тракторист, узрев меня, остановился, вопросительно посмотрел. “Браток, выручай, нужно насверлить дырок в почве”, — объяснил я и сунул в его нагрудный карман трешку на вино.

Через минуту он “спиной” подруливал к разметке. Вжик — десять секунд, вжик — туда-сюда — вверх-вниз — для очистки совести — получи товар.

Еще через полчаса мы с напарником, примостившись на обочине, с чувством выполненного долга, не веря в удачу, тянули вонючий дым дешевых сигарет, попав в поле зрения возвращающегося Бориса Григорьевича. Притормозив, багровый от возмущения мастер, выскользнул из машины, направился к нам, готовя, по-видимому, казуистическое наказание. Полагаю, он онемел, обнаружив зияющие, дымящие как сигареты, полные тепла и солнца — двадцать четыре красавицы — лунки. И точно, ничего не уразумел, и, наверняка, сконфузился, вода головой то на нас, то на бог весть откуда появившееся чудо...

Фальшивые абонементы

В обеденный перерыв я приспособился бегать через дорогу на неопрятное предприятие по переработке вторичного сырья. Я набирал двадцать кг. бумаги, паковал богатство в мешок, прятал в густом чертополохе. После смены спешил в заветное место, уносил сокровище к приемному пункту. Одноглазый Николай Тимофеевич, по прозвищу “циклоп”, скоренько обвешивал меня, уверял: не достает килограмма. Я соглашался, оставляя взамен сорок копеек. В книжном магазине мне вручали новенький том Дюма, а моя макулатура в общей массе, следуя вечному круговороту вещей в природе, возвращалась на ту же фабрику. Излишек талонов на книги легко продавался по три рубля за штуку.

Я сдружился с “циклопом”, несколько раз выпил с быстро пьянеющим пожилым коллегой, получил у него за полцены три сотни списанных чеков на литературу. Так я начал рас-
постранять книжную продукцию в столице, спасая горожан от бездуховности и мещанства. Вечером я наклеивал марки на талоны, договаривался по телефону с бригадиром об опоздании. Рано утром я обегал мелкие и крупные предприятия, подробно прорабатывал каждый отдел, постепенно охватывая каждую улицу.

Ежевечерне я выкладывал на стол приемщика кругленькую сумму, обманывая его безбожно так, как он лукавил со мной. Тимофеевич “щедро” одаривал меня бутылкой “Портвейна”(в стране продолжалась напряженка со спиртным), отправляя меня в угол за макулатурную массу. Пьянея, я, словно заяц во хмелю, сулил Николаю золотые горы, преданность и получал еще одну бутылку красной дурманящей жидкости. А приятель грезил: “Через два-три года у меня соберется тридцать-сорок тысяч, куплю катер...” Совсем скоро Коля сел в поезд, везя в специально пошитых двойных трусах большую сумму денег, достаточных для приобретения катера.

По каким-то жуликоватым каналам мой книжный друг напечатал огромное количество “левых” талонов, предложил мне заняться их реализацией. Я оставил работу, вступил на новую стезю. Я наклеивал марки, доводил абонемент до полной готовности, продавал, распространял, торговался. Первый звонок прозвучал после появления в продаже книг. Народ, купивший у меня “Современный зарубежный детектив”, возроптал — многим прямо у прилавка указали на ложный квиток. По вторсырью по городу поползли слухи.

Николаша крепко испугался, у него за спиной уже имелась одна судимость и семь лет отсидки. Я же после консультаций с юристами немного успокоился, узнав об отсутствии статьи за подобную подделку. Теперь мы с одноглазым ругались, деля несуществующие деньги. Мы коротали время в вагончике и швыряли друг другу увесистые пачки подделок, “жрали” водку, мирились, снова выясняли отношения.

Однажды вечером раздвижные двери старого троллейбуса прохрипели и вошла симпатичная особа, которой я продал оптом триста абонеменов. Вытащив из сумки связку фаль-

шивок, женщина, не глядя на меня и явно скрывая гнев и возмущение, процедила сквозь зубы: — Если вы не вернете деньги, вам набьют рожу так, что вы на всю жизнь запомните. Не говоря ни слова я, вытащил из нагрудного кармана уже ставшие мне родными купюры. Не поднимая глаз от стыда и позора, я отдал шестьсот рублей и, не прощаясь с “циклопом”, послав его подальше, отправился в одиночестве переживать свое горе...

Шансы

Я встретил давнего приятеля из далекой футбольной моей провинции. Николай тогда считался своим парнем и крутился в наших околофутбольных кругах. Я приятельствовал с Николаем еще по одной причине. Он женился на подруге моей несостоявшейся жены Тамары Бороды. Поэтому наши пути периодически пересекались. Но вот судьба еще раз свела наши пути-дорожки. Вот мы глотнули водки, вспомнили давние молодые годы, добавили сверху по сто граммов, проговорили подробности, снова заказали по рюмашке (платил, конечно, я) — оршанские хитрецы, известное дело, пьют за чужой счет. От провинциального товарища я узнал о дальнейшем пути Тамары. Женщина уехала за рубеж (ее житейская позиция основывалась на желании эмигрировать), из Израиля она перебралась в США, где, по мнению длинных досуных языков, хранились невидимые деньги Бороды.

Николай о чем-то длинно и увлекательно повествовал, а я думал о той возможности, могущей кардинально изменить всю мою жизнь, которую я не использовал. Я мыслил, вживаясь в ушедший образ, в то мгновение, промелькнувшее яркой вспышкой моего шанса навсегда покинуть страну советов, поселиться в далекой стране. Я не знал, как относиться к упущенной возможности, но понимал, тогда покинуть Родину я бы не смог по причине эмоциональной неготовности. И я, изображая перед Николаем внимательного слушателя, остро ощутил ностальгические чувства человека, покинувшего родные палестины. Мне показалось, я даже испугался, во всяком случае, мне не мечталось дальше. А что бы изменилось, окажись я в Лос Анжелосе? Как уверяла Томина мама, я человек ненадежный. А кто спорит? Никто. Пока я не выгулялся бы,

согласно неумной похоти, пока я не переспал бы со всеми подругами, родственниками и знакомыми Тамары — там, за Рубежом, я бы не успокоился. В таком случае на всех мужчин мира нельзя положиться.

Мы двигались с Николаем по Партизанскому проспекту. Я плакался об ушедшей футбольной и тренерской карьере. Я говорил, какой замечательный шанс я упустил в своей спортивной юности. Вот Женя Канана, из моего выпуска, и поиграл в высшей лиге, и матчи судил как арбитр, и тренером устроился при команде мастеров...

Потом мы забрели в следующую рюмочную, и снова платил я. Мой собеседник компенсировал мои расходы внимательным слушанием и удивительным внутренним тактом и пониманием, может быть, так думалось спяну. Перебирая несбывшихся жен, мы вслух анализировали мое, ничем необъяснимое бездействие в армии. Тогда я познакомился с милой дочерью военного генерала. Тогда мама девушки, оценив меня, поддающегося дрессировке, отчеканила, начертав мне план дальнейших действий. “Толя, вы ей пока не пишите, она собирается сдавать экзамены, не волнуйте ее до... — полнеющая дама разрешила наши сомнения, предусмотрев каждую мелочь, — вам сразу московская прописка и квартира”. Колян (пил он всегда слабее футболистов) громко и невнятно начал разбирать допущенные мною стратегические жизненные ошибки. Он перечислял «за» и «против», путался в событиях, требовал вспоминать дальше, вдруг замирал, застывая, видимо, в своем боксерском прошлом.

К вечеру мы непонятно как оказались в другом конце города. Там, в одном из многочисленных корпусов университета я в последний раз встречал Тамару. Я упивался своей памятью, сохранившей многие теплые подробности, я боялся за Николая, он все-таки занимался боксом, и кто знает, может, у него крыша поедет. Тамара сдавала экзамены на геофак, увидев меня, искренне обрадовалась. Мы обменивались репликами, я обратил внимание на ее нездоровый интерес ко всем без исключения проходящим мужчинам. Она не пропускала жадным горящим взглядом ни одного существа противоположного пола. Ее повышенное внимание к мужчинам выдавало серьезную внутреннюю проблему (мужики не очень-то баловали

ее вниманием. Я тихонечко позлорадствовал, порадовался, что у нее не складывается личная жизнь. Но этим я не мог поделиться с Николаем. Он махнул на меня рукой и быстро исчез в привокзальной толпе, не дав мне возможности завершить сказ о моих шансах...

С легким паром

Смешно сказать, мы, взрослые мужики, подглядывали в бане. Разумеется, смотрели мы не на голых мужчин. Случалось, начальство приезжало к легкому пару с хорошенькими женщинами. Тогда мы устремлялись в одно заветное местечко, известное только нам. Там мы отодвигали довольно легкий шкаф и сквозь глазок, вмурованный в полу, по очереди наблюдали всякие сексуальные чудачества чиновников. О тайне знали только два человека, я домой гениальный приятель, вставивший сие всевидящее ока и поделившийся со мною великим откровением.

Отверстие он проделал перфоратором из помещения, расположенного над комнатой отдыха. Именно там чаще всего случались пьяные оргии и прочие, развлекающие нас представления. Видимость приблизилась к идеальной, разве что иногда глазок запотевал, немного раздражая нас во время просмотра очередного “кинофильма” о безнравственном поведении руководителя. Между мной и приятелем присутствовала некая недоговоренность, я бы сказал, неловкость, от нечистоплотности той же тайны, притягательной, дурно пахнущей и никому не нужной.

Так мы и жили от понедельника до выходных, а накануне — в пятницу мы слесарили рассеянно, предвкушали очередной сеанс, торопили медленную рабочую смену. Ближе к обеду завхоз жестом руки поманил к себе двух “фабзайцев” — практикантов, дал разнарядку — вымыть бассейн. Это означало только одно — гости непременно приедут, “все билеты проданы”, как любил выражаться мой приятель.

В завершение дня бригады норовили поскорее отправиться по домам. Переодевались скоро, мылись, торопясь, запасливые быстро распивали бутылку вина.

Мы с другом, воспользовавшись общей суматохой, юркнули в глухую комнату.

Дверные навесы и замок мы хорошо смазали солидолом, толщина потолка гарантировала надежную звукоизоляцию. Мы покурили раз, другой, третий, дождались, пока наступила тишина. Мы прислушались к странному шуму, напоминающему пение во время радиотрансляции концерта. Переглянувшись, мы, не сговариваясь, ловко отодвинули пустой шкаф, сняли с глазка маскировку — маленький кусочек клеящейся ленты. Первым номером сегодня выступал я. Внизу, сквозь звук приятного профессионального пения, я наблюдал какой-то удивительный праздник, похоже, организованный для высоких чинов из милиции. Разбросанные генеральские и полковничьи мундиры подтверждали мои предположения. Обилие водки, закуски, отсутствие женщин, во всяком случае, в поле моего зрения дам не наблюдалось, меня смущало.

Вдруг я рассмотрел очень известного эстрадного певца советского периода, поняв, голос-то лился не из радиоточки, а звучал живым образом. Голос поминутно вставлял между куплетами - “с легким паром”, кланяясь, поднимая вверх бокал с чем-то бронзово-прозрачным. Озадаченный неожиданным сюжетом, я уступил место на наблюдательном пункте нетерпеливому, давно подгоняющему меня другу, шутя: “Смотри, какая парилка, еще не помылись, а уже кричат “с “легким паром”...”

Гонцовский стакан

Меня держали, терпели и любили на производстве как незаменимого гонца. Дни тянулись медленные, согласно пьяным традициям времен социализма. Я бы рискнул назвать их — времена питейные. Наш участок числился вспомогательным подразделением строительного объединения. Он обеспечивал объекты механизмами, выполнял их ремонт и обслуживание.

Я как бывший футболист маялся от медленно текущего времени, метался в темнице цеха, страдая от унылости пейзажа. Я медленно завоевывал авторитет доставкой спиртного. До меня один непутевый слесарь пытался сделаться носителем вещества, уводящего от реальности, но после нескольких неудач его забраковали: “Понадеялся авось на небось...” как крестом пригвоздили навсегда. Мужики наблюдали за мной не один день и вскоре оценили мою сноровку и быстроту, и утвердили тихой народной молвой — “гонец”.

Утром я, как всегда, спешил к своему бытовому ящику. Меня перехватили те, кому было невмоготу: “Ну наконец-то, не раздевайся, пока в чистой одежде, беги за вином”, — и вручили деньги. Я пересчитал купюры, оценил предстоящую задачу. Десять бутылок бригаде новой техники, двенадцать на ремонт, три смолокурам, четыре трактористам, плюс поллитра Мишке длинному и мне, всего полтора ящика, ничего себе...

Я летел через холм за оградой, сбивал джинсами росу на чертополохе. Я прыгал через забор, спеша наискось, сквозь фабрику вторсырья. Я хватал большущий бумажный мешок, минуя кричащего сторожа, и огородами — низами неся к заветному гастроному, затерянному в пятиэтажках...

Моя первая гонцовская операция запомнилась смешным эпизодом. Выйдя из магазина, я рассовал бутылки по рукавам со стороны подмышек. Этому меня научил друг Павел Савченков: “Проверяют за поясом и по карманам, а так бутылка как бы продолжает руку и находится вне зоны видимости...” Но телогрейка моя прохудилась, истончилась. Дырка на локте как раз приняла горлышко сосуда и лишь посигналивший водитель с понимающей улыбкой указал мне через стекло, мол, аккуратней. Мне стало нехорошо, я на миг представил, что сделали бы со мной мужики, собравшие последние крохи на опохмелку. Я был свидетелем того, как гонец разбил единственную бутылку на пятерых — на глазах у них же. Отчаянье, захлестнувшее народ, оказалось столь высоким, что самый страждущий, владеющий матерным словом на поэтическом уровне, молча сорвал с головы свою шапку, изо всех сил ударил ею об асфальт, не произнеся ни звука.

Вино разобрали мгновенно, а я отправлялся переодеваться, зная, меня прикроют, если что. Когда-то меня, студента журфака принимали в партию и мой прораб Стельмах отметил: “Толя не слесарь, но без него работа не ладится.”

В столярке на столе лежало сало и наломанный хлеб. Мишка и длинный ждали меня, как бога. В углу таился безденежный механизатор. Делили на четверых. Я наполнил граненый до краев и выпил на одном дыхании. Наступила тишина. стакан вина с бутылки на одного из четверых многовато, но закон один для всех: сбежал, купил, доставил — получи свой народный, бескомпромисный — гонцовский стакан...

В пути

Очень странно возвратиться к пассажирскому поезду и не найти его на месте. Не отставайте от своего поезда, это рождает очень сильный и долговременный стресс. Этот невыраженный страх, затаился у меня в подсознании, не давая покоя. Я долго мучился его вездесущим присутствием, его непрекращающимся действием.

Первое приключение в Харькове случилось еще в бытность отца. Мы маялись на многолюдном вокзале, коротали медленное время, ожидая не скорого отправления нашего вечернего состава. Отец с неохотой уделял время детям, но тогда он повел меня на прогулку, купил бутылку лимонада. Окрыленный, я не знал, куда себя деть. Эмоции переполняли и носили меня в четыре стороны. Внутренняя взволнованность взметала меня, дикого ребенка степей и угольной пыли. Ухоженность красавца вокзала, чистота, необычность впечатлений будоражили меня необыкновенно. Батяка потерял бдительность, а я потерял контроль над собой. Я споткнулся на ступеньках и — бах — бутылка вдребезги, палец порезался, я испугался и оцепенел от нехорошего предчувствия.

Отец по примитивности своей педагогической залепил мне крепкий подзатыльник, словно занозу вонзил в подсознание еще одну обиду. В таком состоянии он привел меня в медпункт. Руку перевязали, спросили имя и фамилию, уточнили адрес. Если бы вы знали, с какой гордостью я произнес название своего любимого города! Если бы шахтерская столица могла оценить по достоинству мой патриотизм. Такой я запомнил первую столицу Украины.

Наш необыкновенно прозаичный поезд «Орша — Донецк», длинный, будничный прибыл на замечательный харьковский вокзал с приличным опозданием. По невнимательности своей я не внял предупреждению дежурного по вокзалу, пропустив информацию мимо ушей. Я бродил по привокзальной площади, поглядывая на отдаленную церковь, которых не видел в Донцке. Что-то волнующее вызвали из глубин души луковки золоченных глав. Они унимали смятение и зачинали новое, неведомое душе чувство.

Я возвратился с добрым чувством умиротворения. Я обнаружил, что длинная стена вагонов как-то неестественно от-

сутствует. Далее все пошло по обычному житейскому тексту. Далее я, крайне растревоженный и беспокойный, обежал все платформы, хотя и так было видно, что моего состава нет. В тот миг я подумал о том, какой я несчастный человек. Ничего, кроме чувства горя и безысходности, я не испытывал. Я смотрел на гремящие вагоны и мучительно решал, что же делать. Я видел себя птицей в клетке, я отчаянно бился о перрон.

Начальник вокзала такие вопросы решал не в первый раз. Во всяком случае, он привел меня в чувство, видя мою потерянность. Он возвратил меня на землю и соориентировал. Страх улетучился, телеграмму послали на маршрут, чтобы мои вещи сняли на одной из станций, а меня устроили на один из проходящих поездов. Три часа я нетерпеливо пребывал в тревоге, прозябая в рабочем тамбуре один на один с сигаретами.

Три часа неизвестности отняли все мои эмоциональные силы и создали ощущение после тренировочной усталости. Я выскочил на долгожданный вокзал, побежал к дежурному. Мне быстро вернули вещи. Вскоре на другом поезде я летел в гости к маме после долгого и утомительного футбольного сезона. Вторым, менее сильным огорчением было видеть свои вещи перебранными, просмотренными, потревоженными как после обыска. И, слава Богу, я выплеснул те крайне болезненные чувства...

Книги, книги, книги

Нет и в помине того школярского рассматривания новых книжных поступлений, какое случалось в период повального дефицита, в эпоху странного социализма. Ведь страшная борьба велась за печатные издания иных и многих авторов. Многие рвали душу и сердце в неравной борьбе, желая заполучить любимый том желанного прозаика, запрещенного поэта. И мудро изречено: «Невежды вставляли и брали себе небо...»

Теперь я по-прежнему с благоговейным трепетом двигаюсь вдоль книжных полок, уставленных самыми разнообразными и востребованными изданиями. Я испытываю к себе противоречивые чувства, и преобладает в их мерцающей кровотокающей массе довольно жестокая жалость вперемешку с горьким разочарованием. Смятение возникает от ощущения, будто ученость и вовсе не нужна, будто зависимость от неба имеет меньшее

значение, чем финансовая независимость. Будто книги, едва ли не главное богатство человека, едва ли не единственное, чем нужно прежде всего дорожить, уже не способны никого волновать.

В мою молодую бытность общество вполне можно было назвать как общность, впадающую в волнение при виде книг, при мысли о книгах, при разговоре о них. Я подметил силу печатной продукции быстро и сразу. Несмотря на то, что я постоянно пребывал в естественной беспечности футбольного безделья, житейская практическая хватка у меня оказалась по-бульдोजьи цепкой. Я познакомился с продавщицей Зоей и предложил ей построить обычные для того времени отношения «ты — мне, я — тебе». И так я получил доступ к тайнам центрально книжного магазина города Орши. Моя знакомая проводила меня на книжный склад, выкладывая передо мной новинки, которые не доходили до массового читателя. Мой кошелек таял на глазах. Часть книг я вез на продуктовый склад, меняя на продукты, и доставляя их Зое. Всех все устраивало.

Следует признаться, мои прихоти и книжные желания исполнялись, словно по воле богов. Тогда впору было явиться высокомерию. Я отсылал красивые тома к родителям потому что в общежитии складировать и оставлять книги не представлялось возможным. Я ехал в очередной отпуск и радовался своему сокровищу. Первое огорчение свалилось на меня, когда я вблизи осознал, что отец-то имеет всего три, да и то неполных класса образования. По простоте своей он посоветовал мне приобретать романы о разведчиках и военные приключения. Я с трудом подавил ироничную улыбку. Вторым разочарованием свалилась на меня новость, что книги наивный отец отправлял на сырой и непригодный для библиотеки чердак. (О господи!) Если бы родитель представлял истинную ценность того, что он вот так взял и наполовину привел в негодность. Если бы он вообразил, что на эти деньги он мог бы построить еще один дом!

Трудно выразить словами мои эмоции. Но я еще не знал о третьем подарке судьбы.

Моя будущая жена прислала письмо и плакалась в нем о беременности. Посочувствуйте мне, мужики! Денег ни копейки, все прогулял, все пропил с друзьями. От новости,

как вы правильно меня понимаете, я не пришел в восторг. Я взял японский зонтик и с помощью друга Санька продал его, чтобы приобрести билет и погасить дорожные расходы. Долго я печалился над книгами. Наконец, я собрал мужество, проглотил горечь и досаду, понес библиотеку в букинистический отдел. Заведующая отделом танцевала вокруг моей наивности и сдувала с меня пылинки, оценивая книги по номинальной стоимости, минус двадцать процентов комиссионных. Я откровенно молчал, и слезы текли по моей беспокойной душе. Я еще не знал, что на книжном рынке я бы выручил втрое больше. Я еще не знал, что не следовало сдавать библиотеку, что вообще не придется жениться на Тамаре...

Жодинские переживания

У меня была навязчивая идея, можно сказать, мечта — где-нибудь купить импортные лезвия и сделать подарок отцу, который брился отечественной, тупой «Невой». К слову, во время утреннего бритвенного ритуала с использованием советской «Невы» у мужчин буквально отваливаются весьма чувствительные места. При этом любовь к Родине отходит на задний план и покидает сердце навсегда. Как обычно, нужные лезвия долго не попадались мне на глаза, пока мы не приехали в Жодино играть с командой «Торпедо». Небольшой городок, известный на весь мир автомобилями «Белаз», запомнился тихими пьяными мужиками, добрыми людьми, гостеприимной столовой.

В общепитовской богадельне хорошо кормили, плохо считали, чем мы и пользовались. Девушка-практикантка из глубинки явно не ориентировалась в чеках. Она смотрела на молодых парней с удивлением, обожанием и чувством вины. Она находилась в прострации молодости, эмоций, похоти и чувств. Она поднимала на нас свои красивые горящие огнем глаза и подавала все то, что мы называли. Скромностью мы не страдали и, не моргнув глазом, подсказывали ей удобный для нас ход мыслей. Вскоре, насыщенные и сонливые, мы изучали неоживленные улицы, местные достопримечательности и убогие советские магазины.

В одном из отделов я высмотрел желанные лезвия. Я воспылал любовью к родителю, купил блок импортной ан-

глийской продукции, посуетился на почте, получив взамен чувство огромного удовлетворения. Потом мы тянули время до игры, посмеивались над Аркадием, правым защитником, вспоминая, как в минской поездке у него стащили авоську, приспособленную за форточкой. Случай был свежий и пока еще действовал на воображение, смешил и развлекал. Одни уверяли — божье наказание за что-то, другие считали, нелепый случай, третьи злорадствовали, что сетку с сырокопченой колбасой украли у Аркадия.

Вечером мы проиграли игру с крупным, разгромным счетом. Мы не выдержали натиска хорошо сбалансированного коллектива, мобильной полузащиты и быстрых нападающих. При счете 2-0 судья дал пенальти в сторону хозяев. Я исполнил одиннадцатиметровый штрафной удар крайне плохо. Я пробил прямо во вратаря, но голкипер бросился в левый от меня угол. Если смотреть со стороны, все выглядело чинно и красиво, но я-то знал, что мяч у меня срезался. Дальше соперник переиграл нас по полной программе, забив еще два гола.

Радости неожиданной от игры у нас не получилось. Горечь поражения усугублялась еще и крупным счетом, предчувствием стыда перед болельщиками и начальством.

Мы наскоро перекусили, слонялись вокруг стадиона, все как один поросшие щетиной. Перед встречей у спортсменов игровых видов не принято бриться. Это хотелось объяснить каждой девушке, которая, как нам думалось, хотела бы узнать, почему же мы в таком небритом безобразии. Аркадий же реализовывал мечту. Он хотел купить дочери велосипед, но был нравственным калекой. Он появился за минуту до отъезда, везя детский, складной, новенький, как он потом рассказывал, «взял у магазина», у такой же замечательной девочки, как и его дочь. Я возненавидел Аркадия, я пожалел, что не соблазнил его неинтересную жену. Я взвалил на себя чувство вины и все возможные последствия за ту моральную травму, какую получил неизвестный бедный ребенок. Я долго представлял невинную душу, плачущее личико мальчика и девочки, когда он или она выйдет из магазина и почувствует себя несчастным и одиноким.

Рыжий

Без тягостных колебаний я предался греховному намерению, вполне соответствующему моим нравам, и моя неразумная плоть предалась медовому чревоугодию. Вскоре и душа моя присоединилась к жидкому дивному продукту. Мед, похоже, был настоящий, ядреный, почти ядовитый. Его золотистая мутная масса, схваченная зараз, жгла и будоражила в горле всякое желание съесть еще одну ложку. Мед принадлежал моему напарнику по комнате общежития — рыжему. Я делал скидку на его деревенскую туповатость и недогадливость и прощал ему не щедрость, скупую забывчивость, принимая их за повеление мне своевольничать и действовать. Я мстил рыжему за его жадность, за то, что он такой глупый, за его рыжие волосы, за его рыжую натуру. Он отправлялся на работу, а я превращался в крысу и брал без спроса его продукты.

Я смаковал медовый вкус и любовался дальним берегом реки, протекающей ниже нашего общежития. Я не тревожился о последствиях медового вторжения, тут же заглаживая следы преступления точно таким количеством сахара. Мед почти мгновенно принимал сахарный песок, растворяя белые крупички в солнечном чреве. На том берегу реки печально трезвонили церковные колокола, призывая прихожан к обедне и звеня мне о покаянии. Так как я еще не был вразумлен действием свыше, я продолжал наказывать моего рыжеволосого товарища всякими придуманными пакостями.

Что за странное явление? Какова причина его возникновения в моей душе? Но божье озарение пока не коснулось моего сердца, не осветило его небесным милосердием. А тайники моих глубинных страданий еще крепко хранили свои божественные тайны, не желая их раскрывать. Анатолий, что там, в твоих глубинах, сын Адама? Я не голоден, но отрезаю ножом пласт сала, быстро укладываю свиной продукт на место, расправляя складки оберточной марли так же непринужденно, как и было.

Моя мстительность всесильна. Вчера этот рыжеволосый козел слово в слово передал уборщице мои откровения о прогулках с ее дочерью. Помимо того, что мужики так не поступают, мне сказать нечего. Бить его по рыжей хитрой физиономии рука не поднималась. Значит, оставалось мне томиться, вертя

себя в собственных оковах греховных желаний и нечестных побуждений. И вспоминать свое глупейшее самочувствие, когда разгневанная техничка, возмущенная моей болтливостью (я тоже хорош), в присутствии рыжего друга моего (впору сгореть со стыда), выговаривала мне, отчитывала меня.

Вероятно, видя во мне будущего зятя (размечталась, дочь у нее как невеста слабовата).

Еще я мучился вот чем. Я много рассказал своему соседу такого, о чем следует знать лишь друзьям, доверенным лицам. Излишняя откровенность мучила мою совесть. Я никак не мог расторгнуть то, что избавило бы меня от негативных переживаний. Я не мог принять настоящее положение дел. Я стоя жевал сало с черным хлебом и без интереса глядел на молодую пару, сладко целующуюся у реки прямо напротив меня. Что-то не отпускало меня и мое недовольство, удваивая удары страха и чувства вины. Что-то мешало мне принять моего деревенского парня таким, какой он есть. Зло мстительности, по всей видимости, укоренилось во мне, действуя ловчее формирующегося добра.

Пусть будет, как будет, подумал я, вспомнил, увидев источник раздражения, смотря в окно и отмечая, что молодая влюбленная парочка слишком долго целуется. Несколько месяцев назад я принес и показал деревенскому парню парнографический журнал и тем поверг его в ужас. Он перестал спешить, обернулся вспять, мгновенно отменил какие-то там срочные дела и застыл с журналом в нерешительности, явно смущаясь моим присутствием, даже тяготясь им. Пустяковое легкомыслие и глупое тщеславие дергали меня за уши, тербили мое самолюбие и радовали, что мне удалось удивить противного парня с рыжим характером. С тех пор я не люблю рыжих людей...

Больничные листы

“Погоди, я еще проверю твои оправдательные документы, — хитро, по-крестьянски, смотрит на меня мастер участка, — ты у меня не отвертишься...” Я стою в прорабской, опустив голову, наблюдая, как мой начальник в десятый раз всматривается в предъявленную мной повестку из военкомата. Еще час назад амбициозный начальник планировал уволить меня за прогулы,

за то, что я такой умный, за преждевременные уходы с производства, за систематическое опоздание на работу. Еще сутки назад он, возмущенный большим количеством больничных листов за год, пытаясь вникнуть в них, не находил нарушений.

С некоторых пор я начал честно уходить на больничное сидение. Вызываю участкового врача. Она приходит, что-то пишет, слушает дыхание, смотрит горло и заполняет светло-голубой корешок, ради которого все страдания. И зачем мне очередное освобождение от производственных обязанностей, если, глядя в глаза медленному времени, я мечтаю лишь об одном — как отключить сознание вином.

Еще я приспособился брать больничные листы в ведомственной поликлинике. Врач нашего участка ко всему прочему обслуживал наши игры на первенство города по футболу, следовательно, с освобождением проблем не возникало. В ответ я одаривался абониментами на книги. С другой стороны мне нравилось сидеть на больничном по уходу за ребенком. Моя первая жена с неразвитым материнским инстинктом поддерживала мой порыв. Так мы с дочерью “болели” несчетное количество раз.

Порой, прости Господи, я притворяясь, обращался в травмпункт с ребром и предплечьем. Снимок, как правило оказывался туманным, и меня одевали в гипс. Я чувствовал себя несчастным, жалким, убогим. Поэтому можно было понять негодование мастера, перебирающего синие листы из разных ведомств, не поддающиеся проверке. Поэтому, когда я прогулял три дня, когда меня трижды не нашли на работе, мастер решил, пришел его час.

А я от безысходности отправился к военному, вошел, упал на колени, пояснил суть дела, пообещав военным любое изделие из дерева, соврав, что я классный плотник. К вечеру полковник осмотрел то, что заказал, похвалил. Он еще раз выяснил, не убил ли я кого-нибудь за те три дня — справку давали задним числом (в этом заключался казус ситуации), выписал документ.

К началу смены следующего дня я вошел в прорабскую, выложил на стол повесточку, отшагнул, опустил голову. Не вникая с первого раза, мастер еще и еще раз перечитывал содержание. Он багровел, белел, дергался, снова брал в руки

повестку, чувствуя, что я опять ускользаю у него из рук, что правда снова на моей стороне...

Сказочный бизнес

Времена начинались темные, времена приближались смутные, и происходили они в правление Михаила Горбачева. И осуществлялись потрясения экономические с неудобствами местными, возмущениями народными, роптаниями локальными. И касались они святая святых — вещества наркотического, винно-водочных изделий, ежедневно исчезающих.

И вознамерился я заняться бизнесом — водочки привезти с Украины в столицу Белоруссии тихо и незаметно — пятьдесят бутылочек. Восхотел я купить зелье бесовское по пяти рубликов, а на точку сдать по пятнадцати рубликов и заработать денежку легкую.

И ачностью движимый, ринулся я в стольный град Донецк да к матушке, да к сестрам моим родимым в гости. И пил я в гостях вещество спиртосодержащее, что духом переводится и духом божьим унимается. И мамушке надоел, и соседа-ревнивца утомил — зыркала его жена пышнотелая на меня глазами похотливыми, украдкой целовала меня в губы горячие в темных сенях, покуда мужинек грозный огурчики из погреба доставал, самогонку в тайнике доцеживал. И грела меня мысль, что пятьдесят бутылочек-то куплено, что пятьсот рубликов доходу-то — ожидается.

И ворочался я в беспамятстве безумном, в постели отчей, от жажды изнывая, не ведая, как домой добрался. Да как напонила утром матушка про деянья мои вчерашние и про то, как по-свински по углам испражнялся, как мать сквернословную во сне изрыгал, в животное превращаясь.

И настало время отъездное, печальное, слезное. И потянулись плачи-расставания, поплелись разговоры дорожные, прощальные. И поднял я сумочку тяжеленную, и заныли мои ручки, и душа страхом наполнилась, мол, не довезу, да бизнес мой горемычный силы придал.

И, дрожа, садился я в поезд пассажирский, и, бутылочками звеня, пугался милиции доблестной и грозной. И от страха-то водочку-то откупорил, пассажиров угощением задабривал из желанья тайного и необъяснимого. Молодого мужа назло жене

его топил в зелье всю дороженьку, скандал в их семье надолго поселивши, мук совести не испытавши.

А как в Минск-то добрался, не помню, как сумишу проклятую к бабке Агапке приволок, не ведаю. И запросил по двадцать рубликов за товарец ходовый поначалу. Но хитра зело бабка Агапка, стаканец мне напузырила, другой набулькала, салаты разные на стол поставила. И подобрело мое сердчущко горемычное, и сторговались мы на тринадцати рубликах.

И домой придя без водочки, сироткою себя я почувствовал, выпить возжелавши, впечатление произвести вознамерившись. Соседа угостить нацелился (царствие ему небесное и жене его блаженной).

И оставил я у бабки проклятушей все денежки, водку свою же по двадцать пять рубликов за две недели выкупивши, на точку тайную являясь и днем и ночью.

И мололи мы языком время смутное, и, глядя на пустую бутылку, в путь дорогу собирались прогуливать мой сказочный бизнес...

Тишина

Право же, я не знал, как прервать близкие отношения с Татьяной. Ее муж отсутствовал, мы греховодили. Цвели каштаны, хорошели березки, парила земля. Бредя по легкомыслию, мы не замечали ничего вокруг. Если бы не боязнь приезда мужа, то алкоголь и захлестывающие меня эмоции сделали бы нас счастливыми. Разум противился продолжению опасного романа, воля, парализованная спиртными напитками, ослабела, не сопротивлялась.

Вчерашнее бессонное бденье, дерганье при скрипе пружин разбитого дивана, хрип лифтовой камеры вымотали меня. Я не забывал о том, что Коля — кузнец, именно кузнецы в мировой классификации силачей — лидеры. Как-то, пив водку у Николая на работе, я наблюдал, как он урезонил агрессивного борца-крепыша, скрутив его клещевидные ручки. А недавно, топчась у винно-водочного отдела, я отметил, как он ударом уложил громилу. Толстяк так и остался лежать на асфальте, крепко взволновав нас возможными последствиями.

Смута на душе усиливалась, но похоть не могла отказаться от легкомысленного секса да еще с чужой женой. Мы курили

с ней в моей квартире, в осторожном полумраке, Татьяна ластилась, творя чудеса изобретательности, а мое сердце стучало не там, где надо. Мои ощущения безглагольно вестили тревогу. Моя душа не лежала к близости, а крайняя плоть вела себя импотентно. Время приезда мужа мы отметили беспокойным перекрестным взглядом. Таня уверяла, “не приедет...” — от чего внутри становилось еще нервной.

В дверь забарабанили так, как стучат из преисподней, призывая грешников опомниться. Странно, что не позвонили, ведь голосистый звонок пребывал в полной исправности. Наступила доисторическая тишина, и Дух Божий еще не носился над землею, но тьма над нами и над бездною стучалась. Коля стучал с периодичностью перекура и выпитой “сотки”. Не веря в наше присутствие, он тактично не вышиб дверь могучим плечом, хотя и держал нас в жуткой неизвестности. Я не представлял встречу с ревнивцем, ворвавшимся в квартиру, в которой находилась его пьяная жена, сидящая на разбросанной постели. К тому же я жил на девятом этаже. К тому же у решительного Коли жил опыт решительного выпрыгивания из окна.

Тогда он застал Таню с мужчиной в постели. В таких случаях для мужа есть два выхода: или убить обоих, или направить агрессию внутрь. “Сейчас выпрыгну” в сердцах крикнул он, пытаясь хоть этим разжалобить разбитную жену. “Ну и прыгай...” — ответила Таня, и человеческое существо выбросилось с пятого этажа в руки пролетающего ангела. И опустилось с допустимыми увечьями на оснеженный склон. Как известно, важнее полет, а не слава...

Мы оба помнили о том, сидя со вздыбленными волосами, не шевелясь. Воображение рисовало страшное, душа холодела в пятках, ночной сквозняк щекотал ноги. Я чувствовал себя бесполом существом, проклинал Татьяну, свою неразумность. За полночь звуки затихли, а мы так и просидели до утра, едва дыша, не замечая зябкости.

Рано утром мы босиком выскользнули из квартиры, ринулись вниз по лестнице, установив мировой рекорд спуска. У подъезда мы расстались без слов, договорившись о действиях заранее. Таня пошла домой якобы от подруги, я же, спеша, двинулся вдоль стены, оставаясь в зоне невидимости. Город еще спал.

Сквозь тишину, сквозь открытую балконную дверь вдруг донеслись крики избиваемой жены. “Ой, Коленька...” — разобрал я, шумно ускораясь, кляня предательскую тишину...

Виноградный сок

Раздается звонок. Мой друг (ныне покойный) Павел Савченков кричит на том конце провода, что нашел мне место на станции техобслуживания “Пежо”. Как раз то, о чем я мечтаю — дежурство — сутки через трое.

Глупое, скажу, состояние устраиваться на производство, имея профессию слесаря околоспортивных наук, ощущение горечи оттого, что ты не состоялся как звезда футбола, что ты журналист без стажа, что диплом выпускника механико-технологического техникума тебе не понадобится, что ты банальный распространитель книг и трезвеющий алкоголик. Начальник охраны Александр Иванович Радкевич, узнав, что я не пью, доволен. Он высоко оценивает мою трезвость с практической точки зрения, потому что на употреблении в его коллективе “сгорают” многие высокие чины.

Итак, после продолжительного алкоголизма я веду себя, точно школяр. А что вы хотите, инфантильность вперемежку с эмоциональной незрелостью — штука неизлечимая. Мой друг Павел Савченков, с которым мы вместе играли в футбол, вместе делили краюху хлеба в общаге, тоже не пьет, посещает вместе со мной занятия Анонимных Алкоголиков. Мы с Павлом по наивности стремимся отрезвить заблудших своих коллег, чем развлекаем их и смешим. Во время дежурства я занимаю телефонный эфир двадцать восемь раз, ровно столько номеров телефонов числится в моей записной книжке. Как будто действует телефон доверия белорусских анонимных алкоголиков. А страдающие души алкоголиков, нуждающиеся в помощи, изнывают от жажды, от желания высказать наболевшее. И многие спасаются, звоня мне в ночное время.

А пока в новой трезвой жизни я иду по темнеющему периметру “Пежо”. Ужас охватывает мою душу. Точно, как в далеком детстве, я, напуганный мамиными сказками о бабах и прочей нечисти, не мог переступить грань тьмы, чтобы пройти несколько сот метров по неосвещенной улице поселка. Тогда я стоял и рыдал, словно передо мной находилась неприступная линия

Манергейма. И теперь я, взрослый, глядя на непроглядную сень деревьев, пугаясь темных углов, испытываю тот же ужас.

По пути встречаю председателя правления “Пежо” Леонида Яковлевича Фридлянда. Он сулит помощь при издании моей книги стихов и, уходя, роняет: “Скоро переведем вас на другие деньги...” Я долго жду обещанное, но председатель уезжает в командировку и я, обидевшись, увольняюсь, унося в душе зависть, озлобленность и мстительность.

После полуночи наступает относительная тишина, таксисты спуют не так часто. Я забираюсь в общий холодильник, с жадностью жую бутерброды, оставшиеся после какого-то застолья. Боясь быть уличенным, гонимый тревожностью, хватаю пару бутиков, пакет виноградного сока, выметаюсь из приемной и прячусь в свою неосвещенную будку. Из тьмы возникает тень, материализуясь в человеческую фигуру. Призрак, как выясняется, в прошлом наш слесарь. Порассуждав о жизни, он почему-то оставляет мне бутылку водку, кольцо ароматной краковской колбасы, после чего так же неожиданно исчезает. Я мучаюсь присутствием водки: разбить — глупо, отдать — жалко, хранить — тревожно. Но вспоминаю о виноградном соке, делаю глоток и в ужасе отбрасываю пакет — там вино. Отплеываюсь долго и тревожно, выпиваю из чайника всю хлорированную воду, открываю дверь, бью с носка в пакет, проклятая упаковка, шурша, изрыгает на асфальт красные следы. А я думаю о том, сколь коварен и непредсказуем алкоголь, как зыбка и трудна трезвость.

Кавказцы

Собаки кусаются — быть страху перед четвероногими братьями всю жизнь — гласит моя личная мудрость. Я пытаюсь проскочить мимо Шарика, охраняющего дом маминой подруги тети Поли. Я не обучен общению с братьями меньшими, в результате получаю то, что получается в таких случаях. Шарик точно следует инстинкту, реагируя на убегающую жертву. Боли не остается, а неистребимый страх впечатывается в подсознание на всю жизнь. С той поры существа собачьей породы на шкале ценностей располагаются у меня на последнем месте. С тех пор я равно реагирую на злых шавок, на шумных дворовых сторожей и на породистых красавцев.

С тем и прогуливаюсь с Тamarой, несостоявшейся женой, идя мимо семенящего овчара. С тем и прикрываюсь Тamarой от нюхающего все и вся зверя, оцепенев, шепчу “Не шевелись...” На что удивленная и возмущенная Тaмaрa бубнит: “Нет, чтобы меня защитить...” И замолкает, потому что она пока еще не жена и старается вести себя хорошо.

Много лет спустя мы гостим с первой женой у ее друга (я думаю, что она с ним спала). Всякий раз ко мне подвигивает огромный дог, утомляя игривым мельгешением. Всякий раз я умираю от страха при виде этого гнусного животного. Герой умирает один раз, а трус тысячу раз, гласит народная глупость. Теперь я знаю, многие пословицы можно и нужно редактировать, потому что трусливых людей нет вообще по сути. Потому что следует говорить: от тюрьмы, от сумы и от первой рюмки не зарекайся. Похоже, становлюсь мудрым...

А Бог посылает мне пинчера с помесью дворняги, с задатками циркового пса, к тому же лающего на трех языках. Вначале песика покупают для дочери (дочь тогда еще не переехала ко мне). В первую встречу я кажусь псу родственной душой, и он выбирает хозяином меня. Я плачу ему вниманием, нерастраченным на семью, любовно кормлю его прожеванной курицей в руке. О его прыгучести я мог бы рассказывать чудеса. Я прогуливаю его по-королевски, я балую его, как балуют детей богатые родители. СЭМ, так его кличут, снимает комплекс, унимает большую часть собако-фобий. А соседская овчарка Керри, удивительная и свободная от воспитания, приводит собакобязнь в норму.

Но вот я устраиваюсь механиком-диспетчером в “Белкарго”. Коллега знакомит меня со страшными, стоящими в клетках кавказцами. В самом деле, кавказцы добрейшие собачки большого роста и все. Через пару месяцев я легко справляюсь с ними, развожу по периметру, а утром снимаю. И надо же было сорваться этому молодому головорезу! Напарник в сей час досыпает свое время. Два водителя возятся у кабины. Мимо них несется длинношерстая тень. Они, словно космонавты на луне, с места впрыгивают в кабину. Минут сорок они наблюдают, как я ношусь за кавказцем по кругу, месяц полуметровый снег. Моя телогрейка дымится, сердце барабанит дробью. Вскоре открывается не только второе дыханье, но и третье. И я начинаю обгонять пса, чувствуя, что он догоняет меня.

Поистине, отчаешься, и Бог помогает. Мой мучитель вдруг замирает на склоне, отзываясь на мое хриплое и отчаянное “Ко мне!” и покорно ныряет в ошейник.

В пересменку я ничего не рассказываю напарнику, боясь насмешек. Я пока еще очень уязвим в социуме на четвертом году трезвости...

Галина

Ах, Галина, Галина, откуда ты взялась на мою голову? Откуда ты вообще? Я увидел Галину в текучке города. И все. Дернула же меня нечистая сила набрать те шесть цифр. Мог ли я предположить, что львы по гороскопу, влюбляясь, сходят с ума чуть безумнее, чем остальные. Конечно, частично я бы мог возложить вину на свою нетрезвость, сослаться на одиночество. Но как в таком случае объяснить мою забывчивость в отношении дочери.

Четыре недели в пьяном похотливом угаре пролетели мгновенно. Галя бросила мужа, девочек-близнецов, поселилась у меня. Бедный, сходящий с ума супруг, с детьми колесил по району, ища своенравную супругу. И он-таки вычислил нас, он просчитал меня, опросив соседей, собрав инфо об одиноких мужчинах. Вначале он запеленговал нас на стоянке такси, рванулся к нашей машине, но моя любовь — хлоп — по фиксатору и застопорила дверь! И приказала ничего не понимающему водителю: “А ну-ка прибавь газу, мы опаздываем...”

На следующий день на рассвете мы, как всегда, рано покинули мою холостяцкую квартиру, дабы прогуляться перед работой. Ах, как легко бежал за нами неспортивный супруг! Ах, как устрашающе цокали по асфальту набойки его дорогих туфель! Он несся свысока и казался преувеличенно огромным через призму моего страха. Гулкие звуки в тишине просыпающегося города укрупняли глупую встречу с ревницем. Слава Создателю, мужик оказался интеллигентом, а не агрессором. Он погавкал на меня весьма невразумительно, я же промямлил что-то про каратэ, прозвучав писком комара. Галя же спокойно проговорила: “Ударь меня по очкам...” И они двинули под его бдительной охраной вслед дребезжащей утренней мусоровозке...

Ах, какая стыдоба одолевала меня, когда я слушал рассказы дочери о том, о сем: “Ты, папа, раньше приходил каждый день...” И сердце, обрываясь, летело в бесконечное чувство вины. На том завершиться бы роману, на том, порешили пришедшие ко мне ее родители, всему и оборваться бы (мама и папа Гали провели моральную инвентаризацию меня). О том и муж глаголил, пришел ко мне (не агрессивно), попросив меня не впускать Галю на порог. На том и ударили по рукам.

Она же, периодически напиваясь, звонила в дверь, но я силой выталкивал ее на лестницу и захлопывал дверь. Она же вновь звонила, звонила, звонила.

Позднее жена моего приятеля выловила своего мужа и мою Галину в постели, выплакалась мне, отдалась мне от горечи и печали, что удовлетворило мои сексуальные амбиции. Разочаровавшись в Гале, я понял, что все пьющие женщины одинаково стервозны. Я вырвал ее из жизни, помня ее удар ниже пояса. Однажды, засыпая, она сравнила меня с мужем, убив мое чувство.

Бросив пить и курить, я перестал интересоваться Галиной, помня, что она, выпив, требует сигарету, а покурив, просит рюмку и так до бесконечности...

Однажды я куролесил с Людкой, неожиданно возникла совершенно пьяная Галина. Мы усадили ее за стол. Женщины немного порычали друг на друга, выясняя, кто в доме хозяйка. Вдруг уснувшую гостью мы уложили спать, занялись экстремальным сексом, поглядывая на храпящую женщину. Люська убежала рано утром, а я долго томился присутствием женского существа, жаждущего опохмелиться, довольный тем, что ей плохо, не прощая измену. И втайне радуясь, что мне все известно о ее непорядочности...

Фигура на простыне

Моя гражданская жена Елена, загодя упредив меня по телефону, появляется, как правило, один раз в неделю. К ее приходу из чувства вины я покупаю продукты, забиваю ими холодильник, наполняю отделы экзотическими фруктами (в основном для дочери от первой жены, которая по согласию жены живет у меня).

К явлению благоверной быстро очишаю балкон — от бутылочных излишеств — недельная норма моего питания с соседями (за мой счет), Господи, какие времена ушли! Лишь единожды, не успев провести уборку тары, я услышал от наивной женщины: “Ты, наверное, уже полгода посуду не сдавал?”

В ее пришествии заключается тайна моей короткой трезвости. Я терпеливо сношу тремор, панически боясь первых блюд, расплескивающихся в ложке у самого рта. Я жую лавровый лист, заварку, лишь бы заглушить неистребимый перегар действующего алкоголика, надеясь, что моя половина ни о чем не догадывается, а дымящееся дерьмо, под названием “Прима” хоть как-то приглушает сивушный дух.

В существовании Елены таится великий замысел небесный, приведший меня впоследствии к духовным принципам Анонимных Алкоголиков и к осознанной трезвости. Через ее трудолюбивые руки Первопричинник подал мне первую весть о том, что спасение возможно, что выход есть.

При первом знакомстве с ее родителями, тогда еще моей невесты, я не увидел на столе традиционной бутылки. Пришлось, проглотив обиду, часто ходить в туалет и там, в антисанитарных условиях, глотать из плоской металлической бутылки коньяк, затаив мстительность на тестя (царствие ему небесное). Когда наступила пора красить дом, тут-то я все ему и припомнил, не придя в самый ответственный момент ремонта.

Елена периодически бросает меня, видя меня спящего и пьяного. Женщина разворачивается, роняет дочери: “Передай папе, пусть выбирает — или я, или водка...” Так как я уже давно расположился на краю алкогольной могилы, то Елена своими “взбрыками” выбивает у меня из-под ног опору, заставляет задуматься над тем, что же происходит в реальности.

К тому же меня устраивают отношения с женщиной надежной, не признающей (в отличии от меня) параллельных романов и считающей — мужу нужно разрешать все. Шероховатости в моей позиции стирает частный домик в престижном районе Минска и весьма дорогая земля, которые я считаю платой мне за то, что я осчастливил их семейство. К общему необременительному семейному комфорту добавляется возможность спать на балконе и таким образом приходить в себя после пьянки.

В субботний день к нам являются гости с банкой самогона. Меня тревожит только то, что нужно будет спать с женой. Я-то знаю, чем завершится трехлитровая дистанция. В общем, гостей мы отправляем на такси. Пока жена прибирается, я ложусь и проваливаюсь в преисподнюю алкоголизма. Просыпаюсь я от жары и влаги. Недовольная жена с гаммой претензий на лице лежит у стенки с открытыми глазами. Я скатываюсь на пол и вижу на простыне свою тень. Словно кто-то, очертив мою фигуру серым цветом, напоминает о зыбкости бытия, о чем-то очень-очень важном...

Медсестра

В четвертый раз лежу в кардиологии. “Срыв” сердца произошел во время утреннего бега. Чистое безумие — после пьянки носится по холмистой местности, пытаюсь совместить спорт и спирт. Мечта, конечно, дерзкая, но, по правде говоря, неосуществимая ни при таких обстоятельствах. Многие люди пытались установить товарищеские взаимоотношения со спиртосодержащими веществами. Все потерпели поражение, поэтому напоминаю тем, кому предстоит пятнадцать-двадцать лет алкогольного кошмара: “спиритус” переводится как “дух”, и противостоять ему может только дух Божий.

Но сейчас мой сердечный ритм зашкаливает. Меня одолевает страх, смятение, беспокойство. Вызвав врача, я даю ценные указания дочери, мол, если помру, деньги под вазой, мама тебя поддержит (мы в разводе, а ребенок живет у меня).

Скорая помощь мчит меня на другой конец города. В такие минуты снисходит благодать, истекает божья милость, приводя мятушущую душу к смирению. В такие минуты рождается истинная мудрость, глубже раскрывается смысл жизни, а мысль о том, что истина, справедливость и любовь — вечные и реальные ценности, не кажется идеальной и далекой. Трясаясь на кушетке, я ощущаю приступы саможалости, забиваю голову страхами о смерти. Я возвращаюсь в суету сует, исторгая приступы злости на тупых владельце авто, не соображающих, что везут меня.

В больнице меня прокапывают, ритм восстанавливается, страхи покидают душу. Начинаются медленные однообразные будни, доверительные палаточные исповеди на фоне монотон-

ности распорядка с подъемами, завтраками, обходом врача, процедурами, таблетками, обследованиями.

Глядя на сердобольных жен, пестующих мужей полными сумками блюд домашнего приготовления, я, знаете ли, не горю страстью к своей второй гражданской супруге, с которой сожительствую. Общих детей у нас нет. Мое “счастье” является не с утра пораньше, как все нормальные “берегини”, а когда ей удобно. Начинаю мстить, исчезая специально к ее возникновению, теряюсь в бесконечных лабиринтах громадного девятиэтажного корпуса.

Как правило, прячусь у медсестры по имени Людмила, признаюсь, что я владею массажем и часами массирую хрупкие спинки молодых девушек, а вечером возвращаясь в палату, слышу неизменное: “Анатолий, к тебе женщина приезжала...” Злорадствуя, вспоминаю, как в первый раз жена спросила: “Может быть тебе бульончик сварить по-домашнему?” Ну, думаю я, если об этом жена еще не знает, дело совсем плохо. Вечерами я с Людмилой пью водку, мы целуемся, любим друг друга в ночную смену. Утром за ней заезжает муж и журит за легкий перегар изо рта.

После выписки мы условливаемся продолжать встречи, и вот мы эпикурействуем у меня на кухне. Дочь в лагере, жена на работе. Ничто не может нам помешать. Мы “жрем” водяру весь день, и Людмила, не выдержав, совершает малую физиологическую потребность прямо на новый диван. Она так пьяна, что я едва довожу ее до остановки и впихиваю в толпу.

Дома колдую над мочевым пятном, поливаю всем, чем можно, глажу раскаленным утюгом, отчего мочевой дух становится устойчивее. Войдя в прихожую, жена спросила: “Что это у нас мочой пахнет?” Притворяюсь простецом, развожу руками, вроде все в норме. И в тайне сожалею о дорогом дезодоранте, распысканном напрасно. Подвел меня французский парфюм...

Приключения

Он поднял на меня глаза, остановил свой взор на мне и принялся делать из меня дурачка. Он решил, что перед ним наивный простак, на котором можно вдоволь покататься. Он сбрался разводить меня по полной программе, намекая на

выпивку за мой счет, прошупывая меня на предмет кредитоспособности. К тому времени я уже был звездой малого футбола, начинающим поэтом, мастером комплиментов, владельцем завидной библиотеки. В те дни я выучил наизусть пушкинского “Бориса Годунова” и заметно влиял на развитие культуры маленького провинциального города, вдохновляя примером множество ярких личностей. В тот час я слонялся по вокзалу в ожидании скорого поезда, горя священной любовью и благогоразумным стыдом к несчастному человечеству, для которого намеревался стать мессией и тем самым спасти неизвестно от чего. В это мгновение на моем пути появился молодой человек, несколько запущенный, с зачатками шизофрении.

Он смутил меня навязчивостью и, как говорят в таких случаях, неадекватным поведением. Он, с грустью замечу, напоролся на блестяще подковленного спортсмена, причем, пребывающего в самой лучшей спортивной форме. Пусть даже не боксера, не мастера спорта по борьбе. До тех пор, пока он держался на расстоянии, я блуждал в тревоге и добродушии. Мой незнакомец не предполагал, что я из тех, кто наследует царство небесное. Я уклонился в сторону, отметя его фамильярное рукоприкладство, не позволяя держать себя запанибрата. Меня охватывало пламенное желание как-то поставить на место зарвавшегося бродягу. Подвернувшийся дежурный милиционер, как потом выяснилось, уже давно обратил на нас внимание. Я обратился к представителю власти за помощью.

Вскоре я давал показания в комнате милиции. Очень скоро парень впал в приступ или придумал взрыв болезни. В нем словно соединились смертельная скорбь и безудержная радость. Он то становился тих и безучастен, то буен и неудержим. Вызванный врач осматривал беспокойного чудака, а я по нивности, по неопытности вслух при нем называл свои данные, место работы, адрес. Все в жизни, в беспокойном социуме зыбко и опасно. Еще никто не научил меня осторожности. Впрочем, вскоре я был вольноотпущен.

Я несся в скором поезде, в купейном вагоне к любимой Тамаре и чувствовал на себе скромный солнечный взгляд девушки, лежащей на соседнем нижнем месте. Моя похоть предчувствовала приключение и, заинтригованная самим действием, затомилась. Девушка оказалась тем типом, которому я нрав-

люсь. Я совлек с себя все мирское вместе с платьем, собираясь прилечь, и перевел взгляд на милое существо, оказавшееся студенткой из града Петра. В наших сердцах бушевали бури любви и страсти. Девушка издавала пугающие меня возгласы. Все заглушало громоыханье поездных сочленений.

Я возвратился в простую непритязательную обстановку общежития и своего проживания. Я обнаружил взломанную дверь, пропажу некоторых вещей и гитары, столь нераздельной со мной, со всеми моими привычками, вкусами и всем холостяцким существованием. Негодуя неизвестно на кого, я испытал немалый стресс, на миг предавшись воспоминаниям. Многие связывало меня с гитарой в трудной цепи самоутверждения. Мне, как никогда, захотелось сыграть что-нибудь любимое из личного репертуара. Но шестиструнного инструмента не стало.

Я вдруг отчетливо вспомнил картину в милиции и свою тревожную мысль о том, что, возможно, парнишка запомнит адрес, что зря я произношу вслух личную информацию. Я легко воскресил его глаза, вспыхнувшие недобрым лукавством, полыхнувшие огоньком мстительности после того, как я надиктовал милиции свой точный адрес. Я помню, взор его тогда стал решителен и тверд. У меня нет доказательств того, что в моей комнате побывал именно тот странный пришелец из ирреальности. Его недобрая усмешка, наполненная колючей злобой, так и осталась косвенным фактом его мифической причастности в цепи случившихся со мной приключений...

А можно было бы...

И, казалось, конца не будет этому произведению без сюжета, но максимально правдивому и честному. Казалось, я брошу эту изнуряющую меня исповедь, состоящую из двухсот маленьких откровений, каждое из которых равно шедевру классики, и возьмусь за обычную версию примитивного романа. Мои герои бесконечной чередой пройдут перед вами, они станут известными и популярными, они примутся рассуждать на поле битвы, удивляя вас своим мужеством, поражая преданностью Отчизне. Мои мужи и женщины превратятся в образцы для подражания или застынут в памяти потомков жалкими предателями.

Прекрасными рассуждениями, светлой моралью и добрыми поступками они явят людям новые примеры для мысли. Но как остро хочется услышать хоть от кого-нибудь правду, узнать, что же там, в потемках души человеческой, противоречивой, желающей сотворить вовсе не то, что вы видите, думающей не о том, что звучит из уст. Как никогда раньше, люди устали от кривды и невежества. Эти здравомыслящие люди (их становится все меньше), всецело отдавшие себя служению истине ради исцеления всеобщего, изнывают от тоски по естественности, по непритворству. Чтобы в мире темном и хмуром, в поле отчем и ветреном, в доме зыбком и незащищенном густые темные сумерки нечестности не довели над душой, чтобы чувство Родины возродилось без обмана. Ведь уже давно человек не видел себя настоящего. Ведь он стремится в будущее, которого нет. Пути нет, цели нет, что же делать? Начинать с самого себя. А для этого нужно выдернуть себя из-за спины!

Вот я и проникся любовью к мудрости и чести. Вот и презрел я призрачное счастье неправдивой картины мира. Вот свободно посвятил себя ее исследованию. И пришел к выводу, что в подавляющем большинстве писатель пишет не то, что есть на самом деле. И происходит это вовсе не из боязни чего-то. Поиск и обретение истины, который следует ценить выше всех иных наслаждений, процесс крайне болезненный. Наслаждения плоти и соковища земные значительно ближе всего остального. А тут предлагают показать какую-то скверну человеческую, предполагая свое внутреннее благополучие. А тут еще недуг похоти, какой весьма удобно видеть в других людях. Тут же следует рассказать, как ходил неправыми путями святотатственного заблуждения. Как предпочитал его другим учениям, крича народу о счастье, о выдуманном, мифологическом царстве.

Клонит, клонит голову сильная дремота, неодолимая ничем. Как раз сейчас самое время рассмотреть себя по совести, а не враждебно оспаривать реальную действительность. Ближе к полуночи она рассеивается, и вновь на бумагу ложится версия, зовущая в никуда. И ты вновь медлишь выдрать себя из тьмы глухой души заблудшей. И вновь, не зная себя, пророчишь, ты, не покаявшись, и учишь нравственному образу.

Даже мне после восьми тысяч исповедей неясно, куда же ты направляешь стопы, куда двигаешь свой путь научения истине других и всех.

Пришел, однако, час, я стою перед миром, наг, и моя совесть обличает тебя. Что есть твой язык? Где язык твой, есть ли он у тебя, коль ты глаголешь, не зная самое себя. Коль ты не можешь сбросить бремя суеты и назвать то, что тебя волнует по-настоящему. Тебе, безусловно, мешает неуверенность в истине, а твоя преобладающая брэнность давит тебя тяжким грузом ненужного креста. Оставь же версии, изнуряй себя исканиями, угрызаясь от стыда содеянного тобой. Уж лучше бы я творил примитивную версию, а не показывал всем мерзость души своей заблудшей. Да и не нужен мне вовсе этот божественный дар провидца, сумевшего оторваться от потока привычек, где душа чахла и гибла...

У грани честности

Почему? Зачем? За что мне такое наказание — муки вечные за нечестность перед самим собой? Я пытался следовать божьим заповедям. Последние исследования библии уверяют, что раньше заповеди преподносились несколько в ином ключе, постепенно искажаясь в последующих переводах или трактовках, приобретая оттенок повелительности: «Не убий, не укради, не прелюбодействуй...». А следовало бы: «Если ты будешь следовать Богу, то не станешь убивать, воровать, прелюбодействовать...» Может быть, когда-то мне довелось служить ангелом и я подсознательно не принимал духовного навязывания и насилия. И душа упорствовала, оставаясь на своей позиции, ничуть не оправдываясь.

Тем не менее, я продолжал тайно воровать и мелко грешить — по пустякам. Я спешил по офису по каким-то служебным обязанностям, примечая кусок картона, вероятно, занесенного протектором подошвы. По-человечески и согласно моим служебным обязанностям я поднимал твердую бумажку и выбрасывал в урну. Согласно общепринятым нормам и человеческим понятиям. И служебным обязанностям. Я страдаю оттого, что не понимаю людей. Я мучаюсь оттого, что не знаю самого себя. Я не умею жить по-человечески. Даже когда исчерпаны все доводы. Даже когда откинута все сомнения. И

я не знаю, как все это называется, но я слышу и понимаю, и бунтую. Против собственной воли.

Итак, возвращаемся к началу события. Злополучная картонка мешала мне мчаться, неизвестно куда. Она мешала мне нестись куда-то с большой скоростью. Я воровски огляделся, словно вокруг находились одни взрослые, а я был плутоватым, шаловливым ребенком. Так я всегда поступал в детстве. Наступил момент истины. Мне нужно наклониться и... Я отметил запертую дверь шефа, отсутствие случайных свидетелей. Я потратил бездну энергии, массу усилий лишь для того, чтобы ничего ни делать. Я резко ударил по бумажке носком ботинка, и серый комочек исчез под темно-синим диваном. Я вспыхнул резко и эмоционально (именно то, что мне нужно), погребая мелкое и колющее чувство вины под маленьким пеплом щекокушущего страха, осыпанного адреналином.

В обители моей внутренней, в опочивальне сердца моего порой разыгрывались миниатюрные трагедии, невидимые для стороннего наблюдателя. Я кинулся прочь от самого себя, расплескивая по офису капли коричневого кофе. Я показал фигу тряпке, плящей на меня свои тряпичные очи, сделал вид, что не расслышал зовущий голос веника. Охваченный волнением, я перетоптал крошки у стола, ботинками растер капли на плитке. Я остановился, удивленный безмолвием совести, пораженный системой поведения, основанного на инфантильности.

Я направился на кухню, чтобы помыть тарелку. И тут я почувствовал — мною что-то управляет. Что-то цепко держало меня в путях страха, заставляющего спешить, спешить, спешить, повелевающего бежать от проблемы, по возможности отряхнуться от нее. Я мыл тарелку не по-людски. Вот хроника: быстро включил воду, обрызгался с ног до головы. Мои щеки, лоб, уши, глаза горели спешкой и желанием уйти от решения проблемы. Мой слух ожидал властной команды от шефа. Перепонки напряглись в предчувствии звонка в дверь. Одновременно я жевал лаваш и наблюдал за красивыми движениями Алеси из соседней фирмы. Капли моющего средства так и оставались не смытыми на ободке тарелки. О том написали: «Он страдал целительной болезнью и умирал живительной смертью, ощущая зло, не постигая, какое благо придет вскоре».

А руки все равно следовали программе, и в ее основе лежал грех. И грех не был помехой моему одиночеству, скорее по-творствовал ему. Все нечестные люди очень одинокие, сказал умный человек. Я бы добавил, очень несчастные. От горя реального осознания я, естественно, не вытряхнул из сита раковины свой мусор, придумал причину для оправдания, плеснул остатки воды в кружку под стол и, негодую неизвестно на кого, отправился к своему рабочему месту...

Рифма

«Теперь веруешь, что рифма в стихе не главное?» — спросил меня мой терпеливый учитель. Мысль его зависла в воздухе, предчувствуя мое сопротивление, несогласие.

Взор его устало заскользил над брэнностью, исчезая в складках невысказанной, невидимой для меня вечности. Он просматривал мои очередные тридцать стихов в день, мудрый, как Иисус, шептал «Все подчинено рифме...»

Признаюсь, вышеупомянутый элемент стихосложения, может быть, я придумал, тормозил мое творчество. Я испугался, решил пройти испытание личными поступками, постепенно прибавляя житейские примеры. И, как водится, подтвердил правильность выбора чудесами, т.е. чудесными творениями, созданными на основе рифмы. Для начала я начал собирать оригинальные созвучия у других поэтов. Следом принялся выискивать благозвучные слова и словосочетания, преподавая урок самому себе. «Мощей — вообще» — записал в отдельную тетрадку. «Ноша — множа» — схоронил до лучших времен. «Соловка — не ловко» — замечательный поворот страсти. «Воина — усвоена» — хороша, чертовка, с дактилическим (два безударных слога в конце) окончанием. Слова кружились у меня в голове, превращаясь в вирши, наполненные очарованием оригинальности и удивительности.

Я мечтал о всемирном признании, как некогда в детстве, лежа в постели, воображал нереальные сцены и весьма эмоционально проживал их. Я трясся в метро, я сминал высокие снега, я колесил на «одиннадцатом» (на своих двоих) маршруте бесконечные улицы столицы и грезил всепланетной славой. Я взбегал к учителю на пятый этаж, становился на плечи гигантов и, спеша от желания произвести впечатление

и заполучить похвалу за скорое восхождение, потев от усердия, доказывал ему преимущества и возможности моей новой теории основного элемента высшего вида творчества. «Когда нахлынет страсть и чувство, — осаждал мой не совсем взрослый лепет шеф мирового стихотворчества, — рифма сама придет, сама найдется...»

Кто может и не впервые сказать так внятно и определенно? Преподнося урок содержательный, сообщая смысл главный, великий и стратегический. Обратите внимание «когда нахлынет...» Звучало, как «заповедь вам даю...», как старая мудрость, исполненная по-новому, как общеизвестное мнение, но вдруг переосмысленное. «По вдохновенности узнают меня, что я ученик его» — так понял я, так поумнел за последние две тысячи лет.

А в это время гордость моя нахлынула, захватила душу мою и понесла своевольничать.

Тайком от народа, независимо от учителя, отринув послушничество, в силу потрясающей дерзости, провел я нетрадиционный эксперимент, возможно, единственный в истории мировой литературы. Открыл я словарь господина Ожегова и ринулся на бескрайние словесные просторы. Мои общие тетради с оригинальными рифмами пухли от «жира». Стихи мои превратились в красивый по форме «фавизм», не имеющий явно очерченных признаков содержания. И совсем иной мой учитель, одинокий и молящий, словно несчастнейший из людей, осенял меня успокоительным словом, сдерживая мой благородный порыв. Избавь меня, учитель, от часа сего.

Наставник дал мне возможность побыть один на один с миром, с Богом, самим собой. И это последнее — дал почувствовать с удвоенной силой тоскливого одиночества. Чтобы сам себе — все. И учитель, и ученик. И я едва не задохнулся, создавая, символистско-сюрреалистические красоты. И делал их по предопределению. Так предусмотрено свыше. Следом получился сборник с двумя тысячами нестандартных рифм. Книга, в которой нет ни одной проходной рифмовки, существует. Думаю, в своем роде это единственный экземпляр. Он лишен личной самобытности. В каждую строфу искусственно вкладывалось трепетное двузвучие. А сверху одевался сам стих, изогнутый до неимоверности. И только неправдоподобным,

нечеловеческим усилием мне удалось уйти к нормальному чувственному творчеству — когда «оно нахлынет...»

Иван Лукьянович

«Смотри за ним...», имея ввиду своего покойного отца, проговорил мне Коля Долгий.

Я забрался на открытую грузовую машину с опущенными бортами, отделанными трагическими красно-черными тонами, неудобно уселся на корточки. Другого выхода у меня не было. Не кричать же во время похорон о затекших ногах или о каких-то там неудобствах. Тем более, когда машина тронулась и потянулась на маленькой скорости к оршанскому кладбищу, ситуация не казалась мне такой уж страшной. Кое-как я уместился на колени, быстро затекающие и отдающие болью, приспособился часто менять положение. Таким образом, я смирился, вспомнив об усопшем Иване Лукьяновиче Долгом, устался на его тело, трясущееся в гробу в унисон ухабам и соответственно неровностям дороги. Согласно полученным указаниям, я монотонно бросал на землю маленькие сосновые веточки — по обе стороны автомобиля. В перспективе пышные зеленые кисти составляли некую бесконечную линию жизни без начала и конца, напоминая о бренности бытия.

Вслед покойнику двигалась немногочисленная родня, горстка соседей, друзей и просто помощников по обряду захоронения. Витя Долгий и его старший брат Коля шли, опустив головы, так ни разу их не подняв до самого кладбища. Тетя Шура, жена покойного (фронтовичка, участница войны с гитлеровской Германией) двигалась за сыновьями с подружкой Марией. А я почему-то вспоминал блестящие афоризмы Ивана Лукьяновича, которыми он награждал нас, уходящих на танцы. «Уже пишлы к дивкам, — старый боевой офицер, профессиональный военный изъяснялся с завидной прослойкой украинского наречия, малоросских шуток-прибауток и масляного юмора жарких южных степей — шо, тильки дитей робыть, одно на уме...» Он провожал нас до двери, страдая болезнью ног, задыхаясь от тучности и малоподвижности. Он солнечно смотрел на нас, искрящийся юмором, добротой и бесхитростностью. Тетя Шура всегда говорила, что с Иваном Лукьяновичем легко жить. Зла они друг на друга не держали, а в разных

сложных жизненных ситуациях быстро примирялись. «Не могу долго сердиться, — делилась со мной тетя Шура, — туда-сюда, спрашиваю, кушать будешь, Иван отвечает — с удовольствием...» и все, забылась ссора.

Собственно, следуя неписанным традициям, после поминок, мы долго пили, добавляли, шлялись по пивбарам. Мы вновь оказывались на берегу Днепра, снова сбрасывались по рублю. Родственник из Донбасса щедро бросал в шапку то пятерку, то десятку. Я ничего не мог поделывать, финансы пели романсы, к тому же я не уехал в столицу вовремя и прогулял три дня. Но сейчас все это мало беспокоило меня, алкоголь делал свое дело, а поздно вечером я уже ничего не помнил.

Утром (я переночевал у Коли) мы завалили к тете Шуре, собрали бутылки, едва уместив их бесчисленное количество в шесть сумок. Мы волочили тяжелые баулы как раз по той дороге, где я вчера выстелил сосновую дорогу, печальными сосновыми обломками. Будучи суеверным, я старался не наступать на веточки и очень страдал, видя, как Витя и Коля топчут мое произведение искусства, не замечая их, не обращая на них никакого внимания. Когда мы сдали тару, то денег хватило еще на четыре бутылки водки. Мне подумалось, как же много вчера выпили на поминках...

Только в субботу я смог вырваться из провинции. Я думал о бренности бытия. Я тащился в самой медленной электричке республики, благородно останавливающейся у каждого столба. Похмелье, словно ртуть, двигалось во мне, крича сердечной аритмией вперемешку с тахикардией. Точно и не жил на свете солдат Отчизны, участник кровопролитных боев, мудрый и добрый Иван Лукьянович Долгий. Точно так происходит в природе испокон века и ровно в отмерянный срок. Мелькающие за окном сосонники слегка напоминали о тех веточках, брошенных мною под ноги судьбе. А тень, похожая на солдата Родины, как бы из небытия благодарила меня, последнего, кто смотрел за ним, хотя и не очень добросовестно...

Вездесущие стихи

Творя в совершенно забытом жанре жития и видений, я сумел оторваться от стихов. Я научился молчать целую неделю — она казалась мне вечностью — впуская в свои пространства

горячо переживаемую действительность. Именно современность, пришедшую из были неоглядной, можно назвать причиной нового эстетического переживания. Имя ей — поздние времена, умноженные на благоприобретенную мудрость. Образ ее — исток поэтического молчания как жанра, как художественной формы.

Весьма памятный пиит во мне прямо-таки задыхался от слов-ассоциаций, от слов-аллегорий, от значительной своей священной жизни. Мой внутренний вагант прямо-таки собрался жить, разрываясь между языком богов и презренной прозой. Не учтя количество эмоциональных охр, уходящих на отделочные работы романа, я почувствовал надрыв душевной палитры и окончательно рассыпался. Отказал жене в общении, не захотел разговаривать с другом в другом измерении, болезненно среагировал на дочь, кормящую маленького ребенка. На офисе, в отместку делателям замечаний, возразил им (неслыханное дело), указал, опустил на землю и едва удержался, чтобы не сказать главное — все, что я о них думаю.

Таковым окриком бога был приостановлен бездумный акт творческого самоубийства.

Захлебываясь в противоположных видах искусств и совсем уже, воспаряя над смыслом жизни, я отодвинул стихотворческий канон, плача от наставляющего стихосложения. Велением небес мне предписано слагать стихи. И в прозу не года меня клонили, и не гнали года шалунью рифму. Мне предлагалось научиться так раасставлять слова, чтобы всякое слово хорошо знало свое место. Тут мне подсовывалась идея (от учителя), тут же раскрывалось учебное пособие под названием жизнь, тут и стиховедчество прилагалось. И желание присоединялось к естественному течению событий, скользя темой, растекаясь разухабистым содержанием.

Свет одной темы освещал тьму другой мысли, рождал третье содержание в четвертом страдании. Точно так, как пророчески отметила великая и незабвенная Марина Цветаева, но переиначим, взяв за основу мысль ее. «Моим делам, как выдержанным винам, явился все ж черед...» Рассказы получались и в отдельности — светлы, и в совокупности гармоничны. Поминование бытия своего, безвозвратно ушедшего, навеки канувшего, совершалось во имя просветляющего смысла. И

ради него тоже. Повести сопровождалась искренне льющимся плачем, вытеснением греховных реминисценций и тревожных преданий, затаенных в бездне подсознания.

Поэзы заиграли прозаизмами, осыпанными розами и пеплом. Социально- политическое изгнание и безвременье оброчивалось культурным знаком, каким владеет, может быть, лишь царская власть, которая давно не существует. Я стал слаб, до невозможности, молчалив до чрезвычайности, а моя божественная поэзия оказалась обычной и земной.

Град божий рушился на глазах, идеал культуры моего творчества не соответствовал идеалу социально-политическому. Универсальное христианство не пронизывало и не скрепляло сферы моей лирики. Сливаясь с непростой прозой, забывая на некоторое время вдохновенные вирши, я легко понял то, что перечислил выше.

И проза спасла мои стихи. Обывательское сочинительство сохранило для человечества поэта. Короткие рассказы, не менее тяжелые, чем иные романы, наметили вовсе не умозрительный общественный идеал. Он предполагал единство чувств и ощущений, осознание своего истинного назначения на земле, был чужд крайностям и умерен в проповедях. Имея в виду, как говорится, единство жизни и политики, жизни и религии. И вел человека к самому себе. Следует добавить, самым коротким путем.

И стихи пошли, редкие, другие, написанные точно языком богов. Случился великий поворот к иным словам через молчанье. Имя ему — поэзия небесная, земным человеком положенная на песню...

Дядя Вася

Большим оригиналом был мой родственник по линии мамы. Он медленно подходил к калитке, рассматривая меня, не узнавая, но чувствуя, что я свой. Больно схож я лицом с его младшим сыном и моим двоюродным братцем Василием. У людей, выросших на природе — по природе своей — глаз наметан, внимание обостренное, нерв чувствительнее нас, городских. Он замедлял шаг, почти останавливаясь, пронзал меня взором, окатывая осторожностью и все же не узнавал своего довольно близкого родственника, сына старшей сестры Веры.

Оригинальность сухого, невысокого мужчины, избалованного вниманием тетки, у которой он вырос, выражалась особенным образом и проявлялась во всем. Собственно, как у подавляющего большинства людей с возрастной алкогольной зависимостью, но необыкновенно одаренных от природы разными способностями и талантами. У мужа сего коренилась просто завидная способность не подчиняться общим правилам и оставаться свободным при любых обстоятельствах. Может быть, у него выработалась особенная избранность в теткину бытность, тогда как остальные братья и сестры не доедали, не снашивали лишнюю пару обуви, не достающую на восемь детей.

Он приехал к брату в Таганрог и всех нас достал своим необъяснимым недовольством.

Он потребовал вынести койку на улицу и установить ложе в гараже, чтобы лучше спалось. И действительно, конфликты как-то разрешились сами собой. В доме прекратилась суета, воцарились покой и тишина. Гость мирно спал днем и ночью, не выходя из гаража. Лишь изредка мы видели его бредущим в магазин за сигаретами. Питался он кое-как, ел мало, аппетит, по его словам, имел плохой.

Мы перестали его замечать, занимаясь своим отдыхом, различным времяпровождением и рассказами о морских пляжных приключениях. Когда Фоменков уехал (фамилия у него осталась теткина), мы все ахнули. Ремонтная яма оказалась заваленной пустыми бутылками из-под дешевого вина. Тара лежала в таком количестве, что оставалось удивляться, сколь много спиртного можно выпить одному человеку всего за месяц отпуска. Он всего лишь два раза посетил магазин в наше отсутствие, принеся две сумки заветного напитка. Он спрятал дурманящую жидкость вниз, прикрыл ее тряпьем и напросился спать в гараж. Артист, всем артистам артист.

Он был очень удивлен, когда я в первый раз во взрослом состоянии прибыл на побывку в деревню, на родину моей мамы. Я долго добирался из Орши, пройдя пешком от железнодорожной станции те самые девять километров, о которых так много рассказывала мама. Она училась в Климовичах. Ежедневно туда-сюда и есть расстояние. Или, может быть, в одну сторону. Мне показалось, я шел очень долго. Девушка любезно показывала мне дорогу. Она работала в такой глухо-

мани после окончания института культуры и, очевидно, тосковала по столице республике. Глаза ее источали одну печаль. Я блеснул для нее несбыточной надеждой. Как знать, не судьба ли прошелестела рядом, едва окликнув, окатив призрачным счастьем — только руку протяни.

Я шел мимо тех сел, какие пестовали маму и мою родню по маминой линии. Я пытался представить то место, где погибла мамина сестра тетка Анна. Она спасала сына Михаила во время заготовки дров, угодив под падающую березу. Дерево гулко ударило в женскую плоть, хрупкую, как яичная скорлупа.

“Водки привез”, — спросил родственник. “Нет...”, — весьма глупо и напрасно пошутил я, услышав в ответ отборный мат, украшенный местными оборотами и устойчивыми непечатными фразеологизмами. Я сразу же пожалел о сказанном. Дядька обиделся не на шутку. Он быстро и решительно уходил в поля, свободный и независимый, ругающийся без остановки. Я кричал ему, чтобы он остановился, что я пошутил, а он, одетый в полушубок на голое тело, в трусах и с кнутом напервес, так и не повернулся...

Трамплин

Лыжи скользили медленно, застревая в не глубоком снегу. Лыжи поминутно упирались и тыкались носками в комки земли и неровности борозд пахоты, по которой была проложена не ахти какая лыжня, ведущая лыжника вдоль железной колеи и посадки к едва видному вдали мосту. Лыжня напоминала зимнюю тропинку, растоптанную пешеходами и вдруг схваченную гололедом. Колеи не держали лыжи, пляшущие вправо-слево и лыж ник (как вы поняли, я), не очень любя сей вид спорта, двигался еще медленней.

Лыжи после долгих уговоров и вмешательства мамы, отец купил неожиданно, выбрал быстро и соответственно спешке. Он выполнил отеческий долг по данному эпизоду отчего участия. Лыжи удивляли сверстников, ставили в тупик внимательных отцов, смешили лыжников своей длиной, нестигаемостью и неуклюжестью. Их скорее можно было бы назвать приспособлением для передвижения по лыжне, чем радостным приобретением. Поднимая руку я не доставал до конца стоящей рядом лыжи примерно шестьдесят сантиметров. Вообразите,

каково спускаться на них с миниатюрных горок, других в наших степях не найти. Катание с высоченных терриконов не поощрялось и считалось опасным. Где-то, возможно, прозябали холмы, овраги, пригодные для зимних забав, но только не в наших зеркально ровных местах.

Оставалось постигать азы лыжного марафона и шалить на полупригорках с последующим “нырянием” в выемку к путям. Те, кто несся (если можно так назвать черепашую скорость медленного спуска) на правильно подобранных лыжах, благополучно миновали угловатые спуски. А я, как вы уже догадались, на своих неповоротливых, неуклюжих негнущихся уродинах вставал в почву на перепадах высот (как только ноги выдерживали) и чувствовал себя при этом скверно. Лыжу я сломал на третьей секунде местного спуска. Вогнал себя в дикое чувство вины, боясь отца, ожидая наказания, но обошлось. Батяня приспособил снизу полома жестяное приспособление, огибающее форму носка. Я снова стал в строй, но из-за жести скольжение значительно замедлилось.

На таких “чудесных” снегоходах, можно сказать и так, я дерзко направлялся к лидиевскому мосту, кажется, единственному в нашем обозримом пространстве месту, удобному для скоростного спуска. Впрочем, я спешил на крутую гору, следуя молве. Ребята рассказывали о тамошнем трамплине, вскидывающем мчащегося спортсмена на несколько метров. Говорили, что от полета захватывает дух, что ничего подобного нет нигде в нашей околошахтной округе. Молва придавала мне сил, и я неустанно бился в раздерганной лыжне, сетуя на озябшие и устающие от высоких и несоразмерных лыжных палок руки.

Неожиданно я, увлеченный преодолением пространства, уткнулся в мост. Я взял в руки тяжелые лыжи и трудно взобрался наверх по боковине мостовой насыпи. Там уже давно катались незнакомые ребята. Один из них оказался моим соседом. Петя Лобко дал мне погреться в его громадных теплых рукавицах. Я стоял на горе и восхищенно смотрел на умелых прыгунов с небольшого трамплина. Они набирали скорость по очень крутому склону и летели вниз. Они взмывали на выступе и превращались на мгновение в птиц.

Чувство восторга сменилось дерзким желанием и любопытством. Один парень крикнул мне: “Давай на спуск...” Может

быть, оклик относился не ко мне. Я быстро стал на лыжи и нырнул в бездну. Скорость, несоразмерная с моими возможностями, уняла равновесие, схватила тело, вырвало из лыж, и все вместе покатило под гору, суля серьезные последствия. Я отбил внутренности, сбил дыхание, понял, что такое преисподняя. Парень, виляя и скользя по спуску, прибежал ко мне, скорченному, но живому и невредимому. “Цел, — поддержал мой смущенный дух, добавив, — трамплин запомнил?” Я смотрел вблизи на обычную снежную насыпь и думал, обманула молва. Ничего-то здесь необычного нет.

Обычная лыжня и обрыв. Но чувство причастности приобрел. Да еще какое...

В посадке

Легкий орешник, непроходимая, вернее, непролазная акация и несущие темную сень каштаны, липы вперемежку с тополями создавали надежный полог, защищая от палящего степного солнца. Заросли казались наполненными страстью, тайны и тревогой шатающихся от легкого ветра теней деревьев. Блики, рассыпанные солнцем, падали мне на лицо, слепили моих товарищей.

Старшие ребята “воевали” с неизвестными представителями далекой семнадцатой шахты. Никто из нас не видел тех самых, так называемых врагов Лидиевки, но традиционно в шестидесятые годы двадцатого столетия на окраинах существовали враждующие друг с другом регионы. Кто и как это определял, одному богу известно. Однако, по слухам, исходящим от старших ребят, мы очень скоро узнавали, кто кого побил и кто с кем сегодня враждует. Военная идея объединяла нас, делала из нашего духа воинов, помогала преодолевать страх и однообразие. Мы прятались в гущине около путевой посадки эдаким дозором, готовым дать отпор всем и каждому, кто посмеет обидеть наших — лидиевских.

Старшие ребята действовали более конкретно. Они выкладывали холодное оружие, состоящее из велосипедных цепей, прутьев и палок и вслух рассуждали, что делать с военным богатством, если вдруг встретятся пацаны оттуда. Что, если те пацаны начать всех обыскивать. И наш маленький отряд охватила тревога и смятение. Валерка Лакомый и Ленька Ко-

нев решили отдать мне свои цепи, скрутив их в скрутку. “Тебя обыскивать никто не будет, — резонно заметили хлопцы, — ты самый маленький...”

Я сидел на многослойном листовном настиле, а ребята прилаживали свои приспособления под тугие резинки моих широченных шаровар (где мама их находила), отяжелив мои стопы. Вскоре я томился на полусолнце, задыхаясь от гордости и чувства причастности к великому лидиевскому воинству, как средневековый рыцарь, облаченный в защитные доспехи. Пацаны, разморенные жарой и утомленные бездельем, расползлись по деревьям, выискивая кальку — ягоду красноватого цвета, съедобную и вязущую полость рта. Не исключено, что это местное название. В данном случае я действительно не завидовал соседям по улице, их свободному парению над суетным бытием на хрупких ветвях мироздания. Я не чувствовал себя ни чуточку ущемленным, видя, как они “тарзанятся” — бросают вниз тело, держась за тонкий ствол, по захватывающей дух траектории, опускаясь на землю (новое слово появилось в лексиконе в связи с появлением на экране дома культуры кинофильма “Тарзан”).

Хочется заметить, многие слова и выражения отражали штрихи и черты нашего времени. Например, практически все вратари на уличном футболе перед ударом по воротам психологически настраивали себя фразой, собравшись в комок: “Вратарь Чанов...” Я не знал, кто такой Чанов, но когда меня отправляли из заворотного бека в клетку ворот, я, подражая, произносил то же самое. Потом в ДСШ по футболу при команде мастеров “Шахтер” Донецк мне доведется играть за дубль со Славиком Чановым, видеть восхождение Виктора, блестящего голкипера, тренирующегося в более младшей группе.

Тревога прозвучала непонятным для меня звуком, озвученным как “шухер!” Молодцы, мужики с моей улицы. Братцы кролики слетели с деревьев, аки птицы, растревоженные, загалдели. По тропинке, разрезающей посадку вдоль от моста до станции Весовая, двигался вражеский отряд, превышающий нас по численности, а, главное, по возрасту. Я, конечно, пока еще не был бойцом, но у меня сложилось впечатление, что я один ничего не боюсь. Ленька и Валерка велели мне идти первому. Мы медленно двинулись навстречу неизвестности.

Более всего я боялся, что отберут цепи, и я подведу ребят. От страха мы шли так тихо, что стук наших сердец заглушал гул проходящего поезда. Противник уступил нам дорогу, не обращая на нас внимания. Цепи больно терли мне ноги...

Морская капуста

Мама вспоминала, что отец, когда мы жили на далеком и таинственном острове Сахалин, не разрешил ей работать зоотехником, ревнуя мать ко всем. Много раз приезжали к моим родителям представители из области, ценя такого специалиста, каким была моя мама. Глава семьи даже не хотел слушать. “Нет и все...” — отвечал он назойливым гостям, ничего не объясняя, даже не предлагая войти в дом. Ревность, равно как и любовь, великое чувство, сладить с ним не под силу многим мужам. Следуя этому распространённому общечеловеческому пороку, отец не позволил развиваться своей жене, семейному бюджету и эмоциональным отношениям, блюдя мамину нравственность. Но я ему не судья. К сожалению, я как раз преподаю вот эту науку.

Мама рассказывала, что папка много работал на лесоповале, сбежав (он трудился буфетчиком) — уехав — завербовавшись на далекий остров — за длинным рублем и от правосудия. Иначе в жизни отца был бы другой лесоповал. Молодожены ожидали ребенка. Отец просто грезил, иначе не назовешь его внутренний романтический настрой, сын и только, сын и никаких гвоздей! В день родов отец оказался на смене. Высокие крещенские снега и январские морозы все равно не позволили бы добраться до больницы. Телефон находился за тысячу верст. Выход напрашивался один: рожать дома. Бедная мама, она рожала сама вообще без посторонней помощи, сама перерезала пуповину, преодолевала послеродовые последствия.

Мой противоречивый отец, характер которого, как и судьба, делилась на две одинаковые части. До и после развитого алкоголизма (сейчас я преподаю трезвый алкоголизм). Мой неподсудный родитель явился, не запылится, разумеется, в подпитии. Узнав, что свершилась воля Бога, а не его, отцова, не пожелал даже подойти к маме. Бедная мама, как я понимаю ее нынешние отрицательные чувства, очень высокие и очень негативные ощущения в адрес нерадивого и непредсказуемого

супруга. Три дня батя не желал общаться с роженицей, не хотел видеть дочь Валентину.

Потом Никифор Степанович оттаял и пустился в другую крайность от великих родительских чувств. Дочь превратилась в единственное, горячо любимое существо на свете.

Дочь закармливали дорогим шоколадом и всем тем, чего ребенку не следовало бы давать. Сейчас моя сестра, сама того не зная, страдает от нарушения обмена веществ, не может сбросить вес, совершая самое волевое усилие в мире. Все одно ничего не выходит.

Мать вспоминала, когда я родился, отец подпрыгнул до потолка, больно ударившись в невысокие своды. От избытка эмоций и впечатлений, как и принято на Руси, папа на радостях делал то, что подсказывает духовность каждому человеку. Бедная мама, она и при вторых родах не увидела помощи, не нашла в нем опоры. Ничего, кроме горечи, не звучит в ее печальном старческом голосе.

“Тебя нашли в морской капусте, — повествует мама, — мы так тебе и говорили, когда ты спрашивал, откуда ты появился. А ты интересовался очень серьезно и основательно. Мы тебе вот так и отвечали. Плыл ты по морю-океану, мы тебя и выловили в капусте...” Я хорошо помню, как в детстве я подолгу разглядывал на огороде огромные белокачаннные плоды капусты и детским воображением пытался представить, как меня обнаружили.

Мама делится впечатлениями о прошлом уже спокойно, без явной неприязни к отцу, лишь отмечая: “Ехали тридцать суток с Дальнего востока. Я колотилась с двумя детьми, тебе девять месяцев, Вале три года, отец с вагона-ресторана не вылезал. Проспится и снова туда. И когда с Сахалина на пароме добирались на материк, я едва не зашлась от тошноты. Что-то я устала, разволновалась...” завершает повесть мама. Я поражаюсь ясности памяти, легкости изложения событий, странности ее судьбы...

Письма

Каждую букву я вывожу аккуратно, слова расставляю ровно, несмотря на волнующийся почерку и беспокойный характер. В каждый абзац я ввожу чужую мысль, коих у меня

на столе, в море записей, цитат и стихотворных строк великое множество. Из окна моей комнаты, из моего общежития видны очаровательная девушка, живущая в том доме частного сектора, ее тучный и серьезный папа, копающийся в огороде, и красивая хозяйка. Но все это меня мало интересует, потому что я занят очень важной творческой деятельностью — отработкой личностного эпистолярного стиля в соответствующем жанре. Я пишу письма любимым женщинам — сразу троем — вкрапляя в ткань пустых и лживых писем чужие мысли, сторонние чувства, ворованные образы.

Страх и комплекс неполноценности не позволяют мне развивать нормальные отношения с одной девушкой. Как известно, нездоровый человек хочет всего больше, чем ему полагается или отпущено богом, как вам угодно. Не умея по-человечески выражать свои чувства, я прячу свой страх под маской ряженого, под личиной влюбленного, за завесой таинственности. Я скриплю пером, бессмысленно вглядываясь в очаровательную девушку, ища заоблачное счастье за тридевять земель. А радость души, не исключено, вот у меня перед глазами — несет воду, метет двор, рвет на грядке сорную траву.

Еще в армии я знал одного старого солдата (по сравнению с моим сроком службы), таким чином пытающегося строить отношения с противоположным полом. Мы балагурили в цехе разрыва авиаснарядов, ожидая привоза новой партии, назначенной на уничтожение. Вова из далекого Красноярска обычно располагался особняком полуотвернувшись от нас. Дембель помногу раз перечитывал многочисленные письма. Он получал долгожданные весточки из разных концов страны и захлеб — вечерами — просматривал, что-то повторял, что-то выискивал, чему-то улыбался. Было занятно следить за его лицом, за его шевелящимися губами (видно, с образованием проблемы), за его меняющейся мимикой, перетекающей из улыбчивого спокойствия в раздумчивую печаль.

Майор частенько поддевал нашего сослуживца, говоря то о невозможно частом куреве, то о бесконечно меняющихся адресатках, верящих и надеящихся на свою избранность.

“Вовка, не перепутай адреса, позора душевного не оберешься...” Мы вечерами, продолжая тему, допоздна обсуждали Володьку, боясь его, но больше завидуя его богатству. Я не-

пременно брал сторону майора, девственника, не знающего об отношениях ровным счетом ничего на свете. Я как бы сдавал майору друга, невзначай сообщая о получении очередного письма. Солдат второго года службы никак не мог взять в толк, откуда же начальник нашей службы узнает о заветных конвертах, каких присылают в часть на восемьсот человек неисчислимое множество.

Мне Вовка доверял многие тайны и часто рассказывал о девушках, о том, что у него их пруд пруди, что он зачастую путает имена и фамилии, города и веси, что он беспокоится о том, чтобы не перепутать адреса, чтобы не поставить себя в глупое положение.

Дверь общежития отворилась, возвратился мой напарник по комнате, принес почту.

Я не хотел при нем распечатывать интимную почту, перекинулся с другом несколькими словами, засобирался на улицу. Приятная летняя погода располагала к лирике. Нежаркое солнце напоминало о скором отпуске и о приближающейся осени. Я углубился в частный сектор, специально мелькнул у дома очаровательной девушки, не подозревающей о моих наблюдениях за ней. Примостившись на ближайшую лавочку, спрятанную под ивой, я восторженно распечатал письмо. Поверьте, я испытал сильное потрясение, стыд и страх, чувство вины и досады. В конверте лежало мое письмо к Гале с припиской на коротеньком листике. “Ты ничего не перепутал? Ирина.” Мужики, не пишите писем нескольким женщинам сразу, это чревато...

Виктор

Удивительно трезвые, не выпив ни капли водки, мы уезжали со дня рождения поэта, проведенного под эгидой здравомыслия и, соответственно, под лозунгом “Ни капли спиртного!” Не понюхав даже винной пробки, не увидев на столе ни одной бутылочки с вожденным напитком, я злой, непохмеленный (кусок не лез мне в горло) сидел в “Ниве” с братом поэта, слушая его странные и необыкновенно трезвые речи. Он тихо обрабатывал меня с точки зрения трезвого алкоголизма (сегодня я преподаю мастерство трезвости одного дня), говоря удивительные вещи. Например, я узнал, что нормаль-

ное состояние человека — трезвое. Что любой государственный деятель, руководящий большой державой в нетрезвом виде, — неуверенный в своих действиях политик. Что князь, погрязший в грехах, принимал судьбоносное решение, находясь в состоянии страха и неуверенности, поэтому он принял вот такую религию.

Я слушал друга, но удивлялся другому — почему же он повез меня домой через весь город. Я вслушивался в любопытную тему и взволнованно отмечал, разговор меня захватывает, беседа, имеющая место быть, ложится мне на душу. Мой собеседник выбрал непонятный маршрут, он поехал мимо наркологии, удаляясь в сторону от моего дома. Мы остановились на улице Волгоградской. Бывший директор совхоза немного рассказал мне о том, как ему удалось бросить пить. Как ему помогла группа поддержки — вот здесь — по таким-то дням и часам. Главным ощущением, испытанным в то мгновение, можно назвать чувство покоя и заинтересованности. Впервые в жизни я беседовал о том — главном, волнующем меня, тревожащем мою душу. Впервые в жизни после многих лет пьянства я вел себя искренне, я произносил правдивые слова, извлекал сокровенные мысли.

Впервые мы увиделись с Виктором много лет назад у его брата, моего друга и поэта.

Энергичный мужчина доставил родственнику харч (я очень позавидовал другу), дал денег, подавив нас важностью и значимостью. С точки зрения моей низкой самооценки, общение с директором предприятия, знакомство с ним казалось неординарным событием.

Очень скоро мы летели на директорском газике в хозяйство молодого руководителя.

Очень высокую эмоциональность испытывал я, любясь красотами зеленых полей, игривых березняков, колосющихся нив. “Очей очарованье” отходило на дальний план, когда, словно из-под земли, Виктор доставал нам желанную бутылку вина, передавал нам с поэтом на заднее сиденье. Глотнув вещества, изменяющего сознание, мы умнели, читали свои стихи и чувствовали себя счастливыми.

Мы гостили в огромном доме Виктора, наполненного всякими штучками военного толка. Их оказалось гораздо больше,

чем нужно (я так решил), исходя из детского понимания ответственности, решив часть вещей экспроприировать. Я толкал в сумку учебные гранаты — зеленоватые лимонки, старый штык-нож, горстями засыпал холостые патроны и всякую всячину, безусловно доставляющую удовольствие любому нормальному ребенку.

Рано утром (я-то житель городской) бригадир разбудил нас на общих основаниях, и мы с поэтом неплохо потрудились на огороде директора. А в обед он завез нас в город, наполнив наши сумки продуктами, овощами и фруктами. Всю дорогу я без умолку болтал, скрывая страх и чувство вины за ворованные безделушки. Через неделю мы вновь ехали к Виктору. Я торопил время и томился желанием скорее возвратить терзающие меня игрушки. Набравшись храбрости, я во всем признался, совершив для себя поступок года.

Много лет спустя мы неслись в “Ниве” с другом Виктором и, улыбаясь, вспоминали прошлое как нечто далекое и покаянное. Тогда бывший директор совхоза, сам того не полагая, выполнил свою великую миссию на земле — он спас меня от губительной алкогольной зависимости, показав путь, спаси мою душу, подарив мне дело всей жизни...

Червонцы

Мы играем в воскресный футбол во дворе некогда очень близкого и дорогого мне дома.

Мы угрожаем стеклам первого этажа в критических моментах складывающихся единоборств, непредсказуемости полета мяча во время его выноса подальше от ворот. Слава Создателю, густые ветви часто посаженных у дома деревьев спасают нас от позора, а жильцов от глупой ситуации. Я хорошо помню, как один из нерадивых игроков вложил в удар всю свою силу, как летел мяч по немыслимой траектории, минуя помехи, как звонко и страшно зазвенело разбитое, осыпающееся стекло. Детская тревога на мгновение обуяла нас, взрослых мужиков, а мне, словно в далеком детстве, захотелось убежать подальше от греха и спрятаться в высокой траве, как тогда — на поляне в далекой юности.

Сейчас же я машинально поднимал голову и поглядывал на девятый этаж, вспоминая фрагменты молодых чудачеств.

Мне виделась та неповторимая и чудесная Ольга, помнились те безумные, полные адреналина, греховные времена. В измерение том жилось мне беспокойно и влюбленно. Опасность связи с чужой женой пьянила и волновала, а муж, служащий в армии, придавал отношениям полный романтический изыск.

Подъезд, где проживала моя любимая, кишел знакомыми. Я старался не попадаться им на глаза, но проклятый и неотвратимый закон подлости подливал масла в огонь неожиданными встречами и нежеланными свидетелями. Я долго и мучительно объяснялся и оправдывался перед ребятами футболистами, выдумывая диковинные небылицы, хотя никто ни о чем меня не спрашивал. Мы разбегались со знакомцем в разные стороны. Я впахивался в простуженный лифт и, прислонясь к его грязной расписанной, расцарапанной стенке, долго — до верхнего этажа — слушал его ветхозаветное ворчание и бронхиальное клочкотание нутряных колес, тросов и подшипников.

Ольга отпирала дверь, захлебывалась от восторга нашей влюбленности, рассказывала, о вчерашнем и очень неожиданном приезде мужа. “Я открываю дверь, я думаю, что пришел ты, а на пороге — муж — явился на побывку со службы...” Она прижималась ко мне, хрупкая и доверчивая, добрая и женственная, чужая жена и моя любимая женщина. Она шептала мне, продолжая переживать вчерашнее потрясение: “Я думала, что сейчас умру. Он что-то спрашивает, а я вижу только тебя, он о чем-то болтает, я думаю о тебе и молю Бога, чтобы ты следом не позвонил в дверь...”

Признаюсь, я крепко тогда струхнул и потерял равновесие души, примерив ситуацию на себя самое. Тут дело не обошлось без вмешательства небесных сил. Впору было поверить в бога благодарно поставить пудовую свечу во спасение. Ревнивые мужья, знаете ли, на девятом этаже особенно опасны, к тому же их дело правое.

Пока Ольга приводила себя в порядок, я быстро и ловко (это вошло в систему) распахивал кошелек, наполненный довольно большим количеством десятирублевых купюр советского периода, и волшебным хватывал свою дежурную купюру. Я прятал деньги в носок, принимал расслабленное положение, принимался рассматривать старые газеты, с лихвой разбросанные по кухне. Позже, когда я влюбился в медсестру, я делал с

ее бумажником то же самое. Впоследствии и Ольга, и медсестра резко прервали со мной взаимоотношения, ничего не объясняя. Я притворился обиженным, естественно, не звонил им, а при встрече делал вид, будто передо мной незнакомые женщины.

Сейчас, во время игры, меня почему-то охватил необыкновенный стыд, неожиданное осознание, вспыхнувшее покаяние. Я едва ли слышал оклики напарников, недоумевающих, почему же я, всегда такой собранный на поле, так рассеянно и небрежно играю, точно и нет меня на дворовой площадке. Точно я стою на балконе девятого этажа, как вон тот мужчина, и наблюдаю за острой и напряженной игрой...

В поезде

Пассажирский состав, рассекая зимнюю вечернюю тьму, разрезая среднестатистическую метель и легкий мороз, быстро преодолевал пространство степей Украины. Вместе с поездом в холодную ветреную неизвестность несло все купейное и плацкартное бытие, по причине темноты мало интересующееся законным непроглядьем. Начинающиеся крещенские морозы пугали, порывы ветра волновали мою нетрезвую плоть, мою заблудшую душу, мой рассеянный разум. Мелькающие за окном, тонущие в сугробах редкие перелески, блестящие огни полустанков и населенных пунктов, причиняли неудобства нездоровому здравомыслию — манили надеждой поживиться за пятикратную цену бутылкой водки. Как обычно, при стоимости бутылки огненного напитка в пределах пяти рублей, за риск, за все прочее платили двадцать пять — тридцать целковых. Перестроечные и антиалкогольные события (очень хочется оценить их в словесном выражении с позиции тюремной лирики, но с силой второго поэта королевства) только подстегивали ликероводочные страсти спившейся страны. Имея на один инстинкт больше — алкоголизм из заболевания перетекает в инстинкт — великая страна не останавливалась ни перед чем, платила любую цену на каждой остановке. Я, по качеству безумия превосходя многих, с этой же точки зрения творил чудеса не менее чудесные, чем летчик с фигурами высшего пилотажа, чем великий бразильский нападающий Жаирзиньо с бедными защитниками. Я вылетал из поезда (ехал с дочкой) и разрывал неизвестность неумной энергией действия.

Спящие дежурные на станциях испуганно шарахались, видя в темном окне мой маячащий облик, мое молящее лицо. Будки обходчиков отворялись, сердца людские понимающе теплели, мои трудовые деньги тонули во тьме звенящих углов, вызывая дух алкоголизма. И спиритус, хохоча и корчась от удовольствия, не касаясь земли, окатывал мою душу липким непроглядным туманом.

Ожидающие меня напарники (мне все равно), мужчины и женщины встречали меня восторженно, на бис, на ура. Полушепотом шуршала бумага, вполголоса звякали стаканы, глухо булькала вождеденная жидкость. И никто не делал нам замечание (бросив пить, я испытал раздражающий фактор подобной ситуации). Теплился душевный разговор, росло желание добавить еще, найти хоть какое-нибудь пойло, глотнуть капельку сверху. Бутылка уплывала под стол, беседа замирала, темы иссякали. Я чувствовал вину за всех и перед всеми, я взваливал на свои хрупкие плечи ответственность за продолжение банкета.

Я очень внимательно приглядывал за ребенком, очень строго оценивал пьющую компашку, никогда не доводя ее до многочисленной, вступая в эмоциональный контакт только с людьми интеллигентными, обязательно привлекая женщин. Дочь — единственное в жизни счастье, к которому я относился с полной серьезностью. Я начинал делать обход вагонов, заниматься опросом проводников. Бедные сопроводители вагонов недовольно отпирали свои дежурные купе, глядя на меня, без стыда и совести врывающегося в личное время трудящихся людей. Но мольба на моем лице действительно выглядела искренней младенца. На проверяющего я не походил. На роль подставной утки спецорганов милиции явно не годился (толстый, спитый, добрый, смиренный). Опять исчезали мои трудовые купюры в липких руках ночных продавцов спиртных напитков, снова дух алкоголизма, звеня в темном углу, возникал из небытия, перетекая в меня еще невыпитым чином.

Пассажирский поезд гремел на стыках, а я будоражил и тревожил обслуживающий персонал, собирая по возможности всю водку, какую мне дадут. Чтобы до утра больше не блуждать по спящим вагонам, не прятать бестыжие глаза от честных взглядов ни в чем не виновных провозатых, не хло-

пать звонкими железными дверями, летая из первого вагона в двенадцатый и обратно. Бегая из теплого купе в метельный перрон, не боясь ни простуды, ни отставания от маршрута, ни бога, ни алкоголизма...

Бешеный муж

Он гонялся за мной по провинции, как неотступная тень возмездия, как прилипчивый дух алкоголизма, как молодой защитник, приставленный к опытному форварду. Он был странный и ревнивый, он любил свою жену и прощал ей многочисленные вздорные выходки, он стерег ее и ничего не мог поделаться с ней, взбалмошной, ветреной и влюбчивой.

Я не пытался объяснить необъяснимое, я не понимал, откуда она сваливалась на мою бедную романтическую голову. Она обрушивалась водопадом благодати и ливнем божьей милости, она возникала из пены Славутича, восставала из пепла, загадочная, как жрица, и легкомысленная, как гетера. Тогда мне не приходила в голову такая мысль, а сейчас я подумал, может быть, она следила за мной. Не тот ли происходил случай, когда в одного из любовников вселяется дух роковой любви, способной на перевоплощение и чудеса?

Не она ли — богиня любви — снизошла с небес обетованных, чтобы я понял, вразумел, осознал, проникся, прочувствовал всю прелесть и уродливость непостижимой страсти, всю сладость и горечь, плавно переходящих друг в друга.

Я отворял дверь библиотеки и оказывался лицом к лицу с ней, доступной и манящей, опасной и сумасшедшей. Она ничего не говорила, она не произносила ни слова, она была сама — глухонемота, кричащая о любви, жаждущая совокупления сейчас же, сию минуту и тут же, на том же самом месте, где и встретились мы. Я полагаю, она оказалась заблудшей в городе русалкой. У нее вероятно не получалось принять свой первоначальный облик. Но у нее прекрасно выходило заманивать других в свои сети, что она с успехом и делала. Как говаривал поэт: “Я был просто первым...”, на кого она наткнулась, а русалки, как известно, не переборчивы. Она выполняла свою русалочью работу с завидным терпением и упорством. Она следовала природе, подчинялась инстинкту, высшего зова, божественному или дьявольскому предназначению. Единственное,

чего она не делала, не хотела, не желала и не могла исполнить, так это требования мужа, которому она тут же, через мгновение после соития признавалась в содеянном грехе и смотрела на него беспомощного и бессильного в своей ярости и в своей любви, точно как известный герой романа Набокова.

А известный оршанский герой, в отличие от набоковского, оказывался не таким терпимым, не таким интеллигентным и даже не умеренно-обывательским. Наш друг (ваш, дорогой мой читатель, друг) входил в ярость, в дерзость лукавую, в помыслы недостойные и ослеплял себя жадной мстительности в мгновение ока. Он искал меня по многочисленным улочкам и лабиринтам центра Орши, источая агрессию, тьму и сумятицу. Он забежал к Витуну, моему другу, звонил в дверь и спрашивал: “Где Веремей, я не знаю, что с ним сделаю?” (Веремей — мое прозвище). Витун, конечно, так гаркал, так кричал, так приструнивал строптивого ревнивца, чем крепко меня защитил и, не исключено, спас от серьезных разборок и непредсказуемых последствий. Удивительно, но я ни разу с ним ни встретился, наши с ним грешные земные пути не перекрестились.

И слава небесам! Я гуляю по тем же местам, с теми же добрыми и волнующими меня чувствами, думая о далеком прошлом, о той необъяснимой женщине, промелькнувшей в моей жизни несказанным дивом. Именно вон там, в четырехэтажном доме, в последний раз мы виделись с ней, сливаясь устами в долгом и горячем поцелуе. Там, вдали от суеты, в отсутствие Витуна и его жены, ушедших в кино, мы не чувствовали, что в десятке метров от нас, внизу, разгоряченный, как всех подозревающий Отелло, ищет нас ее знаменитый на всю провинцию, любящий и неординарный супруг. Мы не знали, что видимся в последний раз, что скоро я навсегда уеду в столицу и осяду в Минске. Мой некогда родной городок никак не реагировал на мое короткое гостевание, на мои переживания, он просто жил, просто был...

Майские жуки

Мне думается, нет места на нашей грешной матушке земле более памятного, чем вот эти пологие склоны на выемке возле путей, поросшие, как и пятьдесят лет назад, курослепом, пыреем и чертополохом. Такие же неприглядные и неказистые,

такие же сырые и пыльные от угольной копоти, Сейчас, после дождя, невозможно и шагу ступить по скользкому чернозему, густо перемешанному с бытовым мусором, куриным пометом и сажей.

Даже мой недожизненный талант — легко и умело струиться по терриконовым спускам — в данную минуту кажется мне недостаточным. А индивидуальные тренировки по общей физической подготовке по схеме вверх-вниз, похоже, не спасают, коль уж закралась в сердце неуверенность, если появились признаки боязни высоты, риска и бесшабашности.

Я желаю спуститься здесь, именно в этом тревожном месте, и только вот по этой грязи и сумятице, по красно-черной мокрой жажалке (остатки отгоревшего угля — местное) и в сию же пору. Мне не терпится взглянуть в глаза земле моего детства, привечающей меня по-прежнему тепло и уютно. Я изнываю от ностальгической жажды восстать из глины маленьким и незащищенным мальчиком, чтобы погладить самое себя по непослушным вихрам. Чтобы сказать себе много добрых и хороших слов, себе, потерянному и запуганному, одинокому и несчастному.

Смешное несчастье заключалось в тех самых майских жуках, больших и крохотных, наводнивших тамошние склоны в далеком 1960 году. Ни единой майской твари не нашел я сегодня, сколько ни искал, сколько ни вглядывался в разводы мусорных мозаик, всматриваясь в основание бурьянника, наклоняя его плохо гнущиеся внизу стебли грязной и вонючей палкой с торчащим из нее ржавым гвоздем.

Честно говоря, я чувствовал себя очень плохо, когда на меня пристально посмотрели идущие по тропинке, протоптанной на обочине выемки, нормальные взрослые люди. Наверняка они отметили во мне хорошо одетого, опрятного, самодостаточного мужчину, трезвого и адекватного, но занимающегося необъяснимой ерундой, свалочной чепухой замызганного старьевщика. Еще более острые ощущения появились при виде женщины с ведром, доверху наполненного мусором. Ее лицо мне показалось очень знакомым, отчего мое обостренное чувство вины, мое свалочное копанье мгновенно превратилось в личностное самокопанье. Не видя меня, низко нагнувшегося к земле, симпатичная и полная особа женского пола, словно

косой повела, справа налево сыпанула мусор скользящей, разлетающейся и ровно стелющейся массой. От стыда я так и не оправился, остался сидеть на корточках, словно собираясь совершить физиологическую потребность.

Где-то здесь, точно тут, ну, может быть, примерно два-три шага влево или вправо один из сверстников, кстати нынешний муж вон той тетки с ведром, бросил в меня жука. Я показал друзьям слабинку, а дети жестоки. Жуки посыпались на меня, как майский дождь. Ребят было много, каждый считал своим долгом поучаствовать в экзекуции. И делали это мои поселчане со всей добросовестностью отрочества. Мог ли я тогда подумать о том, что получу один из потрясающих психику стрессов, который будет терзать мой душевный покой и ныне, и присно. И только совершая великую исповедь в моем личном романе, я смог вспомнить и воскресить из преисподней подсознания еще живые страхи и ужасы при виде летящих в меня майских жуков. Я смог спокойно и бесстрастно посмотреть в прошлое с того самого места, где получил тяжелейшее душевное увечье. Я наконец-то понял, жуков мне не найти. Я поднял камешек, отдаленно напоминающий ползучую сволочь, спокойно подержал его в руке, попросил у неба сил и, бросив жука далеко-далеко, истошно заорал изо всех сил: “Я тебя не боюсь!”

Рогатка

Попадись мне Петя сегодня, я бы разорвал его на мелкие части, посыпал бы солью и скормил диким голодным собакам. Окажись я с нынешней физической формой тогда с ним глазу на глаз, я бы крепко его поколотил, хама и уличную скотину. Выходца из дерьмовой толпы, шваль и подзаборника, подшиванку и подворотню, как обзывались в нашу бытность шестидесятых годов прошлого века. По-разному звучали прозвища и клички, но имели место быть всенепременно. По всякому обращались друг к другу, изменяя имена, превращая красивые фамилии в еще более красочные шедевры уличной лирики.

Лишь его, коварного и беспринципного, величали по имени и фамилии. Лишь возле их дома мужики играли в домино, превращая заповедное игральное место в своеобразный поселковый центр культуры. Лишь рядом с шахтерами, отдыхающими

ми от смены, мы, мальчишки, чувствовали себя смиренными и маленькими. Петькин отец, инвалид (что-то творилось у него с ногами), как бы оставался за главного, представлял собой организованную единицу действия. К положенному времени домино лежало на столе с набитой сверху толстой резиной. К тому моменту подтягивался народ с шутками-прибаутками и прочими разговорами местного значения о мировой политике. В ту эпоху хрущевства за столом зачитывали опасные и острые подборки анекдотов о кукурузных излишествах и прочих перегибах высоких руководителей. Здесь, на окраине, редко встречались стукачи, по сему высказывались свободно, по-шахтерски матеро и без внутренней боязни.

А мы маячили поодаль, занимаясь изготовлением рогаток. Кое-кто уже имел самопал.

Но тогда мужи имели веское слово и сильную власть над молодежью. Тогда почитание старших находилось на должном нравственном уровне, и мы боялись отцов и соседей.

Мы (я не входил в их число) выстругивали рогатины, шлифовали их чашеобразный образ, их мягкую форму, напоминающую очертание бокала в горизонтальной плоскости.

К рогатинке, на конце которой вырезались выемки для фиксации резинки, привязывался кусок, вырезанный из респиратора, украденного в шахтерской раздевалке. Мы называли ее резина резин. Качество отменное, растяжение максимальное, прочность надежная. Я скоро почувствовал на себе все слагаемые компоненты уличного вида оружия.

Мы играли гурьбой на нашем перекрестке ближе к дому Лобко. Петька и Колька осторожно двигались со стороны доминошников со всем своим юношеским коварством. Петька выстрелил в нашу сторону в самый неподходящий момент, когда мы превратились в расслабленную игрой живую мишень. Он использовал мини-рогаточку с резиночкой, вытащенной из резинки, пуля в детей маленькими загнутыми проволочками.

Он попал сестре в лоб, и красное бескровное пятно ушиба расплзлось над надбровной дугой. Теперь я понимаю, чем могли окончиться с виду невинные игры. Федька с весовой, тот швырнул нож в ворота. Металлический предмет спружинил и вонзился в глаз — так! Я, как сейчас, слышу плач моей лю-

бимой сестры Вали. Я, как сегодня, чувствую то негодование, ненависть и праведный гнев, охвативший меня. Я клокотал от обиды за свою сестру и настроился биться за нее до конца.

Петька же, не чуя ни стыда, ни совести, достал другую рогатку, прицелился в птиц, сидящих на проводах, и бедный грач, взмыв немного вверх, камнем рухнул на пыльную улицу. Мы застыли от ужаса. “Рыба! — доносилось от доминошников. “Кому мороженое...” — зывала лотошница. Моя сестра, всхлипывая, утирала следы от слез...

Психологические миниатюры

Перед игрой в Микашевичах мы уже стояли в центре, приветствуя зрителей. Один из наших нападающих — Жорка Шедевский, ни слова не говоря, с возгласом “Ой!”, прибавив затем к восклицанию крепкий и устойчивый фразеологический оборот с упоминанием очень близкого человека, сорвался с поля и помчался в сторону раздевалки. Мы, грешным делом, подумали, не рехнулся ли наш быстрый форвард. Гадая, что же могло случиться, мы как можно медленнее разбредались по зеленому газону на свои места, затягивая начало матча. Вскоре из дверей спорткомплекса вылетел наш товарищ, заняв свой правый фланг. Как выяснилось чуть позже, самый опытный игрок нашего коллектива вспомнил, что забыл поставить водку под холодную воду, и таким образом проявил свою озабоченность. Весь первый тайм мы потешались и никак не могли настроиться на игру.

После моей свадьбы в понедельник мужики на работе пригласили меня сыграть несколько партий в домино. Я хорошо знал эти пару-тройку партеек. Засылался гонец за винцом. Так и звучала поговорка народная — “Не заслать ли нам гонца за бутылочкой винца...” В итоге доминошные баталии превращались в среднюю пьянку с очень поздним возвращением домой. А я был еще даже неполноценный молодожен с полным стажем медового месяца. В понедельник после бракосочетания я ответил мужикам вполне серьезно и со смыслом: “Нет, я к жене спешу...” Так залихватски, так душевно рабочие давно не хохотали и причем все до единого, до слез, до колик. Через год, после рождения дочери, я в числе первых занимал место за столом и никогда не опаздывал...

Вечером принесли почту. В газете “На стройках Минска” на литературной странице опубликовали мое первое стихотворение. Страх и неуверенность в себе подсказали, что нужно подписаться чужой фамилией. В редакции письмо получили, стих начинающего автора прочитали (кстати, вполне приличный) и сделали то, что сделали — напечатали его под фамилией “Жданович”. Чувство удовлетворения сменилось чувством разочарования, а как же на работе узнают, что это мое творение? Как же я смогу похвастаться свежим номером газеты, если под моим произведением четко и ясно написана чужая фамилия?

Приехав из отпуска, я надел на холодную погоду мамин подарок — толстый и теплый дорогой свитер. Мы пили с соседями за мой приезд, добавляли с друзьями за красивую вещь — за свитер, а утром искали деньги на опохмелку. Я долго шарил по заначкам, по карманам старых брюк и курток. Я, не думая, схватил мамин презент, одиноко и покинуто лежащий за диваном, занес его к бабке Агапке и променял на бутылку водки. Бабка от щедрости дала большую емкость — 0,7. Прошло более пятнадцати лет, а чувство вины перед собой и перед мамой остается очень сильным.

Ступив на стезю трезвости, я потерял всех друзей, знакомых, товарищей и собеседников. Я начал тяготиться их обществом, они принялись анализировать мою трезвость, и мы не понимали друг друга. Все, о чем они говорили после употребления, слышалось скукой провинциальной, болью зубной, рутиной болотной. Спустя десять лет трезвости мне объяснили — отношения, построенные на водке, лживы и неестественны. И поэтому рухнули мои многочисленные дружбы...

И после всего случившегося я решил духовно развиваться. Разбираясь со своим пониманием мира на тернистой тропе самопознания, я столкнулся с понятием “борьба с самим собой...” Мое неприятие самое себя, своих мыслей, действий и поступков само по себе вещь обычная для человека с низкой самооценкой. На меня произвел впечатление друг, однажды выступивший на духовных занятиях по данной теме. Он четко и ясно отчеканил, как будто произнес специально для меня, будто озвучил афористически мое состояние — “я чемпион мира по борьбе с самим собой...”

Валерка ударил меня при всем классе за длинный язык. Я не отвел взгляд, я не боялся его, хотя с ним стоял сильный Барабашук. Я смотрел им в глаза, продолжал улыбаться, ошеломленный, испепеляя их ненавистью и непокорством.

Падение

Истязая себя муками самопознания, болью осознания и принятия своего прошлого деяния, я двигаюсь тем путем, который едва не привел меня к гибели в той проклятой пьяной жизни. Я совершаю тот самый маршрут смерти, пытаюсь понять, почему же так случилось и как я оказался здесь, у железнодорожной колеи, в полнейшем сомнамбулическом беспомыслии. Я выполняю задуманное действие, потому что от бессмысленности случившегося меня преследуют негативные и, что особенно важно, крайние без полутонов чувства. Опуская их названия, не утомляя себя перечислением ощущений, я замираю на месте моей первой предполагаемой смерти в период отказа от здравомыслия. Ничего особенного, вход на складскую базу, многоэтажные дома, наседающие со всех сторон, стальная магистраль в сторону Пуховичей. Возмутительно, что нет мемориальной доски. Горисполкому не мешало бы установить памятный знак, мол, так и так, здесь едва не завершил свой жизненный путь главный мастер трезвого алкоголизма, создатель школы ангела, мастер перевоплощения, эталон эмоциональной незрелости и взрослого детства, гений инфантильности и король мании величия. Но не шизофреник! Собственно, с точки зрения религии для смертельно больных людей (12 шаговая программа реабилитации), серый кардинал, первосвященник и т. д.

Движимый отнюдь не самоедством, вовсе не томимый умолчанием, я тщетно силюсь помнить, как же я попал в это странное место, где, кстати, я в свое время приторговывал книгами. По всей видимости, двигался я согласно тахографу подсознания или автопилоту.

Поскольку моя рассеянная память оборвалась где-то на улице Могилевской, кажется, в троллейбусе, я медленно возвращаюсь к точке отсчета и никак не могу представить тот общественный транспорт, который мог бы сюда свернуть. Тут-то и проводов троллейбусных нет, и трамваи сроду не дребезжали, и автобусы не бегали.

Стало быть, я притащился сюда либо пешком, либо явился на такси, другого варианта я не видел. Но чудеса встречаются там, где присутствует сам Бог. И опять же, и, стало быть, где-то все-таки чудо произошло. На грани жизни и смерти. Началось и завершилось моим не спасением, но сохранением, консервативно и с намеком. Случилось дело у племянницы моей бывшей жены. Но почему я там оказался! Началось, так началось — с тайной мысли превратиться в любовника Натальи. Я заглянул к ней на огонек во второй половине дня и обнаружил целое гульбище, суший девичник, звонкоголосый подружник.

Мне, принявшему “на грудь” уже грамм шестьсот — по чуть-чуть, но часто, глянулись красивые спяну женские лица. Ко всему встретили меня, на радость мою похотливую, восторженно, с огромной нетрезвой любовью, с визгливыми восклицаниями, сочными и вполне серьезными поцелуями, нетоварищескими ласканиями. Я оказался растерянным и беспомощным от изобилия нежности, сверхвозбужденным от возможности выбора и доступности желанных и симпатичных особ женского пола. Мне “снесло башню”, я устроил безумный финал, выпив на брудершафт со всеми поочередно. Таким макаром я влил в себя шестьсот граммов бренди за пять минут. Женщины употребили только по рюмке. Я почувствовал резкий упадок сил и более чем среднее опьянение, засобирался, куда-то заспешил, вошел в какой-то троллейбус и все.

Ангелы привели меня в эти края, включили сознание, и я начал падать, словно человек с отрафированными мышцами. Я ронялся на асфальт, уворачиваясь от карусельного гудрона, группируясь как только возможно. Насчитав двадцать восемь трупных падений, я вдруг протрезвел, вспоминая, где я нахожусь. Дежурная, добрая женщина, открыла мне дверь, помогла привести себя в порядок. Я вызвал милицию на себя, будучи в безумии, чтобы заплатить им, как за такси (оцените уровень детскости). Прикатил воронок, ребята поглядели на мою окровавленную физиономию и даже не забрали. Немного погодя такси несло меня в дому. До Уручья было так же далеко, как до первого дня трезвости, как до осмысления своего предельного человеческого унижения и морального падения...

Хитрость

Что за странное явление — хитрить и обманывать себя, экономить на спичках, чтобы потом все равно заплатить за спичечную фабрику? Жена сказала, нужно везти дочь в больницу (ребенку немногим больше трех недель). Трешка на такси в одну сторону — в другой конец города, трешка обратно, и вся проблема. Следуя природной расчетливости, пытаюсь оказаться умнее остальных людей, я глубокомысленно выдержал паузу в разговоре, поднял палец вверх. “Мы попросим Владислава Павловича, и он поможет нам...”

Наш старший друг и сосед, историк-архивист, книгочей, подвижник, блестящий собеседник вместе с женой (давно ушед) Рианой Григорьевной никогда нам ни в чем не отказывал. Мы с первой женой платили интеллигентной семье той же монетой, даря пожилым людям всяческие услуги строительного, сантехнического и снабженческого характера. Например, вчера я приволок им металлическую стойку для белья, которую мне сделали мужики на работе за бутылку вина. Я жалел деньги, потраченные на вино, но желание произвести впечатление оказалось сильнее. Устанавливая стойку, я услышал, как на той стороне перегородки откололся кусок бетона и упал рядом с играющим ребенком.

Слава небесам, ничего страшного не произошло. Потрясение мое улеглось в подсознание. Владислав повествовал о жизни былой. Кое-что из его прошлого стоит вспомнить.

Мальчишкой он спешил на фронт, отринув запреты родительские. Своеволие — грех тяжелый. Эшелон попал под фашистские бомбы, и при этом юному герою оторвало левую руку и левую ногу. Вот такие, брат, пироги. А его любимая Риана — целая легенда — внучатая племянница легендарного Буденного, вкусившая в послереволюционном Ленинграде в тридцатых годах прошлого столетия всю сладость высокопоставленного детства в двух шагах от Сергея Мироновича Кирова. Потом репрессии, ссылка, мытарства, институт, практика в Казахстане, внебрачная дочь от начальника отдела — казаха. Они познакомились так же, как лейтенант Шмидт с дамой сердца в рассказе киногодея фильма “Доживем до понедельника”. Они проговорили много тысяч дней и так не наговорились.

Владислав Павлович Миронов подрулил свой “Запорожец” к подъезду и мы с дочерью и женой разместились в машине. Мы проехали по Ольшевского, пошли на светофоре налево. Рычаг, приспособленный на баранке для одорукого водителя, при обратном вращении зацепился за рубашку, сделав водителя беспомощным. Зеленоглазое такси бухнуло нам в бок, тормознуло, завизжало и затихло. Жена на заднем сиденье не пострадала. Наш друг долго выбирался из машины. Увидев его без руки и без ноги, таксист поостыл, слыша от ветерана лишь одну фразу – “Несовершенство конструкции...”

Мы с женой тут же поймали такси, понеслись в поликлинику. На обратном пути я помог другу отбуксировать покоруженный автомобиль, испытывая чувство вины, взяв всю ответственность за случившееся на себя. На работе бригадир Витя Мальцев (ныне покойный) с товарищем за несколько дней довели механизм до первоначального состояния. “Это тебе обойдется в двести рублей...” – оценил Витя ремонт.

Ровно столько оставалось у нас на книжке от маминой тысячи – подарка на мою свадьбу. Мы с женой недолго совещались, решив без сомнения заплатить негласно и ничего не рассказывать гордому и самолюбивому Владиславу. Он ехал на отрехтованной и покрашенной “красавице”, насвистывал мелодию и улыбался. Витя ничего ему не сообщил, как мы и договорились. А на такси, как вы заметили, сэкономить не удалось, не считая двухсот “рябчиков” сверху за хитрецу...

Стресс всех стрессов

Голос совести звучал тише и спокойней. Я глядел на окна одного из домов, расположенных по улице Жудро, я вглядывался в новые деревянные окна на третьем этаже, где, в принципе, жила моя несостоявшаяся семья. Никто не мелькал за светлыми солнечными шторами, ничто не смущало моего любопытства, хотя мне думалось, что за мной некто наблюдает. Я быстро отводил глаза в сторону и, боясь быть узнанным, обходил стороной старое девятиэтажное панельное строение. Нормальное и спокойное душевное состояние не наступало, что-то бередило, совестило и досадовало внутренним блуждающим образом. Как только мне надоело бояться, в квартире раздался звонок. Голос далекой Люды, внешне очень сми-

ренный, заворковал, напомнил о себе, осыпал, прошупывая, вопросами.

В своем трудном трезвом алкоголизме (это когда не пьешь вообще, но остаешься эмоционально неуравновешенным) я продолжал бояться дома, улицы, окон, прячась, подобно маленькому нашкодившему мальчику, подобно подгулявшему жениху.

Люда взяла и родила сына Костю, как две капли воды, похожего на меня. Я об этом, конечно, не знал и спокойно жил, и сочинял свои, как я считал, гениальные стихи, которым, как и творениям Марины Цветаевой, придет свой черед. Я изнывал над банальной формой, пытаюсь втиснуть в нее негабаритное содержание. Я трясся над диковинной рифмой, а телефон разрывался. Я думал, меня разыскивает жена, и намеренно не поднимал трубку (уж лучше бы супруга). Наконец, терпение лопнуло, я поднял трубку и выслушал неожиданное приглашение давно забытой Людмилы: “Анатолий Никифорович, зайдите к нам в гости...”

Роман у нас получился короткий, скомканный, я был женат, она не замужем. Расстались мы тяжело, она подловила меня на лжи, бросила трубку, не захотела со мной общаться. Нечего было меня пугать, так думал я, вспомнив внутреннюю реакцию на новость о том, что она собирается рожать. Я таскался с Людой по району, моля бога, чтобы не встретить свою половину. Тут поневоле начнешь пить от напряжения и тревоги. Меня в общем-то устраивало, что инициатором разрыва оказалась строптивая дева, и я стер ее из памяти. Я не знал, что меня хотели побить ее друзья-товарищи за невыполнение отцовских обязанностей. Неприятная новость, конечно, к Людмиле чувства не добавила.

Вторая весть — просьба защитить ее честное имя и честь сына от наговоров зятя тоже не привела меня в восторг. Собрав всю агрессию в кулак, заручившись поддержкой знакомых, я беседовал с зятем, выталкивая из себя обломки неубедительных словосочетаний.

Уж лучше бы я дал ему в морду, как сволочному мужику. Костя лежал в пеленах, чисто я во младенчестве. Улыбаясь через силу, я переживал стресс величиной с атомную подводную лодку, у которой только надводная часть высотой в пять

этажей. Внутренний эмоциональный конфликт так сильно шатнул мой и без того зыбкий душевный покой, что мне сделалось дурно. Если бы не хорошая физическая подготовка, если бы не водка, то непременно случился бы удар.

Я встретил Люду и Костю через шесть лет, попытался дружить на расстоянии, но дева упорно преследовала цель сделать меня отцом ребенка. Она всегда предъявляла ко мне претензии (вполне справедливые): “Опять водка, — и окатывала гневом, — мы приехали за деньгами...” — ужасала Люда мое тревожное душевное состояние. Я что-то мямлил про жену и дева, заплавав, ушла навсегда. Мне стало необыкновенно легко и спокойно.

Совсем недавно раздался этот звонок, совсем другая звучала Людмила. Я попросил у нее прощения, рассказав о случившемся со мной горе — Дева вняла и тоже попросила у меня прощения. А через несколько лет, когда я сбросил свои лишние сорок килограммов, она возникла из тьмы и присела передо мной в автобусе. Она скользнула по моему лицу взором, явно не узнав меня. Особенного восторга при встрече я не испытал, к тому же я представил, что у меня была бы такая не очень молодая жена, да еще с претензиями...

Миниатюры

Бутенины приехали к нам из Ленинграда. Отец тогда отлеживался со сломанной ногой.

Он упал с крыши, помогая бабке Порошихе стелить крышу шифером. Гости скрасили наш провинциальный быт. Нина Бутенина, моя двоюродная сестра, пыталась тормозить мужиков, день и ночь цедащих спиртное, но вскоре махнула рукой. Их дочь отдыхала днем на кровати в моей спальне и вызывала смутное волнение в моей семнадцатилетней душе. Муж Нины часто и наставительно подсказывал мне житейское направление развития, видя, что я нахожусь в тупике: “Ты попробуй поступать в военное училище, а то ведь засосет рабочий класс...” Я вспоминал его слова через много лет, опохмеляясь в бездне засосавшего меня пролетариата. А в тот день мы провозжали полюбившуюся нам семью, тратившую каждый день кучу денег на продукты: “Муж еще не получал отпускные...” — успокаивала нас Нина, видя наше волнение и чувство вины.

Поезд “Жданов — Ленинград” останавливался на станции Рутченково на две минуты. Мы втаскивали чемоданы, сестры плакали, все прослезилось. Нина перекривила мужа, раздраженная его опохмеленным самодовольством. Вагон плавно двинулся в сторону Донецка...

Заехал в гости дядя Миша, брат отца. Я помог ему достать прицепы “Зубренок” — два экземпляра. Фантастическая роскошь в советское время — вывести в другую республику дефицитный даже для Минска товар, имея справку-счет, заплатив при этом номинальную цену. Лично я угрохал кучу денег на подарки, о чем дядька не знал. Я злился на него, сам не зная, за что. На другой день получилась небольшая заминка, исчез один из участников цепочки, по которой прицепы уходили налево от трудящихся. Мы сильно переживали, тетя Нина, жена Михаила Степановича, безостановочно плакала. Я испытывал еще вину, страх и желание едва ли не умереть, лишь бы у гостя заладилось дело. Но обошлось. Мы катались по кольцевой дороге, утрясая последние мелочи. “У тебя шаровые хорошие?” — спрашивал я дядю, помня чью-то историю о сломанной детали на большой скорости и переживая страхи по-детски. Дядя отвечал мажорно и самоуверенно. И, спасибо богу, колесо повалилось у нас, как только мы тронулись. До сих пор я не унял злость и раздражение на дядю, воображая, что могло бы случиться. Уезжая, он пообещал привезти гостинец — ведро черешен главному доставальщику прицепов. Мой интерес никто не учел. Я и здесь обиделся. Дядя звонил из Мелитополя, намерившись продолжать тихий бизнес, прицепы перепродавались очень неплохо, но я не подходил к телефону.

На фото мамина родня, соседи по деревне, бабушка Акулина, дед Никита и т. д. На фотографии мой двоюродный брат Василий (он крепко пьет). Полуприсев, мой родич выставил напоказ свой светленький писюнчик. Сколько мы ни смотрели на снимок, сколько ни разглядывали родословную, нас все одно разбирал смех от неожиданности сюжета.

Я появился у мамы накануне Нового года, немного пьяный, немного голодный. Дома никого не оказалось, но я догадывался, что мама у младшей сестры Галины помогает досматривать маленькую — до года — Леночку. С автобуса на автобус, триста метров быстрым шагом, и я в другом районе

столицы Донбасса. Вздогаю по лестнице добротной малосе-
мейки, скорым шагом иду по коридору, толкаю незапертую
дверь. Господи, Галя в черном, Леночки нет, поминки. Друзья и
родственники в трауре. Медицина дала туманное объяснение.
В отчете дома мы с мамой перетираем трагическое событие,
плачем внутрь.

Бедная Галя. Бедная была бы мамочка, если бы в ту неделю
— она приглядывала за дитем — горе случилось во время ее
отсутствия. « Галка убила бы меня, — сокрушалась мама. Как
раз одну неделю она болела, и трагедия случилась без нее...

Свидетель

Внук родился дома. Мы пережили стресс. Чуть позже на-
чали радоваться, ведь все хорошо, все нормально. Через месяц
дочь сказала о повестке в суд, вызывающей меня для дачи
свидетельских показаний по делу «Установленного факта». Я
рассматривал повестку и не мог прочесть фамилию секретаря
суда. В плавающих цифрах я не мог определить номер ком-
наты, куда мне надлежало явиться. Рассеянное мышление и
сумеречность памяти то ли по возрасту, то ли от детского не-
доразвития, не улавливали информацию, запечатленную на
сером бланке. Моя нехорошая привычка решать завтрашние
проблемы сегодня, а не по мере их поступления, вступила в
свою силу и начала сводить с ума.

Я нарочно много ходил по офису, живя в воображаемой
ситуации, отвечая представителям юриспруденции на мною
же придуманные вопросы. «Что-то ты сегодня рассеян-
ный...» — констатировали на работе. «У тебя плохое настро-
ение?» — спрашивала жена. Я не люблю, когда лезут мне в
душу. «Ты не хочешь со мной общаться?» — обижались на
том конце провода. Я же находился не в себе. Эта повестка,
прянувшая неизвестно откуда, совершенно выбила меня
из колеи. Я начал бороться с ситуацией — тем маленьким
мальчиком, который живет в каждом из нас. Беда заключа-
лась в свалившемся на меня страхе неуверенности. Трагедия
душевного покоя жила в нереальности вопроса. По причине
его несвоевременности. Помните, девяносто девять про-
центов всех проблем разрешаются сами по себе, остальные
просто неразрешимы.

К сожалению, простые и доступные истины доходят к человеку в самом конце и без того короткой человеческой жизни. К великому огорчению для себя пишу, мирный голос небес, разрешающий с любовью внутренние противоречия, слышится после великих испытаний, несносимых болей, больших душевных потрясений. Я, подверженный суе и сомнению, мучительно готовился к делу, в каком не было дела. Я томился вопросом, в каком не стояло вопроса. Я упивался какой-то мистической ситуацией. Ее события не двигались по моему замыслу, и я не хотел их принять таковыми, как есть.

Низкие своды небес опустились на порядок ниже. Тепло и сумрак бесснежной зимы мешались с тишиной и скорбью. Неделя маячила впереди, прежде чем мне предстояло явиться по вызову в суд. Я уже устал ненавидеть систему ценностей, творящую подобную несправедливость. Родился человек, мой внук, а мне нужно подтверждать факт его рождения. Вопиющий факт бесчеловечного отношения к молодой маме, к молодой семье. И стопроцентно выигрышное дело в любой цивилизованной стране, если подать иск за причинение морального ущерба. Уж не вы ли, господа судьи, должны, обязаны приехать сами, с огромным подарком от благодарного государства? Родился человек! Не вы ли оторвали от работы шесть человек и нанесли ущерб державе? Не вы ли ко всему прочему взяли пошлину? Не вы ли подвергли рискованным волнениям молодую маму, заставив ее тащиться в сырую погоду, волноваться по многим причинам о малыше?

Едва не сойдя с ума от беспредметной борьбы, я вызвался как свидетель. Все, к чему я готовился, мне не понадобилось. Если не считать огромного страха и чувства вины после вопроса об имени внука. Имя Богдан вспомнилось и проинеслось не сразу. Я думал о том, что по этому поводу подумала госпожа судья. Я свободно вздохнул лишь после того, как зачитали положительный результат. Он вступал в силу через десять дней. Чуть какая-то. Родился человек, а он еще не имеет юридического обоснования и гражданского вида. Ожидая в коридоре, я подумал, что, если жениться на судье, то всю жизнь придется доказывать ей, где ты был вчера вечером. Мысль привела меня в восторг. А моя дочь, в эмоциональном плане более взрослая, чем я, заметила: “Наверное, им здесь мало платят, — и на мой удивленный взгляд добавила, — одни женщины работают...”

Содержание

Часть I

Предупреждение.....	3
От автора.....	4
Сливовые страдания.....	6
Странно.....	6
Террикон.....	6
Шахта «Лидиевка».....	9
Женская баня.....	10
Забытая поездка.....	12
“Кому мороженое...”.....	14
Забытые уроки.....	16
Этикетки.....	17
Тревога.....	19
На поляне.....	21
Воспитание.....	23
Погоня.....	24
Черешни.....	26
Гвозди.....	28
Большие деньги.....	29
Кочерыжки.....	31
Белая лестница.....	32
Рубильник.....	34
Хождение в пионеры.....	35
Странный случай.....	37
Хенде хох.....	38
В погребу.....	39
Обида.....	40
Скиталец.....	42
«Сладкие» папиросы.....	44
Бревна, доски и бруски.....	45
Привидение.....	46

Далекий взрыв	48
Красные уши.....	49
Восьмилетка 94.....	50
Уходя в другую школу.....	52
ДСШ.....	54
Средняя семьдесят девятая	56
В шалаше.....	57
На взгорочке	59
Медбрат	60
Баласики	62
Мировой рекорд	63
Азартная душа.....	64
Свидание	66
«Десантники...»	67
Школьные причуды	69
Анаша	70
Последний звонок.....	72
У ворот.....	73
Первый гол.....	74
Гранаты	76
В армию	77
Рота, подъем!	79
Осторожнее	81
Станция Леонидовка	82
Шестнадцатый спортивный	83
Дерзость.....	85
Степи оренбургские	87
Таня.....	88
Ирония судьбы.....	90
Впечатления.....	92
3:6.....	94
Самообразование	95
Медовый месяц.....	96
Боевое «крещение».....	98
Кожвендиспансер.....	100
Деньги Бороды.....	101

Евгений Онегин.....	103
Ничтожество.....	104
Кефирная сила.....	106
Мельников-Печерский.....	107
Заля.....	109
Мои недостатки.....	110
Северная Пальмира.....	112
Моя команда.....	114
Велосипедистка.....	116
Ящик водки.....	117
Морская пехота.....	119

Часть II

Гитара.....	121
Людмила.....	123
Обида.....	124
Наваждение.....	125
Трусы.....	127
Молитва.....	128
Трезвое чудо.....	129
Чудесный голос.....	130
Еще одно чудо.....	131
Накануне.....	132
Отходняк.....	133
В то чудесное утро.....	134
Чудесное превращение.....	135
Чудесное путешествие.....	136
Чудесное собрание.....	136
Чудесное возвращение.....	137
Чудесное желание.....	138
Ксендз Владислав, настоятель прихода св. Сымона и св. Елены.....	139
Черная слива.....	141
Фроттеризм.....	142

Волчий вой	143
Встреча с одноклассниками	145
Александра Александровна	147
Кошелек.....	148
Экономия	150
Какая честь	152
Стеснение.....	154
Великое заблуждение	156
Письмо к известному поэту РБ.....	157
Концертные пьесы	159
Иди к черту, Чертков!	161
Сестра моя любимая	163
Дядя Женья и тетя Лариса	165
Меж четырех директоров	167
К деду	168
Наташка.....	170
Во имя человечества	172
Мужские слезы	174
На тракторе	176
Красное удостоверение	177
Букет цветов	179
Тайная борьба.....	181
Влюбленность	183
Сумка.....	185
Шизофрения.....	186
Энергия.....	188
Аппетит приходит во время еды	190
Школа ангела.....	192
Тяга.....	194
Обеденный перерыв.....	195
Нобелевская премия	197
Кофе.....	199
Теологический спор.....	201
Дневник	203
Сестра Галя.....	205
Воровские мысли	206

Пятьдесят долларов	209
Паспорт.....	210
Поэт Ленид Голубцов.....	212
Свидетель.....	213
Учитель	215
Забытый сюжет.....	217
Рано утром.....	219
Орехи.....	220
Журналистика	221
Осенний дождь	223
Сухой счет	224
Море разлитое.....	226
Литровая кружка.....	227
Улица Глаголева.....	228
Маргарита.....	229
Мокрые майки.....	231
Перекур.....	233
Фальшивые абонементы	234
Шансы.....	236
С легким паром	238
Гонцовский стакан	239
В пути.....	241
Книги, книги, книги	242
Жодинские переживания	244
Рыжий	246
Больничные листы	247
Сказочный бизнес.....	249
Тишина.....	250
Виноградный сок.....	252
Кавказцы	253
Галина.....	255
Фигура на простыне.....	256
Медсестра	258
Приключения	259
А можно было бы.....	261
У грани честности.....	263

Рифма.....	265
Иван Лукьянович.....	267
Вездесущие стихи	268
Дядя Вася.....	270
Трамплин.....	272
В посадке.....	274
Морская капуста.....	276
Письма	277
Виктор.....	279
Червонцы	281
В поезде	283
Бешеный муж	285
Майские жуки	286
Рогатка	288
Психологические миниатюры	290
Падение.....	292
Хитрость	294
Стресс всех стрессов	295
Миниатюры.....	297
Свидетель.....	299

Литературно-художественное издание

Сендер Анатолий Никифорович

Южнее улицы Юшкова

Роман

Ответственный за выпуск А.Н. Вараксин

Компьютерная верстка А. И. Рябков

Корректор И.Ф. Вараксина

Подписано в печать 08.05.08. Формат 84 x 108/32.

Бумага офсетная. Гарнитура «Petersburg».

Усл. печ. л. 15,86. Уч.-изд. л. 9,43.

Тираж 100 экз. Заказ № 14.

Издатель А.Н. Вараксин

ЛИ № 02330/0131774 от 06.03.2006 г.

E-mail: editpol@tut.by

Отпечатано на множительной технике ИП А.Н. Вараксина.